

ХАЛЕД ХОССЕЙНИ



*Мысля
сияющих
солнц*

Главный мировой бестселлер 2007 года

Annotation

Любовь — великое чувство. Глубоко укрытая, запрещенная, тайная, она все равно дождется своего часа. Об этом новый роман Халеда Хоссейни, в 2007 году ставший главным мировым бестселлером. В центре романа — две женщины, которые оказались жертвами потрясений, разрушивших идиллический Афганистан. Мариам — незаконная дочь богатого бизнесмена, с детства познавшая, что такое несчастье, с ранних лет ощутившая собственную обреченность. Лейла, напротив, — любимая дочка в дружной семье, мечтающая об интересной и прекрасной жизни. Между ними нет ничего общего, они живут в разных мирах, которым не суждено было бы пересечься, если бы не огненный шквал войны. Отныне Лейла и Мариам связаны самыми тесными узами, и они сами не знают, кто они — враги, подруги или сестры. Но в одиночку им не выжить, не выстоять перед средневековым деспотизмом и жестокостью, затопившими улицы и дома некогда цветущего города. Вдвоем они пройдут через страдания, вдвоем будут ловить нечаянные крупницы радости, вдвоем станут мечтать о счастье, к которому однажды попытаются прорваться. «Тысяча сияющих солнц» — мощная, драматичная и лиричная история, которая заставляет сердца сжиматься от боли и радости. Это благородная и великодушная книга.

- [Халед Хоссейни](#)
 -
 -
 - [Часть первая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)

- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [Часть вторая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
- [Часть третья](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
- [Часть четвертая](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
- [Послесловие](#)
- [Слова признательности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)

- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)



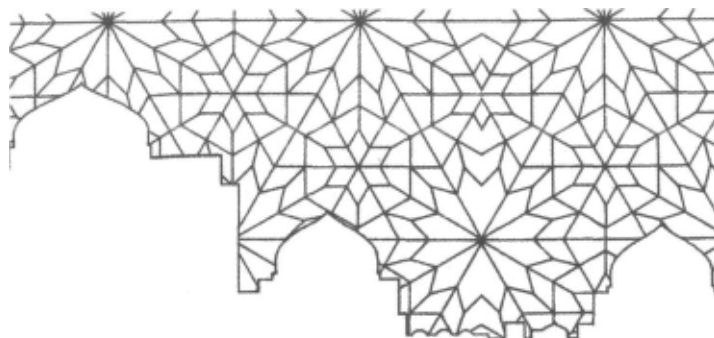
Халед Хоссейни

Тысяча сияющих солнц

Khaled Hosseini

*A Thousand
Splendid Suns*





Халед Хоссейни

*Тысяча
сияющих
солнц*

Перевод с английского
Сергея Соколова

PHANTOM PRESS
МОСКВА
2008

*Эта книга посвящается
Хэрису и Фаре,
светочам моих очей,
и всем женщинам Афганистана*

Часть первая

Часть
первая

Мариам было пять лет, когда она впервые услышала слово *харами*.

Судя по всему, случилось это в четверг. Уж очень не по себе ей было, она просто места себе не находила. Ведь по четвергам к ним приходил Джалиль. Чтобы скоротать время (вот-вот он появится, помашет издали рукой, подойдет, по колено в высокой траве), Мариам забралась на стул и взяла с полки матушкин китайский чайный сервиз, единственную память после бабушки, матушкиной мамы, которая умерла, когда Мариам было два годика. Нана, мама Мариам, надыхаться не могла на бело-голубые фарфоровые чашки в птицах и хризантемах, на чайник с благородно изогнутым носиком, на сахарницу с драконом, призванным отгонять силы зла.

Сахарница-то и выскользнула у Мариам из рук. Упала на деревянный пол и разбилась.

Когда Нана увидела осколки, лицо у нее побагровело, верхняя губа задрожала, а глаза, обычно томные и добрые, так и впились в Мариам. Девочка перепугалась, что в мать опять вселился *джинн*. Но нет, обошлось. Нана только схватила дочку за руки, сильно дернула и прошипела сквозь стиснутые зубы:

— Дура неуклюжая. Вот мне награда за все, что я перенесла. Все у этой маленькой *харами* из рук валится. Такую ценную вещь разбила.

Тогда Мариам не поняла. Слово *харами* — выблядок — было ей незнакомо. Не могла она по малости лет оценить всю несправедливость мерзкого ругательства — ведь уж наверное, вина лежала на тех, кто произвел ее на свет, а не на ней самой. Мариам только догадывалась, что это очень плохое слово и означает оно что-то гадкое, вот вроде тараканов, которых Нана с бранью выметала за порог.

Сделавшись постарше, Мариам поняла. В тоне матери сквозило такое отвращение, что стало ясно: *харами* (то есть сама Мариам) — существо нежеланное, никому не нужное, не имеющее, в отличие от других людей, никаких прав. Любовь, семья, дом — все это не для нее.

Джалиль никогда не обзывал так Мариам. Джалиль ласково обращался к ней «мой цветочек». Он усаживал ее к себе на колени, рассказывал про Герат — город, в котором Мариам родилась в 1959 году, колыбель персидской культуры, родной дом для писателей, художников и суфиев^[1].

— Тут шагу нельзя ступить, чтобы ненароком не пнуть в зад какого-

нибудь поэта, — смеялся он.

Джалиль поведал ей про царицу Гохар-Шад, которая в знак любви к Герату воздвигла в пятнадцатом веке великолепные минареты. Он рассказывал Мариам про пшеничные поля Герата, фруктовые сады, тучные виноградники, многолюдные базары.

— Представляешь, растет себе фисташковое дерево, — как-то сказал Джалиль, — а под ним, Мариам-джо, похоронен не кто-нибудь, а сам великий поэт Джами^[2]. — Джалиль наклонился к девочке поближе и прошептал: — Я тебе как-нибудь покажу это дерево. Джами жил больше пятисот лет тому назад. Так давно, что ты и не помнишь. Ты ведь еще маленькая.

Мариам и правда не помнила. И хотя первые пятнадцать лет своей жизни она прожила у самого Герата — рукой подать, — обещанное дерево ей увидеть так и не довелось. И рядом с минаретами она не стояла, не рвала плоды в знаменитых садах, не гуляла вдоль пшеничных полей. Но рассказы Джалиля она слушала словно зачарованная, и восхищалась глубиной и обширностью его познаний, и гордилась своим отцом до сладкой дрожи.

— Что за небылицы! — ворчала Нана, когда Джалиль уходил. — У богатея хорошо язык подвешен. Никакого дерева он тебе не покажет. И не слушай его медовых речей. Он предал нас, твой любимый папочка. Выкинул вон. Выбросил из своего большого роскошного дома, будто мы ему чужие. И глазом не моргнул.

Мариам молчаливо-покорно выслушивала мать, хотя худых слов о Джалиле терпеть не могла. Ведь рядом с ним она уже не была харами. Один-два часа в неделю по четвергам, когда он приходил к ней, нередко с подарками, рассыпая улыбки и ласки, она по праву наслаждалась всей красотой и изобилием жизни. И за это Мариам обожала Джалиля.

И неважно, что отца приходилось делить с другими.

У Джалиля было три жены и девять детей, законных детей. Никого из них Мариам в глаза не видала. Джалиль — один из самых богатых людей в Герате — держал свой кинотеатр, в котором Мариам не была ни разу в жизни. Правда, Джалиль по настоянию дочери подробно описал его. Она знала, что снаружи здание облицовано голубым и коричневым кафелем, а в зале есть укромный балкон с креслами, которым Джалиль может пользоваться по своему усмотрению. Она знала, что в вестибюль, украшенный яркими афишами индийских фильмов, ведут двойные двери, открывающиеся в обе стороны, а по вторникам в буфете детям бесплатно

раздают мороженое.

Когда Джалиль рассказывал про дармовое угощение, Нана только кротко улыбалась. А вот когда он удалился, она горько засмеялась:

— Чужие дети едят мороженое. А тебя он чем потчует, Мариам? Побасенками?

Кроме кинотеатра Джалилю принадлежали участки земли в Карахе и Фаре, три магазина ковров, один — готовой одежды и автомобиль «бьюик» 1956 года выпуска. И связи у него были. Среди его друзей числились мэр Герата и губернатор провинции. Само собой, у Джалиля имелись слуги, повар и шофер. И целых три служанки.

Одной из его служанок была и Нана.

Пока живот у нее не округлился.

По словам Наны, когда это случилось, все семейство Джалиля раздулось от возмущения. Весь воздух в городе в себя всосали. В Герате прямо нечем стало дышать. Чуть до кровопролития дело не дошло. Жены требовали прогнать негодную. Родной отец, резчик по камню из деревни Гуль-Даман, отрекся от Наны, собрал пожитки, погрузился в автобус и укатил в Иран. И ни слуху о нем с тех пор, ни духу.

— Порой мне кажется, — сказала Нана как-то утром, задавая корм курам, — что лучше бы мой отец наточил как следует нож и совершил, что велит честь. Избавил бы меня от мучений. — Она кинула птицам еще горсть зерна, помолчала и поглядела на Мариам: — И тебя тоже. Каково тебе приходится, незаконнорожденной. Но он был трус, мой отец. У него духу не хватило.

У Джалиля тоже духу не хватило. Он не пошел против родни, против жен, не взвалил на себя тяжкую ношу. Все было проделано тайком, за закрытыми дверями. Собирайся, дорогая, и очисти помещение.

— Знаешь, что он сказал женам в свое оправдание? Что это я во всем виновата. Я его соблазнила. Представляешь? Каково приходится женщине в земной юдоли!

Нана поставила чашку с зерном на землю и ухватила Мариам за подбородок:

— Посмотри на меня.

Мариам нехотя подняла глаза.

— Запомни хорошенько, дочка, у мужчины всегда виновата женщина. Во всем. Никогда не забывай об этом.

— Джалиль и его жены видели во мне что-то вроде чертополоха. Бурьяна-чернобыльника. Да и в тебе тоже. Ты еще и родиться-то не успела, а уже удостоилась презрения.

— Что такое чертополох? — спросила Мариам.

— Сорная трава, — ответила Нана. — Ее надо пропалывать. И вон из поля.

Мариам тайком насупилась. Чтобы Джалиль относился к ней как к сорняку! Да никогда такого не было! Но она почла за благо промолчать.

— Другое дело, что меня как-никак надо кормить-поить. Ведь у меня на руках ты. Ну уж насчет этого он с семейством договорился.

По словам Наны, в Герате она жить не захотела.

— Чего ради? Смотреть, как он разъезжает по городу со своими женами?

В пустой дом отца в деревню Гуль-Даман, на крутой склон горы (километра два к северу от Герата), Нана тоже не поехала. Ей хотелось перебраться в какое-нибудь укромное уединенное место, где соседи не будут пялиться на ее живот, показывать пальцем, хихикать или, что еще хуже, приставать с деланным сочувствием.

— Ты уж поверь мне, — говорила Нана, — твоему отцу не терпелось сплавить меня с глаз долой.

Это Мухсин, старший сын Джалиля от первой жены Хадиджи, нашел недалеко от Гуль-Дамана подходящее место — немалую проплешину в зарослях. От гератского шоссе вверх по склону, меж высокой травы и цветов, змеей ползла грязная, разъезженная повозками дорожка и выводила на плоскогорье. Здесь шумели тополя, краснели маки, слева внизу виднелись ржавые крылья деревенской ветряной мельницы, а по правую руку открывался вид на Герат. Дорожка упиралась в бурный поток, полную форели речку, стекавшую с гор Сафедкох^[3], со всех сторон окружавших Гуль-Даман. В паре сотен метров выше по течению, посреди рощицы плакучих ив, проступала поляна.

Джалиль лично отправился на место. А когда вернулся, тон у него был, словно у тюремщика, расхваливавшего вверенное его заботам узилище.

— И твой отец соорудил нам эту крысиную нору.

В пятнадцать лет Нана чуть было не вышла замуж за юного торговца

попугаями из Шинданда. Мать рассказывала об этом нарочито равнодушно, однако глаза у нее лучились радостью. И ей выпало несколько счастливых дней. Пусть они пролетели быстро.

Сидя на коленях у Наны, Мариам старалась вообразить матушку в свадебном наряде, верхом на лошади, зеленая вуаль скрывает смущенную улыбку, кулачки выкрашены хной в красный цвет, на заплетенных в косички волосах сверкает серебряная пудра. Девочка представляла себе музыкантов, дудящих во флейты *шахнай* и бьющих в барабаны *дохол*, уличных мальчишек, с радостным визгом несущихся за лошадью.

До свадьбы оставалась какая-то неделя, когда в Нану вселился джинн. Мариам не понаслышке знала, что это такое. Мать вдруг валилась на пол, тело ее выгибалось, глаза закатывались, руки и ноги начинали мелко трястись, на губах показывалась пена, порой розовая от крови. Потом наступало забытие, а очнувшись, Нана не сознавала, где она и что с ней, и только что-то нечленораздельно бормотала.

Когда про это прознали в Шинданде, родные торговца попугаями отменили свадьбу.

— Перепугались до смерти, — заключала Нана.

Свадебный наряд пришлось спрятать подальше.

На поляне Джалиль с двумя сыновьями — Фархадом и Мухсином — построили небольшую саманную хижину с одним окном, именуемую *колба*, в которой Мариам прожила первые пятнадцать лет своей жизни. Две койки, деревянный стол, два стула с прямыми спинками, полки, на которых Нана расставила глиняные горшки и свой обожаемый китайский чайный сервиз, — вот и вся обстановка. Джалиль установил в домике новую чугунную печь и заготовил на зиму дрова — поленница была сложена сразу за хижинкой. Рядом с домом еще имелся тандыр для выпечки хлеба, выгородка для кур и загон для коз. В сотне метров за ивами Фархад и Мухсин выкопали глубокую яму и сколотили нужник.

По словам Наны, для постройки домика Джалиль мог нанять рабочих, но не стал.

— Это он так себе представляет покаяние.

Как утверждала Нана, Мариам она рожала в полном одиночестве. Был 1959 год, 26-й год почти безоблачного сорокалетнего правления короля Захир Шаха, стоял пасмурный и сырой весенний день. Джалиль якобы не потрудился пригласить врача или даже повитуху, хотя знал, что джинн может нагрянуть в любую минуту, невзирая на роды. Вся в поту, она лежала

на полу хижины совершенно одна, только нож под рукой.

— Когда боль делалась нестерпимой, я впивалась зубами в подушку и орала, пока не потеряла голос. И некому было вытереть мне лицо, некому подать воды. А ты, Мариам-джо, и не думала двигаться. Почти два дня провалялась я на жестком холодном полу, не ела, не спала, только тужилась изо всех сил и возносила молитвы, чтобы ты наконец вышла из меня.

— Прости меня, Нана.

— Пуповину я перерезала сама. Вот зачем со мной был нож.

— Прости.

Нана только слабо улыбалась в ответ. Непонятно было, прощает она дочь или, напротив, до сих пор помнит зло. Хотя как можно всерьез просить прощения за боль, причиненную матери, когда она тебя рожала!

Годам к десяти Мариам уже больше не верила рассказам Наны об одиноких родах. Слова Джалиля казались ей более убедительными. А он говорил, что сам был в отлучке, но до отъезда отправил Нану в госпиталь в Герат, где она пребывала в чистой светлой палате под наблюдением врача, и только печально качал головой, когда Мариам рассказывала ему про нож.

Мариам очень сомневалась и относительно двух дней.

— Мне сказали, роды не заняли и часа, — говорил Джалиль. — Ты послушная дочь и всегда старалась не огорчать родителей, Мариам-джо. Даже когда только появлялась на свет.

— Его здесь даже не было! — возмущалась Нана. — Он обретался в Тахти-Сафаре^[4], катался на лошади со своими драгоценными друзьями.

По словам Наны, когда Джалилю сказали, что у него родилась еще одна дочь, он только плечами пожал, продолжая расчесывать гриву лошади. И проторчал в Тахти-Сафаре еще две недели.

— Он на руки-то тебя впервые взял, когда тебе уже исполнился месяц. Взглянул разок, сказал: «Какое у нее длинное лицо» — и передал обратно мне.

В это Мариам тоже не верила. Да, Джалиль признавал, что ездил на лошадях в Тахти-Сафаре. Но на весть о рождении ребенка он и не думал пожимать плечами, а вскочил в седло, прискакал обратно в Герат, покачал девочку на руках, погладил по бровкам и спел колыбельную. Мариам представить себе не могла, чтобы Джалиль сказал: «Какое у дочки длинное лицо». Хотя оно и правда было длинновато.

Нана говорила, что назвала девочку в честь своей матушки. Джалиль утверждал, что это он выбрал ей имя. Мариам — так называется очень красивый цветок, тубероза.

— Твой любимый? — уточняла Мариам.

— Из самых любимых, — улыбался в ответ Джагиль.

Одно из самых ранних воспоминаний Мариам — грохот железных колес по камням. Братья Мариам по отцу Мухсин и Рамин (иногда Рамин и Фархад) раз в месяц привозили им на тележке рис, муку, чай, сахар, растительное масло, мыло, зубную пасту. По кривой ухабистой дорожке, усыпанной галькой и булыжниками, объезжая заросли и валуны, парни дотаскивали тележку до речки, где мешки и коробки надлежало снять, перенести через поток, перекатить по воде к другому берегу тележку и нагрузить заново. Еще каких-то метров двести по высокой траве и кустарнику — лягушки так и прыгали из-под ног, комары жалили немилосердно, пот заливал глаза, — и вот она, цель.

— У него ведь есть слуги, — недоумевала Мариам. — Почему он не пошлет слугу?

— Это он так себе представляет покаяние, — поясняла Нана.

Заслышав грохот колес, мать и дочь выходили из хижины. Мариам на всю жизнь запомнила, какие позы принимала Нана: высокая, худая босоногая женщина стоит, опершись о дверной косяк, глаза насмешливо прищурены, руки вызывающе скрещены на груди, голова непокрыта, коротко стриженные волосы растрепаны. А карманы мешковатой длинной блузы, застегнутой под самое горло, доверху набиты камнями.

Братья ретировались к речке и ждали, пока Мариам и Нана перетащат продукты в хижину. Парни знали, что ближе чем на тридцать метров подходить не следует. Неважно, что камни, пущенные Наной, обычно летят мимо цели. Волоча в хижину мешки с рисом, она без усталости поносила отпрысков Джалиля и их матерей на все корки. Мариам и слов-то таких не знала. Только юноши никогда не отвечали на оскорбления.

Мариам всегда очень жалела их. Ведь тележка такая тяжелая, они так с ней намучились, пока доволокли сюда. Им бы хоть воды подать. Почему мать не разрешает? Ведь даже не попросается по-человечески, рукой в ответ не махнет.

Как-то, чтобы сделать матери приятное, Мариам и сама наорала на Мухсина — дескать, у него рот как у ящерицы нечестивая дыра. Как ее потом мучили совесть, стыд и страх, что парни все расскажут Джалилю! А Нана покатывалась со смеху. Мариам даже испугалась, как бы с ней не случился припадок. Но Нана благополучно отсмеялась и сказала: «Ты — хорошая дочь».

Когда тележка пустела, братья потихоньку укатывали ее с собой. Мариам все видела — стояла и смотрела, как они исчезают в густой цветущей траве.

— Ты идешь?

— Да, Нана.

— Они смеются над тобой. Потешаются. Я сама слышала.

— Я иду.

— Ты мне не веришь?

— Вот она я.

— Ты ж моя любимая.

По утрам их будило далекое блеяние овец и высокие ноты рожка — пастухи из Руль-Дамана выгоняли стадо на поросший сочной травой склон. Нана и Мариам доили коз, кормили кур, собирали яйца. Хлеб они тоже пекли вместе. Нана научила дочь замешивать тесто, разжигать огонь в тандыре, нашлепывать шматы теста на стенки печи. Еще Нана научила ее шить, варить рис, готовить разные начинки для лепешек — *салкам* с репой, *сабзи* со шпинатом, цветную капусту с имбирем.

Нана не любила гостей — не только посланцев Джалиля — и не делала из этого тайны. Охотно принимала она всего нескольких человек, и среди них старосту деревни — *арбаба* — Хабиб-хана, осанистого мужчину с белой бородой, маленькой головой и большим животом. Он навещался к ним примерно раз в месяц, не чаще, обязательно в сопровождении слуги с цыпленком, горшочком риса *кичири* или корзинкой крашенных яиц для Мариам.

Заходила к ним и пожилая кругленькая женщина, которую Нана звала Биби-джо, вдова камнереза — приятеля отца Наны. За ней тенью следовала какая-нибудь из шести ее невесток с парочкой внуков. Переваливаясь с боку на бок, Биби-джо приближалась к дому, усаживалась на стул, услужливо поданный Наной, и принималась, отдуваясь, растирать ноги. Без гостинца для Мариам тоже никогда не обходилось — коробочка конфет *дишлемех*, корзиночка айвы. Перво-наперво Биби-джо засыпала Нану жалобами на пошатнувшееся здоровье и боль в ногах, затем наступала очередь гератских и деревенских сплетен, излагаемых обстоятельно и со вкусом. Бессловесная невестка смиренно стояла рядом.

Но больше всех (кроме, разумеется, Джалиля) Мариам любила пожилого муллу Фатхуллу, *ахунда*, то есть законоучителя. Мулла приходил из Гуль-Дамана пару раз в неделю, проверял, хорошо ли девочка вызубрила пять молитв, составляющих ежедневный *намаз*, обучал чтению Корана, как

в свое время Нану, когда та была маленькой девочкой. Не кто иной, как мулла Фатхулла, научил Мариам читать, терпеливо следя, как девочка беззвучно шевелит губами и прижимает ноготь к бумаге, продвигая палец по строчкам, да так сильно, будто хочет выдавить из букв их сокровенный смысл. Не кто иной, как мулла Фатхулла, научил Мариам писать, водя ее пальчиками с зажатым в них карандашом по отвесному склону буквы *алиф*, плавной кривой *ба*, трем точкам *са*.

Законоучитель был сухопарый сутулый старик с беззубой усмешкой и белой бородой до пояса. Обычно он приходил один, иногда с сыном, рыжеволосым Хамзой, на пару лет старше Мариам. Когда мулла Фатхулла появлялся на пороге, она целовала ему руку — невесомые косточки, обтянутые тоненькой кожей, — а мулла касался губами ее лба. Потом они садились у хижины, ели арахис, пили зеленый чай, смотрели на дроздов, перепархивающих с ветки на ветку. Иногда гуляли по опавшей листве вдоль ручья, через ольшаник, вверх по склону горы. Мулла перебирал одной рукой четки и старческим дрожащим голосом рассказывал Мариам о диковинках, которые видел в юности, о двухголовой змее, попавшейся ему в Исфахане на Мосту Тридцати Трех Арок, об арбузе, в один прекрасный день разъятом им на две половинки перед Голубой мечетью в Мазари-Шарифе. Семечки на одной половине составили слово *Аллах*, на другой — *Акбар*.

Мулла Фатхулла признавался Мариам, что сам не понимает значения некоторых слов из Корана, но само их звучание так прекрасно, что они легко скатываются с языка и облегчают душу.

— Они и тебя утешат, Мариам-джо. Молись, и они никогда не подведут тебя. В словах Господа ты обретишь надежную опору.

Мулла умел рассказывать, но умел и слушать. Когда Мариам говорила, он, казалось, весь обращался в слух, улыбался, кивал головой, будто девочка оказывала ему честь. Ему можно было поверить такое, в чем Мариам никогда бы не осмелилась признаться Нане.

Однажды на прогулке Мариам сказала ему, что не прочь пойти в школу.

— В настоящую школу, ахунд-сагиб. В класс. Как другие дети моего отца.

Неделю назад Биби-джо принесла на хвосте, что дочки Джалиля Сайдех и Нахид пошли в гератскую женскую школу «Мехри». С той поры мысли об учителях и классах прочно засели у Мариам в голове. Учебники, разлинованные тетрадки, колонки цифр, ручки, которыми можно красиво и четко писать, так и вертелись перед глазами. Что уж говорить об ученицах-

ровесницах, возможных подружках!

— Ты правда хочешь в школу? — Мулла Фатхулла замер на месте, глядя на нее добрыми слезящимися глазами; тень от чалмы упала на траву.

— Да.

— И ты хочешь, чтобы я попросил у твоей матушки позволения?

Мариам улыбнулась. Наверное, только Джалиль понимает ее так же хорошо, как старый законоучитель.

— Ну что тут прикажешь делать? Господь в неизреченной мудрости своей наделил каждого из нас слабостями. Одна из моих многочисленных слабостей, Мариам-джо, в том, что я не могу тебе ни в чем отказать. — И мулла потер щеку скрюченным пальцем.

Нана резала в кухне лук. Стоило мулле заговорить с ней, как она даже нож уронила.

— Это еще зачем?

— Если девочка хочет учиться, моя дорогая, ей надо разрешить. Пусть получит образование.

— Учиться? Чему, мулла-сагиб? — резко спросила Нана, прищурившись на Мариам.

Та потупилась.

— Что толку учить девчонку вроде нее? Все равно что выставять плевательницу на яркий свет. И чему полезному ее научат в этой школе? Женщинам вроде нее и меня в жизни нужно только одно. Ну-ка, посмотри на меня.

— Ты не должна так говорить, дитя мое.

— Посмотри на меня.

Мариам подняла глаза.

— Только одно. Терпение. *Тахамуль*.

— А что надо терпеть, Нана?

— Насчет этого не беспокойся. Хватило бы сил все перенести.

Вот, к примеру, жены Джалиля называли ее гадкой, низкой дочкой каменщика. И заставляли стирать белье во дворе на холоде, пока она вся не окоченела.

— Это твой жизненный удел, Мариам. Для таких, как мы, судьба уже все определила. Нам осталось только терпеть. Понимаешь? А в школе над тобой будут насмехаться. Обязательно. И обзовут тебя «харами». И будут про тебя рассказывать всякие гадости. Я не хочу этого.

Мариам послушно кивнула.

— Больше даже не заикайся насчет школы. Ты — все, что у меня есть. Я не отдам тебя им. Посмотри на меня. Не смей заикаться насчет школы.

— Рассуждай здраво. Если девочке хочется... — начал было мулла Фатхулла.

— А вы, ахунд-сагиб, при всем моем к вам уважении, лучше не потакали бы девчонке в ее глупостях. Ее место здесь, рядом с матерью. Больше ей податься некуда. Везде только презрение и боль. Уж я-то знаю, ахунд-сагиб.

Мариам любила, когда приходили гости. Деревенский староста с гостинцами, сплетница Биби-джо, мулла Фатхулла. Но ни по кому, ни по одному человеку Мариам так не скучала, как по Джалилю.

Беспокойство завладевало ею уже во вторник ночью. Мариам плохо спала, ее снедала тревога, что какие-то срочные дела не позволят Джалилю прийти и придется ждать еще целую неделю, до следующего четверга. Когда наступала среда, Мариам не сиделось дома, она мерила шагами лужайку, равнодушно швыряла корм курам, обрывала лепестки у цветов и давила комаров. В четверг у нее все из рук валилось, она только и могла, что сидеть у стены дома, уставившись на речку, и ждать. Если Джалиль приходил поздно, ее потихоньку начинала бить дрожь, коленки слабели, она все порывалась куда-то бежать и не могла.

И тут внезапно раздавался голос Наны:

— Да вот он, твой папочка. Во всей своей красе.

Мариам вскакивала на ноги, и взору ее, точно, представал Джалиль. Он пускал камешки по воде, источал улыбки, приветственно махал рукой. Мариам знала, что Нана поглядывает на нее, следит, как она себя поведет, и ей стоило немалых усилий не броситься отцу навстречу, а стоять неподвижно и ждать, пока он сам подойдет к ней (ужасно медленно). Застыв на месте, Мариам смотрела, как Джалиль шагает по высокой траве, пиджак наброшен на одно плечо, красный галстук треплется по ветру.

Когда Джалиль вступал на поляну, он бросал пиджак на тандыр и раскрывал объятия. Девочка делала пару шажков к нему, потом срывалась с места, и Джалиль подхватывал ее под мышки и подбрасывал в воздух. Мариам радостно визжала.

Сильные руки отца поднимали ее высоко, отсюда Мариам видела его повернутое кверху лицо, широкую улыбку, «вдовый треугольник» волос на лбу, раздвоенный подбородок — в ямочку как раз помещался ее мизинец, — белоснежные здоровые зубы, редкость в этом городе. Она обожала его подстриженные усы, его неизменный темно-коричневый пиджак (какая бы погода ни стояла, он всегда являлся к ним в костюме, носовой платок торчит треугольничком из нагрудного кармана), его запонки, его небрежно повязанный галстук. И себя Мариам тоже видела со своей верхотуры: вот оно, ее отражение в карих глазах отца — волосы растрепаны, лицо разгорелось, над головой синее небо.

Нана ворчала, что однажды Джалиль ее уронит и она рухнет на землю и сломает себе руку или ногу. Но Мариам не верила, что такое возможно. Уж так надежно держали ее сильные, ухоженные руки отца.

В тенечке возле хижины Нана подавала им чай, они с Джалилем улыбались друг другу тревожной улыбкой и кланялись. Джалиль никогда словом не упоминал о том, как Нана кидала в его мальчиков камни и как поносила их подлыми словами.

Как бы ни кляла Нана Джалиля в его отсутствие, при нем она всегда была тихая и степенная. Волосы вымыты и расчесаны, зубы почищены, на голове — лучший ее хиджаб, руки чинно сложены на коленях. Она никогда не смотрела на него прямо, не употребляла грубых словечек, а когда смеялась, держала у рта кулачок, чтобы плохие зубы не бросались в глаза.

Нана спрашивала его, как идут дела. У него самого и у его жен. Биби-джо сказала ей, что самая молодая его жена, Нарджис, ждет третьего ребенка. Джалиль вежливо улыбнулся и утвердительно кивнул на ее вопрос.

— Что ж. Ты, наверное, рад. Сколько ты их уже наплодил-то? Никак, целых десять, *машалла* ^[5]! Десять?

Да, десять, согласился Джалиль.

— Вот и нет. Одиннадцать. Считая Мариам.

Когда Джалиль ушел, мать и дочь повздорили. Мариам сказала, что Нана специально выставила его дураком.

Напившись с Наной чаю, Мариам и Джалиль отправлялись на рыбалку. Отец учил ее, как надо забрасывать удочку, как подсекать, как чистить и потрошить форель, как одним быстрым движением выдергивать из рыбы хребет. Пока они ждали поклевки, Джалиль рисовал ей картинки, показывал, как можно изобразить слона, не отрывая карандаша от бумаги. Он научил ее рифмовать слова, они вместе пели песенку.

*Лунку воробьи нашли
И купаются в пыли.
Рыбка в речке поскользнулась —
С головою окунулась.*

Джалиль приносил с собой вырезки из гератской газеты «Иттифак-и-Ислам» и зачитывал Мариам. Так она узнала, что за пределами их хижины, за пределами деревни Руль-Даман и города Герата существует огромный мир, где правят президенты, имена которых невозможно выговорить, где

мчатся поезда, где играют футболисты, где взлетают ракеты и садятся на Луну. Кусочек этого большого мира Джалиль приносил с собой по четвергам.

Именно отец сказал ей летом 1973 года, когда Мариам было четырнадцать лет, что произошел бескровный переворот и короля Захир Шаха, правившего страной из Кабула сорок лет, свергли.

— Пока король лечился в Италии, власть перешла к его двоюродному брату Дауд Хану. Помнишь, кто такой Дауд Хан? Я тебе рассказывал про него. Когда ты родилась, он был в Кабуле премьер-министром. Так что Афганистан больше не монархия. Теперь наша страна — республика, а Дауд Хан — президент. Говорят, ему помогли взять власть социалисты. Представляешь, сам-то он никакой не социалист, но вроде бы они ему помогли. Такие слухи ходят.

Мариам спросила отца, что такое «социалист», и Джалиль пустился в объяснения. Только Мариам пропускала все мимо ушей.

— Ты слушаешь?

— Да.

Но глаза ее смотрели на оттопырившийся боковой карман отца.

— Ну да. Конечно. Тянуть больше не будем.

Джалиль достал из пиджака коробочку и протянул Мариам. Время от времени он делал ей небольшие подарки. Сердоликовый браслет на запястье. Лазуритовое ожерелье. А в тот день в коробочке оказался кулон-листик со свисающими кругляшками вроде монеток, на каждой выбиты звезды и полумесяц.

— Примерь, Мариам-джо.

Она послушалась.

— Что скажешь?

Джалиль просиял:

— Ты прямо как царица.

Когда он ушел, Нана заметила кулон у дочки на шее.

— Работа кочевников, — сказала она. — Я видела, из чего они такое делают. Люди кидают им милостыню, а они переплавляют монетки. Пусть-ка он тебе в следующий раз подарит что-нибудь золотое, твой драгоценный папочка. Да куда там. Кишка тонка.

Когда Джалилю пора было уходить, Мариам стояла в дверях, провожала его взглядом, пока он не скрывался за деревьями, и думала о предстоящей неделе как о пропасти, отделяющей ее от следующего четверга. Мариам всегда задерживала дыхание, когда прощалась с отцом. И не дыша считала мгновения. За каждое такое мгновение Господь (так она

про себя с ним условилась) дарил ей еще один день вместе с Джалилем.

«А на что похож его дом в Герате? — думала Мариам по ночам, лежа в своей кровати. — Хорошо бы жить вместе с ним, видеть его каждый день, приносить полотенце после бритья, сообщать, если порезался. Подавать ему чай, пришивать оторвавшиеся пуговицы, гулять с ним по Герату, делать покупки на крытом базаре — Джалиль сказал, там можно купить все что угодно. Кататься с ним на машине — а люди будут кивать и говорить: „Это Джалиль-хан с дочерью“. Увидеть дерево, под которым погребен знаменитый поэт».

Однажды Мариам скажет ему обо всем этом. И очень скоро. А когда он поймет, как она скучает по нему, он, конечно, заберет ее с собой. И отвезет в Герат, и она будет жить у него в доме. Как все прочие его дети.

— А я знаю, чего мне хочется, — сказала Мариам Джалилю.

Весной 1974 года Мариам исполнилось пятнадцать лет. Они втроем сидели в тени ив на поляне у хижины. Раскладные стулья были расставлены треугольником.

— На мой день рождения. Я знаю, чего мне хочется.

— Правда? — ободряюще улыбнулся Джалиль.

Недели две назад Джалиль сообщил Мариам (как пристанет с расспросами — вот ведь любопытная какая!), что в его кинотеатре идет особенное американское кино. Мультфильм называется. Много-много рисунков мелькают последовательно один за другим, и зрителю кажется, что нарисованные кадры двигаются на экране. Кино это про старого бездетного мастера-кукольника, которому очень хотелось иметь сына. Вот мастер и вырезал себе из дерева куклу-мальчика, а она возьми и оживи. Мариам попросила отца рассказать подробнее. Оказалось, со стариком и деревянным мальчиком чего только не случилось. Они даже умудрились угодить на Остров Наслаждений к плохим непослушным мальчикам, которые превращались в ослов. А потом старика и куклу проглотил кит. Мариам даже рассказала про мастера и деревянного мальчика мутле Фатхулле.

— Хочу, чтобы ты, отец, сводил меня в свой кинотеатр и показал мультфильм. Хочу посмотреть на деревянного мальчика.

Стоило Мариам произнести эти слова, как настроение родителей переменилось. Они беспокойно пошевелились на стульях и переглянулись.

— Это ты плохо придумала, — сказала Нана холодно и сдержанно. При Джалиле она всегда разговаривала таким тоном. Только тут добавился еще сердитый, осуждающий взгляд.

Джалиль откашлялся.

— Знаешь, копия оказалась не лучшего качества. И звук тоже. Да и киноаппарат уже пора отдавать в ремонт. Наверное, мама права. Давай я лучше подарю тебе что-нибудь другое, Мариам-джо.

— Аних, — подхватила Нана. — Вот видишь? Отец того же мнения.

— Возьми меня в кино, — еще раз попросила Мариам, когда они с Джалилем подошли к речке.

— Вот что, — сказал Джалиль. — Я пришлю кого-нибудь, чтобы

сводил тебя в кино. Будешь сидеть на хорошем месте и поедать конфеты. Сколько хочешь.

— Нет, хочу пойти с тобой.

— Мариам-джо...

— И пригласи еще моих братьев и сестричек. Хочу, чтобы мы отправились на сеанс все вместе. Очень хочу.

Джалиль только вздохнул, отводя глаза в сторону, будто ему захотелось вдруг полюбоваться горами.

По рассказам Джагиля, лицо человека на экране получается размером с дом. А когда сталкиваются машины, грохот ощущаешь всем телом. Как здорово будет сидеть на балконе вместе с Джагилем и его детьми, смотреть на экран и лизать мороженое!

— Очень хочу, — повторила Мариам.

В глазах Джагиля сквозила печаль.

— Завтра. В полдень. Встретимся на этом самом месте. Ладно? Завтра.

— Приходи, — сказал Джагиль, присел на корточки, обнял дочку и прижал к себе. И долго-долго не отпускал.

Сперва Нана ходила вокруг хижины, сжимая и разжимая кулаки.

— За что Господь даровал мне такую неблагодарную дочь? Ведь я столько перенесла ради тебя! Как ты смеешь? Ты, вероломная харами, хочешь бросить меня!

Потом Нана перешла к насмешкам:

— Дура ты, дура! Думаешь, ты значишь для него хоть что-нибудь? Так тебя и ждут у него в доме! Думаешь, ты ему настоящая дочь и он рад будет принять тебя? Сердце мужчины достойно презрения, Мариам. Это тебе не материнская утроба. Я — все, что у тебя есть в этой жизни. Не будет меня, ты останешься одна-одинешенька на всем белом свете.

Наконец, мать стала взывать к совести дочери:

— Если ты уйдешь, я умру. Явится джинн, и со мной будет припадок. Вот увидишь, я подавлюсь собственным языком и задохнусь. Не уходи, Мариам-джо. Останься со мной. Я не переживу, если ты уйдешь.

Мариам молчала.

— Ведь я так люблю тебя, Мариам-джо.

— Пойду пройдуся, — сказала Мариам.

Она боялась наговорить матери обидных слов, если останется, она знала, что про джинна — все враки. Джагиль сказал, это просто болезнь, у которой есть имя, и если бы Нана принимала специальные таблетки, ей было бы куда легче. Джагиль предлагал пойти к доктору, но Нана

отказалась. И пилюли, которые он ей купил, принимать не стала. Почему? Если бы Мариам смогла подобрать нужные слова, то сказала бы матери, что ей надоело быть игрушкой в чужих руках, бессловесной ущербной куклой для выслушивания лживых жалоб на жизнь, лишним поводом для обиды.

«Ты боишься, Нана, — сказала бы Мариам матери. — Ты боишься, вдруг я обрету счастье, которого у тебя никогда не было. Поэтому ты не хочешь, чтобы я была счастлива. Это твое сердце достойно презрения».

У края поляны было одно местечко, которое Мариам очень любила. Отсюда открывался прекрасный вид. Здесь-то юная девушка и расположилась на сухой теплой траве. Перед ней простирался Герат со всеми его достопримечательностями: Женским Садам на севере города, площадью Чар-Сук, развалинами крепости Александра Великого. Минареты тянулись в небо, словно пальцы великанов, Мариам воображала себе толпу, заполнявшую улицы, бесконечную череду повозок, запряженных мулами. Над головой кружили ласточки — Мариам завидовала им, ведь они побывали в Герате, летали над мечетями и базарами, может, даже сидели на заборе дома Джалиля и прыгали по ступенькам его кинотеатра.

Мариам набрала десять камушков и составила из них несколько столбиков. В эту игру она порой играла сама с собой, когда Нана не глядела. В первом столбике было четыре камня — дети Хадиджи, в остальных двух — по три: дети Афсун и Нарджис. А четвертый столбик состоял из одного-единственного камушка — одиннадцатого.

На следующий день Мариам надела кремовое платье-камиз до колен, хлопчатобумажные штаны-шальвары, голову покрыла зеленым хиджабом. Цвет этот был не в тон остальному ее наряду. Ужасно, конечно, но тут уж ничего поделать нельзя — в ее белом хиджабе проела дырки моль.

Девушка проверила время. Старые часы с ручным заводом, ярко-зеленым циферблатом и черными цифрами ей подарил мулла Фатхуллы. Было девять часов утра.

Интересно, где сейчас Нана? Пойти, что ли, ее поискать? И опять выслушивать насмешки и обвинения, смотреть в горестные глаза?

Мариам присела к столу и, чтобы скоротать время, нарисовала целую кучу слонов, не отрывая карандаша от бумаги, как учил Джалиль. Даже все тело затекло. Но ложиться не годилось — еще наряд изомнешь.

Когда стрелки часов показали одиннадцать тридцать, Мариам сложила

в карман свои одиннадцать камушков, вышла из дома и направилась к речке. Нана сидела на своем складном стуле в тени под ивой. Трудно сказать, заметила она Мариам или нет.

В условленном месте на берегу Мариам принялась ждать. Над головой медленно проплывали угрюмые серые облака, формой похожие на цветную капусту. Такими темными облака делаются потому, что верхняя часть у них очень плотная, не пропускает солнечные лучи и отбрасывает тень, говорил Джалиль. «Видишь, Мариам-джо, какой черный у тучки животик».

Минуты бежали.

Мариам вернулась к хижине. На этот раз она двигалась вдоль западной кромки поляны и не видела Нану.

Что там на часах? Почти час дня.

«Он — деловой человек, — убеждала себя Мариам. — Его просто что-то задержало».

Она вернулась к речке и подождала еще. Вокруг порхали черные дрозды, то и дело ныряя в высокую траву. По колючему зеленому стволику чертополоха медленно-медленно ползла гусеница.

Мариам ждала, пока не затекли ноги.

Нет, домой она не пойдет.

Девушка подвернула до колен шальвары, пересекла поток и зашагала под уклон. Впервые в жизни она направлялась в Герат.

Про Герат Нана тоже врала. Никто не показывал на Мариам пальцем. Никто не смеялся. Мариам шла по многолюдным шумным бульварам, поросшим кипарисами, мимо нее текли потоки людей, велосипедистов, повозок, запряженных мулами, и никто не швырял в нее камнями, никто не кричал вслед «харами». Она ничем не выделялась в толпе.

Мариам стояла у овального пруда, где сходилась несколько посыпанных гравием аллей, погладила по спине мраморных лошадей, слепо таращивших глаза на воду. Мальчишки пускали бумажные кораблики. Всюду было полно цветов: тюльпанов, лилий, петуний, их лепестки, казалось, купались в солнечном свете. Люди прогуливались по дорожкам, сидели на лавках, попивали чай.

Мариам не верилось, что наконец-то она здесь. Сердце радостно билось. Жалко, муллы Фатхуллы нет рядом. Он бы за нее порадовался. Вот ведь какая храбрая! — сказал бы законоучитель про Мариам. Не побоялась отправиться в большой город, окунуться в новую жизнь. Теперь она заживет совсем по-другому, рядом с отцом, братьями и сестрами, и они будут любить ее, а она — их. В ее жизни не будет больше места упрекам и

стыду.

Она вышла из парка и вернулась на широкую магистраль. Перед глазами замелькали бесстрастные, дочерна загоревшие лица уличных торговцев, расположившихся со своими вишнями и виноградом в тени платанов, босоногие мальчишки размахивали пакетами с айвой перед машинами и автобусами. На углу улицы Мариам опять остановилась.

Ну почему у всех этих людей равнодушие на лицах, когда кругом такие чудеса!

Набравшись храбрости, она спросила у пожилого толстощекого извозчика в полосатом *чапане* всех цветов радуги, не знает ли тот, где живет Джалиль, владелец кинотеатра.

— Ты нездешняя, да? — дружелюбно осведомился старик. — Всем известно, где живет Джалиль-хан.

— Можете мне показать?

Извозчик развернул ириску и спросил:

— Ты одна?

— Да.

— Забирайся. Я отвезу тебя.

— Я не смогу заплатить. У меня денег нет.

Старик протянул ей ириску.

— Мне все равно домой уже пора. Часа два, как клиентов нет. А дом Джалиль-хана мне по пути.

Мариам уселась рядом с ним. Ехали они молча. Лавки и лотки так и мелькали по обе стороны. Пряности, апельсины, груши, шали, даже ловчие соколы... Деревянные помосты, застланные коврами, люди пьют чай, курят кальян, рядом дети играют в шарики, начертив круг в пыли...

Повозка свернула на широкую улицу, засаженную соснами и кедрами, проехала еще немного и остановилась.

— Мы на месте. Похоже, тебе повезло, *дохтар-джо*. Хозяин дома, вот его машина.

Мариам спрыгнула на землю. Извозчик улыбнулся ей и покатил дальше.

Никогда прежде Мариам не дотрагивалась до автомобиля. Машина Джалиля стояла перед ней во всей красе: черная, блестящая, с зеркальными колпаками, отражавшими все вокруг (в том числе и саму Мариам), с сиденьями из белой кожи. Возле руля сверкали какие-то полированные рычаги и стеклянные циферблаты со стрелками.

На мгновение девушке послышался издевательский голос матери — и

ее словно холодной водой окатили. Мариам подошла к калитке и оперлась о стену — она высилась перед ней каким-то предвестником беды. Из-за стены виднелись только верхушки кипарисов — и то, если высоко задрать голову. Кроны деревьев раскачивались на ветру, будто приветствуя Мариам.

Ну же, смелее.

Дверь открыла босоногая девушка с татуировкой под нижней губой.

— Я хочу видеть Джалиль-хана. Меня зовут Мариам. Я его дочь.

Недоумение на лице босоногой служанки сменилось проблеском понимания, следом пришла готовность помочь. На губах появилась слабая улыбка.

— Жди тут, — быстро проговорила девушка и захлопнула дверь.

Прошло несколько минут, прежде чем дверь опять открылась. На этот раз на пороге стоял высокий широкоплечий мужчина с сонными глазами и безразличным лицом.

— Я шофер Джалиль-хана, — сказал мужчина довольно добродушно.

— Простите, кто?

— Его водитель. Джалиль-хан в отлучке.

— Но его машина здесь, — возразила Мариам.

— Он отправился по срочному делу.

— Когда он вернется?

— Он не сказал.

— Я подожду.

Мужчина захлопнул калитку. Мариам села на землю, поджав колени к подбородку. Уже наступил вечер, и ей хотелось есть. Пришлось сжевать ириску, которой ее угостил извозчик.

Спустя некоторое время опять показался шофер.

— Тебе надо отправляться домой, — сказал он. — Через час уже совсем стемнеет.

— Я привыкла к темноте.

— Становится холодно. Давай я отвезу тебя домой. А хозяину передам, что ты приходила.

Мариам смотрела на него, не произнося ни слова.

— Я могу отвезти тебя в гостиницу. Выспишься. А утро вечера мудренее.

— Пустите меня в дом.

— Не велено. Послушай-ка, никто не знает, когда хозяин вернется. Может, через несколько дней.

Мариам скрестила на груди руки.

Водитель вздохнул и посмотрел на нее с мягким упреком.

Впоследствии Мариам частенько задумывалась о том, как сложилась бы ее жизнь, если бы она позволила водителю отвезти ее обратно. Но этого не произошло. Целую ночь она провела у дома Джалиля. Она видела, как небо темнеет и вдоль улицы ложатся длинные тени. Служанка с татуировкой вынесла ей миску риса и кусочек хлеба, Мариам отказалась, и служанка поставила миску прямо на землю. Время от времени на улице слышались шаги, скрипели двери, звучали приглушенные слова приветствия. Зажглись окна. Залаяли собаки.

Проголодавшись, Мариам съела хлеб и рис. В садах стрекотали сверчки. Освещаемые бледной луной, над головой скользили облака.

Утром оказалось, что ночью кто-то прикрыл ее одеялом.

Разбудил ее водитель.

— Ну, хватит. Хорошенького понемножку. *Бас*. Пора отправляться домой.

Мариам протерла глаза. Спина и шея ныли.

— Я уж дождусь его.

— Ну-ка, посмотри на меня. Джалиль-хан велел немедленно отвезти тебя домой. Прямо сейчас. Поняла? Сам Джалиль-хан так распорядился. — Водитель распахнул заднюю дверцу: — *Биа*. Садись в машину.

Глаза у Мариам защипало.

— Я дождусь его.

— Позволь, я отвезу тебя домой. Поехали, дохтар-джо. — Шофер вздохнул.

Мариам поднялась с земли, пошла вслед за ним — но в последнюю секунду метнулась в сторону и бросилась прямо к калитке. Водитель успел схватить ее за плечо, но она вывернулась и ворвалась в открытую дверь.

Миг — и она уже у Джалиля в саду. Перед глазами мелькнули стеклянные стенки, за которыми что-то росло, гроздья винограда, свисающие с деревянных подпорок, облицованный серым камнем пруд, плодовые деревья, кусты, усыпанные яркими цветами...

И тут в окне второго этажа она увидела лицо. Глаза широко раскрыты, рот разинут. Ей хватило мгновения, чтобы узнать. Моментально опущенные шторы ничего уже не могли скрыть.

Чьи-то сильные руки ухватили ее под мышки и оторвали от земли. Мариам затрепыхалась, галька посыпалась у нее из кармана. Пока ее волокли к машине и усаживали на холодное кожаное сиденье, она билась и кричала.

Шофер говорил негромко, полупшепотом. Мариам его не слушала. Всю

дорогу она проплакала. Это были слезы боли, слезы гнева, слезы разочарования. И глубокого стыда. Как она готовилась к встрече, как огорчалась из-за хиджаба не в тон, как шла до Герата пешком, как отказалась уйти домой, как спала на улице, будто бездомная собачонка!

А ведь Нана ее предупреждала. И была права во всем.

Сможет ли она теперь смотреть матери в глаза?

У Мариам из головы не шло его лицо в окне второго этажа. Он позволил ей спать на улице! *На улице.* Мариам упала лицом вниз на кожаную подушку, чтобы никто ее не увидел. Наверное, весь Герат знает, каким позором она себя покрыла. Как жалко, что муллы Фатхуллы нет рядом, он бы сумел ее как-нибудь успокоить.

Дорога пошла в гору, машину затрясло. Они были на полпути между Гератом и Гуль-Даманом.

Что теперь сказать Нане, какими словами просить прощения?

Машина остановилась, и водитель помог Мариам выйти.

— Я тебя отведу, — тихонько сказал он, и они зашагали вверх по дорожке, густо заросшей по краям жимолостью и молочаем.

Жужжали пчелы. Мужчина взял ее за руку и помог перейти через речку. На другом берегу Мариам вырвала руку и пошла сама.

Шофер все бормотал, что совсем скоро завоют знаменитые гератские ветра, дующие сто двадцать дней в году с утра до заката, и от комаров никакого спасу не будет... И вдруг он встал перед ней и загородил дорогу. Размахивая руками, он будто отгонял девушку прочь.

— Назад. Нет. Не смотри. Повернись и беги отсюда.

Но он не успел. Мариам уже все видела.

Ивы склонились под ветром. Словно занавес раздвинулся. Стал виден перевернутый стул.

И веревка, свисающая с ветки.

И болтающееся на веревке тело.

Нану похоронили в углу деревенского кладбища. Мариам стояла в толпе женщин рядом с Биби-джо. Мулла Фатхулла прочел положенные молитвы, и мужчины опустили тело в могилу.

После похорон Джалиль отвел Мариам в хижину и разыграл перед собравшимися заботливого отца, убитого горем, — велел ей лечь, сам сел рядом, энергично помахал у нее перед лицом веером, провел рукой по лбу, потом вскочил, собрал пожитки дочери, уложил в чемодан и все спрашивал: не нужно ли тебе чего? Не нужно ли?.. Несколько раз спросил.

— Позови муллу Фатхуллу, — попросила Мариам.

— Конечно. Он возле дома. Сию минуту.

Когда легкая сгорбленная фигурка муллы показалась в дверях, Мариам впервые за весь день заплакала.

— О, Мариам-джо.

Он сел рядом с ней, погладил по лицу.

— Поплачь, Мариам-джо. Поплачь. Не стесняйся. Только помни, девочка, что говорит Коран: «Благословен тот, в руках которого власть и который властен над всякой вещью, который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям, — Он велик, прощающ!^[6]» В этих словах истина, девочка моя. Да будет Господь тебе опорой в горе и страданиях, и да послушна будешь воле его!

Но слова Господа не принесли Мариам утешения. В ушах ее звучали другие слова, те, что сказала Нана. «Если ты уйдешь, я умру». И слезы потоком лились из ее глаз и омывали испещренные старческой гречкой руки муллы.

По дороге к себе домой Джалиль сидел рядом с Мариам на заднем сиденье, обнимал за плечи.

— Ты можешь жить со мной, Мариам-джо. Я уже распорядился подготовить для тебя комнату на втором этаже. Тебе понравится. Окна выходят прямо в сад.

Впервые Мариам слушала его ушами Наны. Вся фальшь и неискренность его слов, прежде глубоко укрытые, всплыли на поверхность. Она видеть его не могла.

Когда машина прибыла на место, водитель распахнул им дверь, вынул из багажника чемодан. Джалиль, придерживая девочку за плечи, вошел с

ней в ту самую калитку, рядом с которой Мариам спала на улице каких-то два дня тому назад. Как она мечтала пройтись с отцом по саду, все бы отдала за такую прогулку! Да она ли это была? Как стремительно поменялась ее жизнь! В мгновение ока все полетело вверх тормашками.

Она шла по серой, посыпанной гравием дорожке, низко опустив голову. Рядом было множество людей — она знала это, — они шушукались, беспокойно шевелились, смотрели на нее во все глаза. Казалось, все окна в доме так и уставились на нее — она чувствовала на себе любопытные взгляды.

Даже войдя в дом, Мариам по-прежнему смотрела себе под ноги. Перед глазами у нее разматывался красно-коричневый палас в желто-синих восьмиугольниках, мелькали мраморные подножия статуй, нижние половинки ваз, бахрома ковров на стенах. К ступенькам широкой лестницы гвоздиками был приколот еще ковер, карминно-красный, тоже весь в восьмиугольниках.

Когда они поднялись, Джалиль свернул налево, провел ее по длинному коридору и распахнул одну из многочисленных дверей.

— Твои сестры Нилуфар и Ати иногда играют в этой комнате. Но вообще-то она предназначена для гостей. Тебе будет тут удобно. Мило здесь, правда?

Узор на покрывале кровати напоминал пчелиные соты. Такой же рисунок был на отдернутых шторах. Из окна открывался чудесный вид на сад. Рядом с кроватью поместили комод с тремя выдвижными ящиками, на комод стояла ваза с цветами. Стены украшали полочки и оправленные в рамки фотографии незнакомых людей. На одной из полочек сверкала яркими красками целая компания кукол одинаковой формы и расцветки, но разного размера — одна меньше другой.

Джалиль поймал ее взгляд.

— Такие куклы называются «матрешки». Я привез их из Москвы. Если хочешь, можешь с ними поиграть. Никто не будет возражать.

Мариам села на кровать.

— Тебе что-нибудь надо? — поинтересовался Джалиль.

Мариам легла и закрыла глаза.

Немного погодя Джалиль тихонько притворил за собой дверь.

Из своей комнаты Мариам не выходила. Ну разве только в туалет. Девушка с татуировкой, та самая, что открыла ей калитку, приносила на подносе еду: кебаб из ягненка, *сабзи*, суп *ош*^[7]. Мариам почти ничего не ела. По несколько раз в день заходил Джалиль, присаживался у нее в ногах,

спрашивал, не беспокоит ли что-нибудь. «Ты можешь есть внизу со всей семьей», — предложил он как-то, впрочем, безо всякой уверенности в голосе. Когда Мариам отказалась, сказав, что ей удобнее принимать пищу одной, Джалиль поспешил согласиться.

Из окна Мариам безучастно взирала на то, что еще недавно казалось ей самым интересным и желанным зрелищем на свете: на повседневную жизнь семьи Джалиля. Слуги так и сновали туда-сюда. Садовник вечно постригал кусты или поливал растения в оранжерее. К воротам подкатывали сверкающие длинные машины. Из машин выходили мужчины в костюмах, в чапанах и каракулевых шапках, женщины в хиджабах, тщательно причесанные дети. Мариам видела, как Джалиль пожимал гостям руки, как раскланивался с их женами, прижимая руки к груди, и понимала, что Нана говорила правду. Она здесь чужая.

А где я не чужая? Куда мне податься?

Я — все, что у тебя есть в этой жизни. Не будет меня, ты останешься одна-одинешенька на всем белом свете.

Словно порыв ветра, сгибающий ивы у их хижины, на Мариам накатывала чернота.

На второй день пребывания в отцовском доме к ней в комнату вошла маленькая девочка.

— Мне надо здесь кое-что взять, — сообщила она.

Мариам села на кровати и прикрыла ноги покрывалом.

Девочка протопала через комнату, открыла дверцу шкафа и достала квадратный ящичек.

— Знаешь, что это такое? — Она сняла с ящичка крышку. — Это граммофон. *Грам-мо-фон*. На нем можно проигрывать пластинки. Слушать музыку.

— Ты — Нилуфар. Тебе восемь лет.

Девочка улыбнулась. Ну вылитый Джалиль. И такая же ямочка на подбородке.

— А ты откуда знаешь?

Мариам пожала плечами. Не говорить же малышке, что она назвала камень-голыш в ее честь.

— Хочешь послушать песню?

Мариам опять пожала плечами.

Нилуфар включила проигрыватель в розетку, выудила из кармана под крышкой небольшой черный кружок, поставила на вертящийся диск и опустила странную изогнутую штуку. Заиграла музыка.

*Я б написал тебе на лепестке цветка,
Нашел бы восхищенные слова,
Ты покорила мое сердце.
Мое сердце.*

— Ты слышала уже эту песню?

— Нет.

— Это из одного иранского фильма. Я видела у папы в кинотеатре. А ты не хочешь посмотреть кино?

Мариам и оглянуться не успела, как Нилуфар уперлась лбом и кулачками в пол, оттолкнулась ногами и — раз! — встала на голову.

— А ты так умеешь?

— Нет.

Нилуфар уже опять стояла на ногах.

— Могу тебя научить. — Девочка смахнула волосы с покрасневшегося лица. — Ты здесь долго будешь жить?

— Не знаю.

— Значит, говоришь, ты мне сестра? А мама сказала — ничего подобного.

— Я никогда такого не говорила, — соврала Мариам.

— Нет, говорила. Только меня это не касается. Сестра ты мне или нет, мне все равно.

Мариам легла.

— Я устала.

— Мама говорит, в твою маму вселился джинн и она лишила себя жизни.

— Довольно! — вскричала Мариам и опомнилась. — Выключи, пожалуйста, музыку.

В этот день ее навестила Биби-джо. Шел дождь. Отдуваясь и гримасничая, толстуха рухнула на стул у постели Мариам.

— Для меня хуже нет сырой погоды, Мариам-джо. Просто наказание Господне. Иди ко мне, дитя мое. Иди к Биби-джо. Только не плачь. Ну же, ну. Бедняжка. *Тсц-тсц*. Вот ведь горе-то.

В эту ночь Мариам долго не могла заснуть, смотрела в окно на темное небо, прислушивалась к шагам на первом этаже, к шуму дождя во дворе, к приглушенным голосам за стеной. Стоило ей задремать, как ее разбудили крики. Несколько человек ссорились, только слов было не разобрать. Но голоса были злые, сердитые. Наконец, с грохотом захлопнулась дверь.

На следующее утро прибыл мулла Фатхулла.

Стоило Мариам взглянуть на своего старого друга, на его белую бороду и добрую беззубую улыбку, как глаза снова застлали слезы. Она спрыгнула с кровати, бросилась навстречу мулле, поцеловала ему руку. Мулла, как всегда, поцеловал ее в лоб.

Она пододвинула ему стул.

Фатхулла сел и раскрыл перед ней Коран.

— Пожалуй, не будем менять сложившийся распорядок, а?

— Мулла-сагиб, да не нужны мне больше уроки! Я давно уже знаю наизусть каждую суру и каждый аят из Корана^[8].

Законоучитель улыбнулся и поднял руки вверх: сдаюсь, мол.

— Пойман на месте преступления. Но какой еще предлог мне придумать, чтобы повидаться с тобой?

— Просто приходите, и все. Безо всяких предлогов.

— Ты очень добра ко мне, Мариам-джо.

Мулла протянул ей свой Коран. Как учили, Мариам трижды поцеловала книгу, касаясь обложки лбом после каждого поцелуя, и передала законоучителю обратно.

— Как тебе живется, девочка моя?

— Я стараюсь держаться, — начала было Мариам и смолкла, стараясь проглотить комок в горле. — Но у меня в ушах все звучат слова, которые она сказала мне на прощанье. Она...

— *Ней, ней, ней*, — похлопал ее по коленке мулла Фатхулла. — Твоя матушка — да простит ее Аллах — была беспокойная и несчастливая женщина, Мариам-джо. То, что она сделала над собой, — великий грех. Перед самой собой, перед тобой и перед Господом. Конечно же, всемилостивейший Господь простит ее, но она очень огорчила его. Ведь жизнь священна, и тот, кто отбирает ее, — у другого человека или у себя — совершает великое зло в глазах Господа. Видишь ли... — мулла Фатхулла придвинул свой стул поближе и взял Мариам за руку, — я знал твою матушку задолго до твоего рождения, и она была несчастлива уже тогда. Семя зла было посеяно давно и попало на благодатную почву. Хочу только сказать тебе, что твоей вины в случившемся нет. Ты тут ни при чем, дитя мое.

— Я не должна была уходить. Мне следовало...

— Прекрати. Это пагубные мысли. Слышишь меня, Мариам-джо? Дурные, пагубные. Они несут муку. Вины на тебе нет. Никакой.

Мариам кивнула в ответ.

Как ей хотелось поверить мулле Фатхулле!

Только не верилось.

Прошла неделя. Однажды днем в дверь Мариам постучали. Вошла высокая белокожая женщина с рыжими волосами и необычайно длинными пальцами.

— Меня зовут Афсун, — сказала женщина. — Я — мама Нилуфар. Почему бы тебе не умыться, Мариам, и не спуститься к нам?

Мариам ответила, что лучше останется у себя.

— *На фамиди*, ты не поняла. Тебе *надо* спуститься вниз. У нас есть о чем с тобой поговорить. Это очень важно.

Джалиль с женами расположились за длинным столом темного дерева. Мариам робко примостилась напротив них. В центре стола стояла ваза с цветами и запотевший кувшин с водой. Рыжеволосая Афсун, мама Нилуфар, восседала по правую руку от мужа, Хадиджа и Нарджис — по левую. На шеях у женщин — не на головах! — были небрежно повязаны тонкие черные платки.

Надо же, что-то вроде траура по Нане. Наверное, только что нацепили. Джалиль велел?

Афсун налила из кувшина воды в стакан и поставила перед Мариам на клетчатую салфетку.

— Еще весна не закончилась, а уже такая невыносимая жара.

И Афсун помахала ладонью перед лицом.

— Тебе удобно у нас? — У Нарджис маленький подбородок и курчавые черные волосы. — Надеемся, тебе у нас уютно. Это... тяжкое испытание... тебе, наверное, очень трудно. Очень непросто.

Прочие жены насупили брови и сочувственно закивали.

В голове у Мариам шумело, в горле пересохло. Она отпила из стакана.

За окном в саду (как раз за спиной у Джалиля) цвели яблони. На стене у окна висел черный деревянный шкафчик — футляр для часов и оправленной в рамку фотографии. С нее скалили зубы отец семейства и три мальчика. В руках все четверо держали огромную рыбу, чешуя так и сверкала на солнце.

— Значит, так, — начала Афсун. — Я... то есть мы... пригласили тебя сюда, чтобы поделиться радостным известием.

Мариам подняла глаза и заметила, что женщины переглянулись. Джалиль невидящим взглядом уставился на кувшин с водой. К Мариам обратилась Хадиджа (наверное, все было оговорено заранее), с виду самая старшая:

— У тебя есть жених.

Внутри у Мариам все оборвалось.

— Есть... что? — выговорила она непослушными губами.

— *Хастегар*. Жених. Его зовут Рашид. Его хорошо знает деловой партнер твоего отца. Рашид — пуштун, он родился в Кандагаре, но живет в Кабуле, в районе Дих-Мазанг. У него свой двухэтажный дом.

Афсун кивнула, подтверждая слова Хадиджи.

— И он говорит на фарси, как все мы. Тебе не придется учить пуштунский, — добавила она.

Комната крутилась у Мариам перед глазами, пол под ногами ходил ходуном.

— Рашид — сапожник, — опять взяла слово Хадиджа. — Только он не обычный уличный мучи, нет-нет. У него свой магазин, и он один из самых востребованных мастеров в Кабуле. У него заказывают обувь дипломаты, члены семьи президента — словом, важные лица. Так что ему есть на что содержать жену.

Мариам испытующе смотрела на Джалиля. Сердце у нее так и прыгало.

— Это правда? То, что она говорит, — правда?

Но Джалиль даже не взглянул на нее. Закусив губу, он не отрывал глаз от кувшина.

— Он, конечно, постарше тебя, — заговорила Афсун. — Ему... чуть за сорок. Самое большее — сорок пять. Скажи, Нарджис.

— Да-да. При мне девятилетних девочек выдавали за мужчин на двадцать лет старше твоего жениха, Мариам. Да и нам всем доводилось такое видеть. Сколько тебе лет, пятнадцать? Вполне созрела. В самый раз для невесты.

Женщины оживленно закивали. А как же сестры Мариам, Сайдех и Нахид? Им ведь тоже по пятнадцать. И обе они учатся в женской школе «Мехри» и собираются поступать в Кабульский университет. Вот они, наверное, еще не вполне созрели. Для замужества.

— Больше тебе скажу, — продолжала Нарджис, — его тоже постигли потери. Десять лет назад умерла при родах его жена. А три года тому назад его сын утонул в озере.

— Очень, очень печально. Он несколько лет искал себе жену, но подходящая все не попадалась.

— Я не хочу. — Мариам глаз не спускала с Джалиля. — Я не хочу замуж. Не заставляйте меня.

Надо требовать, а она просит! Да так жалобно!

— Веди себя разумно.

Мариам даже не обратила внимания, кто из женщин произнес эти слова. Она ждала, что скажет Джалиль.

Ведь не может же все это быть правдой!

— А то как бы тебе не пришлось всю жизнь прожить здесь!

— Ты что, не хочешь, чтобы у тебя была своя семья?

— Свой дом, дети?

— Под лежащий камень вода не течет.

— Конечно, лучше выйти за местного, за таджика, но у Рашида со здоровьем все в порядке, и ты ему интересна. У него есть дом и работа. Это самое важное, ведь так? А Кабул — прекрасный, потрясающий город. Нельзя упускать такую возможность. Другой такой может и не представиться.

— Я буду жить у муллы Фатхуллы. — Теперь Мариам обращалась к женам. — Он меня приютит. Я знаю.

— И что хорошего? — поинтересовалась Хадиджа. — Он — старик, и он...

Хадиджа никак не могла подобрать нужное слово, и Мариам закончила про себя: «...живет слишком близко от нас». Она поняла, что крылось за словами «другой такой возможности тебе может и не представиться». И им тоже. Ее рождение было для них бесчестьем, и они хотели избавиться от нее раз и навсегда, стереть саму память о постыдном поступке мужа. Ведь она — живое воплощение их позора. Нет, ее надо сослать подальше.

— Он — старик, и он уже дряхлый. А что ты будешь делать, когда он умрет? Станешь обузой для его семьи?

«Как сейчас ты обуза для нас», — договорила за нее Мариам. Да тут и договаривать-то было почти нечего.

Мариам попробовала представить себя в Кабуле, огромном чужом многолюдном городе, до которого, как ей как-то сказал Джалиль, от Герата шестьсот пятьдесят километров. Целых *шестьсот пятьдесят*. От своей хижины она в жизни не отходила дальше двух километров, и то только в тот день, когда ей вздумалось навеститься к Джалилю. Как ей жить в Кабуле, так невообразимо далеко, в доме чужого мужчины, чьи прихоти ей придется выполнять? Убирать за ним, стирать за ним, готовить? Да и прочие обязанности — Нана рассказала ей, каких гадостей мужья требуют от жен. От одной мысли об этом Мариам бросило в дрожь.

Она опять повернулась к Джалилю:

— Скажи им. Скажи, что ты запрещаешь поступать так со мной.

— Вообще-то твой отец уже дал жениху ответ, — заметила Афсун. — Рашид в Герате, приехал из самого Кабула. Ника^[9] состоится завтра утром, автобус отъезжает в Кабул в середине дня.

— Скажи им! — закричала Мариам.

Женщины затихли и тоже уставились на Джалиля. В комнате стало очень тихо.

Джалиль вертел на пальце обручальное кольцо. Лицо у него было беспомощное, растерянное.

Часы в шкафчике на стене громко тикали.

— Джалиль-джо? — нарушила молчание какая-то из жен.

Джалиль медленно поднял глаза, посмотрел на Мариам и потупился.

Стон его был полон боли. Но никаких слов не последовало.

— Скажи хоть что-нибудь, — прошептала Мариам.

— Будь все проклято, — тоненьким, дрожащим голосом произнес Джалиль. — Не поступай так со мной, Мариам.

Она? С ним?

И напряжение сразу спало.

Жены опять взялись расписывать достоинства жениха. Мариам смотрела в пол. В ее глазах отражались изысканные изгибы ножек стола, темная блестящая столешница. Полированная поверхность при каждом выдохе затуманивалась — и легкая дымка сразу исчезала, чтобы немедленно появиться вновь.

Наверх ее провожала Афсун.

Дверь за ней захлопнулась. Со скрежетом повернулся ключ в замочной скважине.

Наутро Афсун вручила Мариам изумрудное платье-камиз с длинными рукавами, белые шальвары, зеленый хиджаб и сандалии.

Мариам отвели в уже знакомую комнату. Посередине длинного темного стола стояла ваза с засахаренным миндалем, тут же лежали Коран, зеленая вуаль и зеркало. За столом сидели двое мужчин (по-видимому, свидетели) и мулла, которого Мариам тоже видела впервые в жизни.

Джалиль (коричневый костюм, красный галстук, пушистые волосы только что вымыты) указал ей на стул и попытался ободряюще улыбнуться. Хадиджа и Афсун на этот раз сидели с той же стороны стола, что и Мариам.

Мулла сделал движение головой в сторону вуали, и стоявшая рядом Нарджис моментально нацепила ее на Мариам.

— Позовите его, — велел кому-то Джалиль.

Мариам еще не видела жениха, а уже чувствовала чужой густой запах табачного дыма и сладкого одеколона. От Джалиля так никогда не пахло. На пороге комнаты остановился высокий, широкоплечий и пузатый мужчина — такой огромный, что у Мариам дыхание перехватило. В смущении она опустила глаза. Сердце у нее колотилось. Мужчина, тяжело ступая, прошел к столу — ваза с миндалем мелодично звякала в такт его шагам — и опустился на стул рядом с Мариам.

Послышалось сопение.

Мулла приветствовал их и возвестил, что *ника* будет не совсем обычная.

— Насколько я понимаю, Рашид-ага уже приобрел билеты на автобус до Кабула и час отъезда не за горами. Чтобы сберечь время, нам придется пропустить некоторые традиционные звенья обряда.

Мулла вознес благословения, сказал несколько слов о важности брака, спросил Джалиля, не возражает ли тот против заключения супружеского союза. Джалиль отрицательно покачал головой.

А Рашид хочет заключить брачный договор с Мариам?

— Да, — ответил Рашид хриплым грубым голосом.

— А ты, Мариам-джан, принимаешь ли этого человека в мужа?

Мариам молчала. Кто-то закашлялся.

— Принимает, — вмешался женский голос.

— Вообще-то, — возразил мулла, — она сама должна ответить. И не

раньше, чем я задам вопрос трижды. Это ведь он просит ее руки, а не наоборот.

И мулла задал свой вопрос еще дважды, с каждым разом все более возвышая голос. Джалиль беспокойно пошевелился на своем месте, зашаркал под столом ногами. Кашляло уже несколько человек.

Маленькая белая рука смахнула со стола пылинку.

— Мариам, — шепнул Джалиль.

— Да, — произнесла Мариам дрожащим голосом.

Вот зеркало уже и под вуалью. Сперва Мариам увидела в нем себя: неровные брови, жидкие волосы, печальные зеленые глаза (посаженные так близко, что ее можно было принять за косую), нечистая пористая кожа. Лоб у нее был слишком широкий, подбородок — чересчур узкий, губы — не в меру тонкие, а все лицо — длинное и заостренное.

И все-таки, пусть и не красавица, она была мила.

В зеркале Мариам впервые хорошенько разглядела Рашида: добродушно-хитрое квадратное лицо, крючковатый нос, налитые кровью глаза, багровые щеки, выступающие вперед два передних зуба, необычно низкий лоб, не шире двух пальцев, густые кустистые брови, толстые темные волосы с проседью.

В зеркале их взгляды на мгновение встретились.

Это мой муж, поразила Мариам.

Они обменялись золотыми кольцами, которые Рашид выудил из кармана пиджака. Ногти у него были желто-коричневые, словно сердцевина подгнившего яблока, кончики ногтей изломаны. Руки у Мариам так тряслись, что кольцо ему на палец она без посторонней помощи надеть не смогла. А ее кольцо оказалось узковато, но Рашид надвинул его одним быстрым движением.

— Готово, — прохрипел Рашид.

— Какое красивое колечко, — подала голос какая-то из жен. — Очень, очень миленькое.

— Теперь остается только подписать договор, — рек мулла.

Мариам поставила свою подпись — *мим, ра, йа* и опять *мим*. Все присутствующие не сводили глаз с ее рук.

В следующий раз подписывать документ ей доведется через целых двадцать семь лет — и опять в присутствии муллы.

— Отныне вы муж и жена, — торжественно произнес мулла. — *Табрик*. Поздравляю.

Рашид уже сидел в раскрашенном яркими красками автобусе, курил —

сигаретный дымок завивался спиралькой из раскрытого окна. Мариам стояла с Джалилем у заднего бампера. Люди вокруг прощались, жали друг другу руки, целовали Коран, держали священную книгу над головами близких. В толпе шныряли босоногие мальчишки с лотками, полными жевательной резинки и сигарет.

Джалиль соловьем разливался про Кабул. Ну до того красивое место, что сам Бабур, глава Могольской империи, распорядился похоронить его здесь. Сейчас речь Джалиля (Мариам знала) плавно перейдет на кабульские пышные сады, богатые лавки, полезный для здоровья горный воздух — и потом автобус тронется и увезет с собой Мариам. А Джалиль помашет ей ручкой и пойдет себе прочь, как ни в чем не бывало.

Такого Мариам допустить не могла.

— Я молилась на тебя, — выпалила она.

Джалиль смолк на полуслове, зачем-то прижал руки к груди. Супруги-индусы — жена с ребенком, муж с чемоданом — с извинениями протиснулись мимо. Джалиль вежливо улыбнулся им в ответ.

— По четвергам я дожждаться тебя не могла. Все волновалась, не случилось ли с тобой чего, придешь ли ты.

— Дорога дальняя. Съешь что-нибудь. Купить тебе сыра и хлеба?

— Я только о тебе и думала. Я молилась, чтобы ты дожил до ста лет. Я знать не знала, что я — твой стыд и позор.

Джалиль потупил взор и — словно мальчишка-переросток — стал ковырять землю носком ботинка.

— Оказывается, ты всю жизнь стыдился меня.

— Я приеду к тебе, — пробормотал Джалиль. — Я буду навещать тебя в Кабуле. Мы...

— Нет. Ни за что. Не приезжай. Не хочу о тебе больше слышать. *Никогда.*

Он умоляюще посмотрел на нее.

— Между нами все кончено. Прощай.

— Так нельзя, — пискнул Джалиль.

— Ты бы хоть для приличия дал мне время попрощаться с муллой Фатхуллой.

Мариам повернулась и зашагала сквозь толпу к автобусу. Джалиль не издавал ни звука. Уже у раздвижных дверей она услышала его голос:

— Мариам-джо.

Она вспрыгнула на ступеньку и пошла по салону к своему месту рядом с Рашидом. Краем глаза она видела, что Джалиль идет по тротуару вдоль автобуса, но даже не повернула головы.

Джалиль забарабанил в стекло. Мариам бровью не повела.

Автобус рывком тронулся с места. Некоторое время Джалиль бежал за ним. Потом его заволокло пылью.

Мариам не хотела всего этого видеть.

И не увидела.

Рашид опустил стекло и накрыл ее руку своей, большой и толстой.

— Ну вот, девочка. Вот. Вот, — все повторял он, глядя на Мариам.

Хоть бы в окно взглянул.

К дому Рашида они подошли во второй половине следующего дня.

— Вот мы и в Дих-Мазанге, — прохрипел Рашид. В одной руке он держал чемодан, а второй открывал деревянную калитку. — Это юго-западная часть города. Рядом зоопарк. И до университета недалеко.

Мариам устало кивнула. Все-таки ей приходилось напрягаться, чтобы понять кабульский выговор мужа. Да тут еще его пуштунский акцент. Ведь в его родном Кандагаре все говорят на пуштунском.

А он, казалось, без труда понимал ее гератский фарси.

Мариам быстро оглядела узкую незамощенную улицу, тесно стоявшие дома из обожженного кирпича, заборы, за которыми прятались дворы, плоские крыши. Некоторые дома были саманные и серым своим цветом напоминали горы, кольцом окружавшие город. По обеим сторонам улицы тянулись сточные канавы, полные мутной воды. Тут и там громоздились кучи мусора.

Дом Рашида был двухэтажный, выкрашенный в синий цвет. Краска давным-давно выцвела. Двор порос пожелтевшей травой. Справа к дому примыкал сарай, слева виднелся колодец с ручным насосом, высаженные в ряд чахлые деревца. Под навесом, прислоненный к стене дома, стоял велосипед.

— Твой отец сказал, ты любишь рыбалку, — сказал Рашид. — К северу от нас есть реки. Рыбы полно. Я тебя как-нибудь отвезу.

И он отомкнул входную дверь и впустил Мариам в дом.

Конечно, у Джаилия дом куда больше. Но против хижины, где они обитали с матерью, это были хоромы. На первом этаже помещались передняя, гостиная и кухня. Рашид сразу показал ей кастрюльки, сковородки, скороварку, керосинку-*иштон*. В гостиной бросился в глаза кожаный зеленый диван с тщательно зашитым разрезом на боку. Еще тут имелись стол, два плетеных кресла, два складных стула, черная чугунная печька в углу. И голые стены.

Стоя посреди гостиной, Мариам осматривалась. У себя в домике она легко могла дотянуться до потолка. По солнцу, косые лучи которого проникали в окно, можно было определить время. Мариам четко знала, на сколько приоткроется дверь, прежде чем раздастся скрип. Ей хорошо были знакомы каждый скол и каждая трещинка на тридцати половицах. Со смертью матери все, к чему она привыкла, куда-то кануло. Она в чужом

городе, и от прежней жизни ее отделяют высокие горы, глубокие ущелья и пустынные равнины. В чужом доме за темно-зелеными занавесками, где пахнет табачным дымом и полно незнакомых предметов, ей и до потолка-то не достать.

И зачем ей такой простор, если он ее душит?

Мариам пронзила острая тоска по Нане, по мулле Фатхулле, по всей своей прежней жизни.

И она заплакала.

— С чего это вдруг? — недовольно спросил Рашид, полез в карман штанов, достал носовой платок, втиснул в руку Мариам, потом прислонился к стене и закурил, не спуская с жены глаз.

Мариам прижала платок к глазам.

— Прошло?

Мариам молча кивнула.

— Точно?

— Да.

Он взял ее под руку и подвел к окну гостиной.

— Выходит на север. — Рашид постучал по стеклу скрюченным указательным пальцем. — Прямо перед нами гора Асмаи — видишь? — а слева гора Али Абад. У ее подножия находится университет. К востоку от нас — отсюда не видно — горный хребет Ширдарваза. Каждый день ровно в полдень оттуда стреляет пушка... Немедля прекрати реветь. Я терпеть не могу слез.

Мариам еще раз вытерла глаза.

— Совершенно не выношу женского плача. Ты уж извини. Рыдания выводят меня из себя.

— Хочу домой, — всхлипнула Мариам.

Рашид раздраженно вздохнул. На Мариам так и понесло табаком.

— На этот раз обижаться не буду.

Он опять взял ее под руку, и они отправились наверх.

Узкий темный коридор и две спальни. Дверь в ту, что побольше, распахнута настежь. Обстановка довольно скудная — как и во всех прочих помещениях в доме. Кровать под коричневым покрывалом, комод, платяной шкаф. На стенах ничего, только маленькое зеркало.

Рашид захлопнул дверь.

— Это — моя комната. А ты будешь жить в гостевой. Ты, надеюсь, не против? Я привык спать один.

Мариам с трудом сдержала вздох облегчения.

Ее комната оказалась невелика размером, не то что у Джаилия, из

мебели — только кровать и два старых шкафа, поменьше и побольше. Окно во двор, из-за забора виден кусок улицы.

Рашид поставил ее чемодан в угол.

Мариам присела на кровать.

— А ты и не заметила, — с упреком произнес Рашид. Чтобы пройти в дверь, ему пришлось нагнуться. — Посмотри на окно. Знаешь, как они называются? Я купил их перед отъездом в Герат.

Только сейчас Мариам заметила на подоконнике корзину с белыми туберозами.

— Тебе нравится? Ты рада?

— Да.

— Так поблагодари меня.

— Извини. Спасибо. *Ташакор*.

— Ты вся дрожишь. Ты меня боишься? Я тебе страшен?

В его словах Мариам слышалась игривость, лукавинка. Она поспешно затрясла головой.

Вот и первая ложь за время их супружества.

— Нет? Это хорошо. Для тебя хорошо. Так что теперь это — твой дом. Ты его полюбишь. Я тебе говорил, что у нас проведен свет? По ночам электричество есть всегда. Днем вот иногда отключают.

Он глубоко затаился и сделал такое движение, будто собирался выйти. Но так и не собрался.

Мариам думала, он скажет что-то еще.

Но Рашид постоял, подумал. И удалился.

Дверь хлопнула. Мариам осталась одна со своим чемоданом и со своими цветами.

Первые несколько дней Мариам почти не выходила из своей комнаты. На рассвете при звуках далекого *азана*^[10] она просыпалась, молилась и снова проскальзывала в теплую постель. Когда Рашид, умывшись, заглядывал к ней в комнату, перед тем как отправиться в мастерскую, она еще лежала. В окно она видела, как он проходит по двору, крепит к багажнику велосипеда узелок с обедом, выкатывает велосипед на улицу, садится и уезжает.

Днем Мариам редко поднималась с кровати. Когда становилось особенно тоскливо и одиноко, она спускалась в кухню, к замызганному, в жирных пятнах, столу, к пластиковым занавескам в цветочек, от которых почему-то пахло паленым, выдвигала ящики, перебирала разнокалиберные ложки и ножи, лопаточки и сита — все, что должно было теперь составлять важную часть ее повседневной жизни, но лишь напоминало о том, какая ее постигла катастрофа и насколько ей все вокруг чуждо.

Там, в хижине, ей хотелось есть в определенное время. Здесь голод приходил к ней очень редко. Ей хватало остатков риса и кусочка черствого хлеба. Из гостиной были видны крыши одноэтажных домишек на их улице. В соседних дворах женщины развешивали белье, баюкали детей, куры разгребали пыль, жевали свою вечную жвачку привязанные к деревьям коровы.

Ей вспоминались летние ночи в Гуль-Дамане, такие душные, что рубашка прилипала к телу. Они с Наной отправлялись спать на плоскую крышу своего саманного домика, и яркая луна освещала их. Ей вспоминались зимние утра, когда они в хижине читали священную книгу с муллой Фатхуллой, треск падающих с деревьев сосулек, карканье ворон с заснеженных веток.

Мариам слонялась по дому: из кухни в гостиную, потом вверх к себе, обратно вниз по лестнице — и так много раз. Утомившись, она опускалась на колени, а помолившись, падала на кровать и давала волю печали и скуке.

На закате Мариам делалось особенно плохо. Зубы у нее начинали выбивать дробь при одной мысли о том, что сегодня вечером Рашиду вдруг взбредет наконец в голову взяться за исполнение супружеского долга. Вся дрожа, она лежала в постели и ждала, когда муж отужинает.

После ужина Рашид обязательно к ней заглядывал.

— Как, ты уже спишь? Не может быть! Еще и семи нет. Проснулась?

Ну-ка, отвечай мне.

Он не успокаивался, пока Мариам не отвечала из тьмы спальни:

— Я здесь.

В дверном проеме виднелись очертания его фигуры, большое тело, длинные ноги, крючковатый нос. Неизменная сигарета в зубах то разгоралась, то гасла. Он рассказывал ей, как прошел день. Замминистра иностранных дел оплатил пару мокасин — он заказывает обувь только у Рашида. Польский дипломат с женой заказали сандалии. Рашид расписывал Мариам суеверия, связанные с обувью: нельзя класть ее на кровать — накличешь смерть, не годится обуваться, начиная с левой ноги, — навлечешь ссору.

— Ну разве что сделал это в пятницу и не нарочно, — усмехался Рашид. — И еще плохая примета связывать шнурки вместе и вешать ботинки на гвоздь.

Сам Рашид во все эти плохие приметы не верил — бабьи бредни, больше ничего.

Еще Рашид пересказывал жене разные новости. Вот, например, американский президент Ричард Никсон подал в отставку в связи со скандалом.

Мариам помалкивала — она понятия не имела, кто такой Никсон и что за скандал заставил его уйти с поста, — и не могла дождаться, когда муж закончит болтать, затушит сигарету и удалится. Стальные пальцы, схватившие сердце, разжимались, только когда внизу хлопала дверь его комнаты.

Но однажды вечером он погасил сигарету — и не ушел.

— Ты когда-нибудь разберешь свой чемодан? Пора бы уже перестать тосковать, привыкнуть. Целая неделя прошла, а ты... С завтрашнего дня води себя как жена. *Фамиди*? Поняла?

Зубы у Мариам застучали.

— Отвечай же!

— Да, поняла.

— Вот и чудесно. Что ты себе вообразила? Что у меня здесь гостиница? Что я соержу постоялый двор? Господи... что я говорил про слезы? Мариам! Ты слышала, что я сказал насчет слез?

На следующее утро, как только Рашид ушел на работу, Мариам распаковала свои вещи, повесила их в шкаф, принесла из колодца ведро воды, вымыла окна своей комнаты и гостиной на первом этаже, помыла пол, смахнула из углов паутину и проветрила дом.

Потом она замочила в горшке чечевицу, порезала морковь и картошку и тоже погрузила в воду. В уголке кухонного шкафа за грязными банками из-под специй нашлась мука, и Мариам замесила тесто, тщательно размяла, как учила ее Нана, потом завернула в мокрую тряпочку, набросила на голову хиджаб и отправилась в пекарню.

Рашид объяснил ей, где находится пекарня для жителей — пройти по улице, свернуть налево и сразу направо. Но его объяснения Мариам негодились — в нужное ей место направлялась целая толпа женщин и детей, и Мариам просто последовала за ними. Рубашки на мальчишках были латанные-перелатанные, штаны слишком маленькие или чересчур большие, ремешки на сандалиях истрепанные или вовсе оборванные. Некоторые палками катили перед собой старые ржавые обручи.

Их матери шли кучками по три-четыре человека (кое-кто в бурках^[11], кое-кто — нет), весело переговаривались, громко смеялись. Хотя, казалось, радоваться было нечему — с уст у женщин не сходили больные дети и ленивые, нерадивые мужья.

— Если бы еда сама себя готовила!

— Господи ты боже мой, ни минуты покоя!

— А он мне тогда и говорит: клянусь, это правда...

Почти одни и те же слова повторялись на разные лады на пути к пекарне и в очереди к тандыру. У кого-то муж играл в азартные игры. У кого-то всем заправляла свекровь, а жене муж не давал ни рупии. Мариам только удивлялась про себя: как это получилось, что всем до единой достались такие ледащие мужья? Или это просто бабьи разговоры, своеобразный незнакомый ей ежедневный ритуал вроде замачивания риса или замешивания теста? И скоро она сама точно так же даст волю язычку?

Стоя в очереди, Мариам чувствовала на себе любопытные взгляды, слышала шепоток за спиной. У нее вспотели ладони — вдруг все вокруг уже знают, что она харам, позор для отца и всей семьи, предавшая свою мать и обесчестившая себя?

Уголком хиджаба Мариам вытерла капельки с верхней губы и постаралась взять себя в руки.

Вроде получилось.

И тут кто-то хлопнул ее сзади по плечу.

Мариам обернулась. Рядом с ней стояла толстенькая светлая женщина с темными, коротко стриженными кудряшками и круглым веселым лицом. На голове у нее тоже был хиджаб. Рот у женщины был куда более пухлый, чем у Мариам, на подбородке у чуть отвисшей нижней губы темнела большая родинка, зеленоватые глаза искрились дружелюбием.

— Ты ведь новая жена Рашид-джана? — широко улыбнулась круглолицая. — Из Герата приехала? Какая ты молоденькая! Тебя зовут Мариам-джан, да? А я Фариба, живу за пять домов от вас на той же улице, у нас калитка — зеленая. А это мой сын Ноор.

У мальчика было живое веселое лицо и черные вьющиеся волосы, в точности как у матери.

— Салам, Хала-джан^[12].

— Ноору десять лет. Его старшего брата зовут Ахмад.

— Ему тринадцать, — сообщил Ноор.

— А еще одному мальчику — сорок. — Фариба засмеялась. — Мужа моего зовут Хаким. Он учитель в Дих-Мазанге. Загляни к нам как-нибудь, выпьем по чашечке чаю...

Словно по команде женщины обступили Мариам.

— Значит, ты — юная жена Рашид-джана...

— Как тебе Кабул?

— А я была в Герате. У меня там двоюродный брат.

— Кого ты хочешь первенцем — мальчика или девочку?

— Какие там минареты! Какая красота! Герат — замечательный город.

— Лучше мальчика, Мариам-джан, он сохранит имя рода...

— Ба! Мальчишка женится — и был таков. А девочка останется с тобой, будет опорой в старости...

— Мы слышали о вашем приезде.

— Рожай двойню! Мальчика и девочку! И все будут довольны.

Мариам попятилась. Дыхание у нее прерывалось, в ушах звенело, чужие лица расплывались перед глазами. Еще несколько шагов назад... Только отступить некуда, она в кольце.

Мариам умоляюще посмотрела на Фарибу. Та все поняла.

— Вот ведь набросились! Дайте ей пройти! Вы ее напугали!

Крепко прижав к груди шматок теста, Мариам двинулась прямо на обступившую ее толпу.

— Ты куда, хамшира!

Как только вокруг нее стало свободнее, Мариам сорвалась с места и побежала по улице. Только не туда, куда надо, — она поняла это на первом же перекрестке. Мариам повернулась и, низко опустив голову, бросилась назад. И — надо же! — на виду у всех споткнулась, упала и расквасила колено.

— Ты не ушиблась, хамшира?

— Да у тебя кровь!

Мариам вскочила и, прихрамывая, побежала дальше.

Поворот.
Еще поворот.
Вот она, их улица. Только где дом Рашида?
Мариам охватило отчаяние, на глаза навернулись слезы.
Попробовать сунуться наугад?
Эта калитка заперта. Эта открыта, но двор явно чужой. А здесь собака и куры, а у них нет никаких животных.
Вот вернется муж с работы, а жена собственный дом не может отыскать!
Мариам заплакала, забормотала молитвы.
Это — чужой дом. И это — чужой. А вот...
Сарай. Навес. Колодец.
Нашла!
Слава Аллаху!
Мариам захлопнула за собой калитку, повернула щеколду и, тут же у стены, осела на землю.
Никогда еще ей не было так одиноко.

В тот вечер Рашид пришел домой с каким-то свертком в руках. На чистые окна и вымытый пол он не обратил никакого внимания — Мариам даже расстроилась. А вот то, что обед его уже ждал, явно пришлось ему по душе.

— Я приготовила *даал*^[13], — похвасталась Мариам.

— Отлично. Я голоден.

Рашид умылся — Мариам полила из кувшина ему на руки, — а пока он вытирался, дымящаяся чашка *даала* и тарелка рассыпчатого белого риса уже стояли на чистой скатерти, расстеленной на полу в гостиной. Впервые Мариам приготовила мужу поесть — только вот была сама не своя, пока готовила, вся тряслась мелкой дрожью, так подействовал на нее случай у пекарни, и вполне могла переложить в кушанье имбиря или куркумы.

Рашид погрузил ложку в золотистую чечевицу. Мариам затаила дыхание.

Что, если ему не понравится и он со злостью оттолкнет тарелку?

— Горячо, — пролепетала она. — Осторожнее.

Рашид вытянул губы трубочкой и подул на ложку, потом с опаской попробовал.

— Вкусно. Немного недосолено, ну да ничего. Просто отлично.

Мариам захлестнула волна самодовольной гордости. У нее получилось вкусно. *Просто отлично*, сказал он. Мариам сама удивилась, какую

радость доставила ей похвала. На душе сразу стало легче.

— Завтра пятница, — сказал Рашид. — Могу показать тебе город. Что скажешь?

— Ты про Кабул?

— Нет. Про Калькутту.

Мариам недоуменно заморгала.

— Шучу. Конечно, про Кабул. Про что же еще? — Он взял в руки сверток. — Но сперва мне надо поговорить с тобой.

И Рашид достал небесно-голубую бурку.

— У меня есть заказчики, мужчины. Они заходят ко мне в лавку вместе с женами. Их женщины ходят с открытыми лицами, говорят со мной, глядят мне в глаза без капли стыда. У них намазаны губы и подведены глаза, они носят юбки выше колен. Порой приходится снимать с них мерку, и они спокойно позволяют мне касаться своих ног. А мужа — ничего, стоят рядом и смотрят, как посторонний мужчина гладит жену по голым ногам. Думают, они очень современные, очень образованные и умные, и не видят, как своим поведением выставляют на поругание свои *нанг* и *намус* — честь и гордость.

Рашид осуждающе покачал головой.

— Обычно это люди из богатых районов Кабула. Мы завтра с тобой там будем, сама увидишь. Но такие слюнтяи живут и по соседству с нами. На нашей улице. Жена учителя Хакима Фариба шляется по городу в одном платке на голове. Противно видеть, честное слово, как жены ни во что не ставят своих мужей.

Он сурово посмотрел на Мариам.

— Но я — не из той породы. У меня на родине один косой взгляд, одно неправильное слово — и кровь пролилась. В местах, откуда я родом, смотреть на лицо женщины вправе только муж. Помни об этом. Ты поняла?

Мариам кивнула и взяла из рук у мужа бурку.

Вся радость, что он похвалил ее стряпню, куда-то улетучилась. Сделалось зябко. Воля мужчины представилась ей чем-то каменным, непоколебимым, вот словно горный хребет Сафедкох, заслоняющий полнеба.

— Значит, с этим все ясно. А теперь положи-ка мне добавки.

Мариам надевала бурку впервые в жизни. Хорошо, что ей помогал Рашид. Головной убор оказался тяжелым и тесным, и было ужасно непривычно смотреть на мир через сетку. Мариам попробовала пройтись в новом наряде по комнате. Оказалось, она все время наступает на длинный подол и спотыкается, а накидка лезет в рот.

— Ничего, привыкнешь со временем, — успокоил муж. — Еще успеешь полюбить этот наряд.

До парка Шаринау (так назвал это место Рашид) они добрались на автобусе. Дети качались на качелях, перебрасывали мячик через старенькую сетку, натянутую между деревьями, запускали воздушных змеев. Мариам мелко семенила рядом с мужем, то и дело спотыкаясь. Обедать они отправились в кебабную, расположенную рядом с мечетью Хаджи Якуба. Пол в заведении был липкий, пахло дымом и сырым мясом, громко играла музыка. Худенькие мальчишки-повара ловко вертели шампуры одной рукой и били мух с комарами другой. Мариам поначалу показалось странным сидеть в комнате, битком набитой чужими, незнакомыми людьми. А чтобы положить кусок в рот, приходилось приподнимать край накидки, что тоже было непривычно. Робость, как тогда, у пекарни, время от времени шевелилась где-то внутри, но рядом был Рашид, и вскоре музыка, дым и даже толпа уже не раздражали. А в бурке и в самом деле было удобно: она укрывала тебя от посторонних любопытных глаз — ты все видишь, а тебя не видно. И никто уже с ходу не определит наметанным взглядом, какие у тебя в душе скрыты позорные тайны.

Когда они гуляли по улицам, Рашид называл жене все мало-мальски известные здания, попадавшиеся им на пути. Вот это — американское посольство, а это — министерство иностранных дел. Марки автомобилей он тоже называл. Это — «Волга», выпускается в Советском Союзе. «Шевроле» производится в США. «Опель» — немецкая машина.

— Какой автомобиль тебе больше понравился? — спросил он.

Помедлив, Мариам указала на «Волгу». Рашид засмеялся.

Конечно, Кабул оказался не то что Герат, точнее, тот кусок Герата, который Мариам успела увидеть. Деревьев здесь было меньше, как и повозок, запряженных лошадьми, зато автомобилей — больше. Здания были выше, на перекрестках стояли светофоры, а улицы были по большей

части замощены. И говор казался странным. «Джан» вместо «джо» (дорогой, дорогая), «хамшира» вместо «хемшири» (сестра).

Рашид купил у уличного торговца мороженое. Ничего вкуснее Мариам в жизни не ела и в мгновение ока уплела весь рожок — от тертых фисташек, которыми лакомство было присыпано сверху, до рисовых шариков, выстилающих дно.

Они шагали по *Коче-Морга*, Куриной улице, узкому, запруженному торговцами и покупателями проезду. По словам Рашида, это была чуть ли не самая богатая часть Кабула.

— Здесь живут иностранные дипломаты, состоятельные купцы, члены королевской семьи. Не нам с тобой чета.

— А где же куры? — спросила Мариам.

— Вот уж этого добра на Куриной улице днем с огнем не сыщешь, — засмеялся Рашид.

Со всех сторон им наперебой предлагали каракулевые шапки, разноцветные чапаны, ковры. В одной лавке Рашида заинтересовал серебряный гравированный кинжал, торговец рядом расхваливал старое ружье — как он уверял, реликвию времен первой войны с Британией.

— Ну да, конечно. Тогда я — Моше Даян, — пробурчал про себя Рашид, чуть заметно улыбаясь Мариам, ей одной, и никому больше. Только жены могут постичь смысл такой тайной усмешки.

Мелькали лавки ремесленников, лотки со сладостями, с цветами, мужские и женские портновские мастерские. За кружевными занавесками юные девушки пришивали пуговицы, разлаживали утюгами воротнички. Рашид то и дело приветствовал знакомых лавочников, порой на фарси, порой на пушту. Пока мужчины лобызались и жали друг другу руки, Мариам скромно стояла в сторонке. Рашид ни разу не подозвал ее к себе и не представил друзьям.

У лавки с вышивками Рашид велел жене обождать.

— Владелец — мой знакомый. Я через минуту вернусь, только передам ему свой *салам*.

Мариам осталась на улице. Вокруг гомонила толпа, вопили лоточники, надрывались клаксоны автомобилей. Только ослики и не думали уступать машинам дорогу. Вот какой-то торговец утомился, закурил. Затяжка-другая — и он снова выюном вьется перед покупателями, демонстрируя ткани или меха.

И женщины, что за женщины! Мариам глаз от них не могла оторвать. Особая порода, не то что в их бедном районе. «Современные», вот как Рашид назвал таких дам. А современные афганцы не возражают, чтобы их

жены толкались среди посторонних, с накрашенными лицами и непокрытыми головами (порой даже без спутника), и заговаривали с кем ни попадя. Их розовощекие дети (обувь начищена до блеска, на руках сверкают часы на кожаном ремешке) разъезжали на велосипедах с золотыми спицами. Такое колесо и в голову не придет пустить на обрuch и катать по улице палкой.

С плеч у здешних женщин свисали сумочки, ноги их обтягивали короткие юбки (одна накрашенная так даже курила, сидя за рулем машины), ногти их покрывал лак, губы их были красны, как тюльпаны. На своих высоких каблуках, в своих темных очках они мчались куда-то, будто по срочному делу, и аромат духов шлейфом вился за ними. Все они наверняка закончили университет, подумалось Мариам, и работают в конторах в роскошных зданиях, каждая за своим отдельным столом, и печатают на машинке, и ведут по телефону важные переговоры с высокопоставленными людьми. Жизнь их окутана благоухающей тайной. Куда Мариам до них, с ее-то одиночеством, невежеством и заурядной внешностью!

Рашид хлопнул ее по плечу и сунул что-то в руки:

— Держи.

Это был темно-красный шелковый платок, вышитый по краям золотой нитью. Бахрома его была отделана стеклярусом.

— Нравится?

Мариам подняла голову. Рашид заморгал и отвел глаза. Это ее тронуло.

Джалиль делал подарки добродушно, весело, широким жестом, как бы не ожидая особенной благодарности. Нана была права насчет его подношений — им недоставало искренности. Своими дарами Джалиль как бы старался замолить собственные грехи, успокоить совесть. И это чувствовалось.

А вот платок был подарен от всей души.

— Какой красивый, — сказала Мариам.

В тот вечер Рашид опять наведлся к ней в комнату, но курить, стоя в дверях, не стал. Два шага — и он сел к ней на кровати, только пружины заскрипели.

Помедлив, он протянул руку, своими толстыми шершавыми пальцами погладил ее по лицу, по шее. Затем рука скользнула ниже, ухватилась за ворот сорочки.

— Не надо, — прошептала Мариам.

Яркая луна высвечивала его профиль, массивные плечи и широкую

грудь, поросшую седыми волосами.

Рашид сильно сжал ей правую грудь. Послышалось сопение. И вот он уже под одеялом рядом с ней. Пальцы его задвигались — он развязал резинку на своих штанах и с коротким всхрапом взгромоздился на жену. Всхлипнув, Мариам закрыла глаза и стиснула зубы.

Боль была резкой и внезапной. Мариам впилась зубами себе в руку, другой рукой обняла Рашида и прижала к себе. Задыхаясь, он уткнулся лицом в подушку. Чувствуя у себя на плече его горячее дыхание, она устремила взгляд в потолок. Пахло табаком, луком и жареной бараниной. Его бритая щека царапала ей лицо.

Все закончилось быстро.

Лежа рядом с ней на спине, он поднес руку к лицу. В темноте сверкнули светящиеся стрелки его часов.

Супруги не смотрели друг на друга.

— В этом нет ничего постыдного, — невнятно пробормотал Рашид. — Мы ведь муж и жена. Сам Пророк со своими женами занимался тем же самым. Тут нечего стыдиться.

Немного погодя он поднялся, набросил на нее одеяло и удалился к себе.

Мариам осталась наедине сама с собой, с ледяными звездами на небе, с тучкой, закрывшей лик луны словно свадебная вуаль.

И с утихающей болью.

В том году — а шел 1974-й — Рамадан наступил осенью. Стоило тоненькому серпу луны показаться на небе, как город стал совсем другой, сменил обличье, ритм, настроение. А то ведь Кабул совсем погрузился в сонную тишину, даже бывшее оживление на улицах куда-то кануло. Лавки опустели, рестораны погасили огни, двери их закрылись. Никто не курит на людях, не пьет чай у открытого окошка. И вот зашло солнце, выстрелила пушка со склона горы Ширдарваза... Наступил *ифтар*^[14]. Можно пировать. Впервые за пятнадцать лет жизни Мариам почувствовала, что празднует не одна.

Рашид почти не постился — парочку дней, не больше, — и в такие вечера приходил домой в дурном настроении, говорил отрывисто, злился по пустякам. Мариам как-то чуть задержалась с обедом, глядь — а Рашид уже ест хлеб с редиской и не обращает ровно никакого внимания на только что принесенные женой рис, баранину и курму из бамии. Жует и жует, только желваки бегают, и сердитый такой, жену словно и не видит.

Мариам вздохнула с облегчением, когда Рамадан закончился.

У себя в саманном домике, в первый из трех дней Эид-уль-Фитра, праздника чревоугодия, завершающего Рамадан, они принимали Джалиля. Он являлся в костюме и в галстук, обязательно с подарками. Как-то он вручил Мариам шерстяной платок. Посидит с ними немножко за чаем и с извинениями удалится.

— Пошел праздновать Эид со своей настоящей семьей, — прошипит, бывало, Нана, когда Джалиль помашет им на прощанье рукой с другого берега речки.

Заходил к ним и мулла Фатхулла, приносил Мариам шоколадные конфеты, завернутые в фольгу, крашеные яйца, печенье. Попрощавшись со стариком, Мариам забиралась повыше на дерево и съедала подарки, а блестящие обертки кидала вниз, пока они лепестками сказочных цветов не устилали землю у корней. Когда конфеты кончались, Мариам принималась за печенье, потом рисовала карандашом рожицы на крашеных яйцах. Только все это не очень ее радовало. Веселый праздник, когда люди надевают свои лучшие наряды и идут в гости, даже внушал девочке страх. Она представляла себе Герат, радостную толпу, сердечные поздравления, нежные объятия, потом себя, одинокую и заброшенную, и тоскливая печаль зыбким саваном окутывала ее. На душе становилось легче, только когда

праздники оставались позади.

В тот год Мариам впервые увидела Эид своих детских фантазий.

Вместе с Рашидом они вышли на улицу и попали в оживленную толпу. Хотя погода стояла холодная, казалось, все население города высыпало из домов и двинулось в гости к родственникам и знакомым. Среди прочих Мариам заметила Фарибу в белом платке, вместе с ней был ее сын Ноор в костюме и застенчивого вида тощий человечек в очках — муж. Да и старший сын был рядом. Как, она сказала, его зовут, Ахмад? В глубоко посаженных глазах Ахмада таилась печаль, со своими степенными неторопливыми движениями он казался рано повзрослевшим, не то что полный мальчишеского задора брат. На шее у Ахмада блестел кулон с выгравированным именем Аллаха.

Фариба помахала Мариам рукой и крикнула:

— *Эид мубарак*^[15]!

Узнала, значит, несмотря на бурку. Впрочем, с кем мог выйти на люди Рашид, кроме как с женой?

Мариам чуть заметно кивнула ей в ответ.

— Ты знаешь эту женщину? — спросил Рашид. — Она — жена учителя.

— Нет, мы с ней не знакомы, — ответила Мариам.

— Держись от нее подальше. Каждой бочке затычка. И сплетница, каких поискать. А муж воображает о себе. Как же, образованный. А сам — просто крыса. Ты погляди на него. Вылитая крыса.

Вскоре они дошли до Шаринау. Принаряженные дети носились вокруг, радостно визжали, хвастались подарками. Некоторые женщины несли в руках целые подносы сладостей. Над витринами лавок мигали праздничные фонарики, из громкоговорителей неслась музыка. «*Эид мубарак*», — звучало со всех сторон. Совершенно незнакомые люди поздравляли друг друга.

И тут небо осветилось зелеными, красными и желтыми вспышками. Мариам вспомнилось, как они с муллой Фатхуллой сидели неподалеку от их хижины и смотрели на фейерверк в небе над Гератом. Ей вдруг ужасно захотелось повидать доброго старика. И еще больше — Нану. Ах, если бы Нана была сейчас вместе с ними! Пусть увидела бы, что красота и радость иногда доступны для всех. Даже для отверженных, вроде них с матерью.

И к ним в дом на праздник явились гости, друзья Рашида, одни мужчины. Когда в дверь постучали, Мариам уже знала: ей следует отправиться наверх к себе и плотно закрыть за собою дверь. Так что

мужчины во главе с Рашидом пили внизу чай, курили, разговаривали, а Мариам сидела одна-одинешенька. Рашид распорядился строго-настрого: пока гости не ушли, из своей комнаты ни ногой.

Мариам не возражала. Честно говоря, она была даже польщена. Ведь оказалось, что их совместная жизнь для него вроде святыни. Муж готов самоотверженно защищать ее гордость, ее *намус*. Вот как высоко он ее ценит.

На третий день Эида Рашид сам отправился в гости к друзьям. У Мариам расстроился желудок и, промучившись всю ночь, она заварила себе зеленого чаю с дробленным кардамоном. Гости оставили в гостиной ужасный беспорядок: кучи шелухи от тыквенных семечек, перевернутые чашки, грязные тарелки. Мариам только диву давалась, прибираясь, какая ужасная лень вдруг может напасть на мужчин.

У нее и в мыслях не было заходить в спальню к Рашиду. Уборка сама собой привела ее в переднюю, потом к лестнице и, наконец, к его двери.

И вот Мариам уже сидит на его кровати (впервые в жизни она оказалась в комнате мужа), обмирая, словно неопытный воришка.

Ее глазам предстали темно-зеленые портьеры, начищенные до блеска ботинки, аккуратно выставленные у стены, серый шкаф с облупившейся на дверце краской. На комоде у кровати лежала початая пачка сигарет. Мариам сунула одну себе в рот, подошла к зеркалу, выдохнула воображаемый дым, стряхнула воображаемый пепел и убрала сигарету обратно в пачку. Никогда ей не научиться курить с тем изяществом, с каким курят кабульские гранд-дамы. Просто посмешище какое-то получается.

Зная, что поступает дурно, Мариам выдвинула ящик комода.

Первое, что бросилось ей в глаза, был черный револьвер с деревянной рукояткой и коротким стволом. Прежде чем взять его в руки, Мариам постаралась запомнить, как он лежал. Револьвер оказался тяжелее, чем она думала. Рукоятка удобно легла ей в ладонь, ствол был неприятно холодный. Мариам сделалось не по себе при мысли о том, что у них в доме припрятано оружие убийства. Хотя с другой стороны, Рашид заботится об их безопасности. О ее безопасности.

Под револьвером обнаружилось несколько журналов с обтрепанными уголками. Мариам раскрыла тот, что был сверху. Внутри у нее словно что-то оборвалось, а рот сам собой распахнулся.

Перед ней замелькали женщины, красивые женщины, на которых не было ни юбок, ни штанов, ни чулок, ни белья. Они лежали на смятых простынях и, прищурившись, нахально смотрели прямо Мариам в глаза. Ноги у большинства из них были с бесстыжей откровенностью

расставлены, а некоторые стояли на коленях спиной к ней (будто — Господи, прости — собирались молиться) и победоносно-утомленно косились на нее через плечо.

У Мариам закружилась голова, и она уронила журнал обратно в ящик.

Кто они такие, эти женщины? Почему они позволяют себя фотографировать в таких позах? Мариам чуть не стошнило от отвращения. Так вот чем занимался муж, когда оставлял ее одну! Наверное, она его разочаровала. Тогда чего стоят все его разговоры про гордость и достоинство и про голые ноги клиенток, с которых он снимает мерку! *В местах, откуда я родом, смотреть на лицо женщины вправе только муж!* Интересно, у женщин из этих журналов мужа есть? У некоторых уж точно есть. И братья тоже. Что ж тогда Рашид так настаивает, чтобы она куталась? А смотреть на чьих-то жен и сестер, да еще в таком виде, ему, значит, можно?

В полном смущении Мариам упала на кровать и закрыла лицо руками, глубоко и часто дыша.

Постепенно дыхание у нее выровнялось, и она немного успокоилась.

Объяснение не замедлило явиться.

В конце концов, он — мужчина и, пока она к нему не переехала, много лет жил один. У мужчины свои потребности. Она вон столько месяцев замужем, а соития по-прежнему не несут ей ничего, кроме боли. А в нем kloчочет страсть, доходящая до жестокости. Как он на нее кидается, прижимает к ложу, стискивает груди, как яростно двигает бедрами! Как он обходился без женщины? Есть ли у нее право осуждать мужа за то, что Господь создал его таким?

Мариам знала, что никогда не заговорит об этом с мужем. О таком нельзя говорить! Но сможет ли она его простить? Взять Джалиля (других мужчин она не знала), супруга трех жен и отца девятерых детей, вступившего в незаконную связь с Наной. Чей поступок хуже? И разве вправе она судить других, она, деревенщина, харами?

Мариам выдвинула нижний ящик комода.

Здесь лежала черно-белая фотография мальчика в полосатой рубашке и галстуке. Его звали Юнус, она знала. На фото ему было годика четыре или пять. Узкий нос, темные волосы, черные, немного запавшие глаза, — красивый мальчик. Похоже, когда «вылетала птичка», что-то на мгновение отвлекло его внимание.

Еще один снимок, тоже черно-белый, на нем мужчина и женщина. Она сидела, он стоял у нее за спиной. Рашид здесь был молодой, стройный, без седины в волосах, жена — во всем блеске красоты. Конечно, не то что

женщины из журналов, но куда красивее Мариам. Нежная линия подбородка, длинные черные волосы, разделенные посередине на пробор. Мариам представила себе свое длинное лицо и тонкие губы, и ее кольнула зависть.

Что-то в этом фото было странное. Положив руки жене на плечи, Рашид скупно улыбался. А у той лицо было сумрачное, угрюмое, и все ее тело подалось вперед, будто стряхивая ладони мужа.

Насмотревшись, Мариам аккуратно уложила снимки обратно в ящик, как были.

Зря она к нему зашла.

Чего ради она рылась в его вещах? Разве она узнала о нем что-нибудь важное? Ну да, у него есть револьвер и мужские потребности. И не надо было так долго смотреть на его фото с женой. Слишком уж многое оно ей сказало.

Мариам стало жалко Рашида. Ему тоже нелегко жилось, и судьба была к нему немилостива. Она подумала о мальчике Юнусе, его сыне. Он бегал по этой лестнице, лепил в этом дворе снеговиков... Озеро отняло его у Рашида, пожрало мальчика, подобно киту из Корана, поглотившему его тезку-пророка. У Мариам заболела душа, стоило ей представить себе, как беспомощный Рашид в ужасе бегал по берегу и умолял озеро вернуть ему сына, и она впервые почувствовала, что все-таки муж ей не чужой.

Ничего, стерпится — слюбится.

Что-то странное приключилось с Мариам, когда они возвращались на автобусе от доктора. Куда бы она ни глянула, краски поражали своей яркостью. Унылые бетонные коробки, лавчонки под железными навесами, грязная вода в канавах — все переливалось у нее перед глазами радужными цветами.

Рашид барабанил пальцами по спинке сиденья и мурлыкал про себя песенку. Всякий раз, когда автобус подпрыгивал на ухабе, рука его тянулась к животу жены, словно желая предохранить от толчков.

— Как тебе Залмай? — спросил он. — Отличное пуштунское имя.

— А если родится девочка?

— Будет мальчик. Да. Я знаю.

Пассажиры в автобусе вдруг загомонили и прильнули к окнам.

— Смотри. — Рашид постучал по стеклу косточкой пальца и улыбнулся. — Что делается.

Люди на улицах замерли, задрав головы. Даже водители на перекрестках высовывались наружу и смотрели вверх, радуясь первому снегопаду, крупным мягким хлопьям, посыпавшимся с неба.

Это все свежесть, белизна, невинность, подумала Мариам. Потом все перемешается с грязью, подтает, потеряет очарование. А сейчас, в самом начале зимы, все еще девственно чистое.

— Если будет девочка, — пробурчал Рашид, — хотя будет мальчик, называй ее как тебе угодно.

На следующее утро Мариам разбудили визг пилы и стук молотка. Она накинула на плечи платок и спустилась во двор. Снег уже не валил, как вчера. Легкие снежинки сверкали в воздухе и чуть покусывали за щеки. Пахло угольной гарью. Кабул, накрытый белым одеялом, притих, пуская в небо тугие завитки дыма.

Рашид под навесом, гвозди во рту, сколачивал вместе деревянные планки.

— А я-то хотел сделать тебе сюрприз. Мальцу нужна кроватка. Пока не готово, не смотри.

Очень уж ты торопишься, подумала Мариам. Откуда ты знаешь, что будет сын? А если что случится? Вчера Рашид принес крошечную дубленочку сшитыми красным и желтым шелком рукавами. Для мальчика.

Ну разве так можно?

Рашид поднял с земли длинную узкую рейку и принялся пилить пополам.

— Лестница — вот что меня беспокоит. Когда он еще вырастет, чтобы спокойно взбираться по ступенькам. Надо будет что-то придумать. И еще печка — как бы не обжегся. И ножи с вилками не забыть попрятать. А то за мальчишками не уследишь — такие безобразники.

Мариам поплотнее закуталась в платок.

Миновал день — и Рашид сказал, что хочет пригласить на торжественный обед друзей. С утра Мариам перебрала чечевицу, замочила рис, нарезала баклажаны, отварила лук-порей и говядину для *ошака*^[16]. Потом она подмела пол, выколотила портьеры, проветрила дом. Опять пошел густой снег. Мариам разложила тюфяки и подушки вдоль стены гостиной, расставила по столу чашки со сладостями и жареным миндалем.

Начало смеркаться. Еще до прихода первого гостя Мариам удалилась к себе и легла. Снизу доносились громкие голоса и смех, а она все поглаживала себя по животу — никак не могла удержаться — и думала о том, как в ней растет новая жизнь. На глаза у нее наворачивались слезы.

Мариам думала о долгой дороге (целых шестьсот пятьдесят километров), отделявшей их от Герата, лежащего на западе, почти на самой границе с Пакистаном. Они с Рашидом проехали через большие и маленькие города, через деревушки, через горные перевалы и выжженные солнцем пустыни. И вот теперь у нее есть свой дом и свой муж. Но путь ее еще не окончен, ее ждет материнство. Как сладко думать о ребенке. Это ее малыш, их малыш. Перед ее любовью к нему все прочее в ее жизни кажется таким маленьким.

И ей не придется больше собирать камушки!

Внизу кто-то хлопнул в барабан, откашлялся. Понеслись пронизанные ритмами песни.

Живот у Мариам был такой мягкий и гладкий. «Он пока всего-то с ноготок», — сказал доктор.

«Я буду матерью, — радовалась она. — Я буду матерью», — повторяла она снова и снова, смакуя каждое слово. И радость смыла все горести и печали. Сам Господь привел ее сюда. «Аллаху принадлежит и восток и запад; и куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха. Поистине, Аллах объемлющ, ведущий!»^[17] — частенько повторял мулла Фатхулла слова Корана.

Мариам расстелила молитвенный коврик и совершила намаз. Закончив молиться, она попросила Аллаха не оставлять ее своей милостью.

Это Рашиду пришло в голову отправить жену в *хамам* — баню. Раньше Мариам никогда не была в бане, но, по словам Рашида, нет ничего восхитительнее, чем выйти из жары на свежий воздух и почувствовать, как твоя кожа дышит.

В женской бане смутные силуэты были еле видны в облаках пара. То чье-то бедро вынырнет, то плечо. Визг девчонок, ворчание старух, плеск воды будто вязли в четырех стенах. Мариам села в дальнем углу и начала тереть пятки пемзой, довольная, что пар скрывает ее от посторонних глаз.

Показалась кровь.

Мариам громко закричала.

Шлепанье босых ног. Проступающие из тумана женские лица. Цоканье языков.

Поздним вечером Фариба рассказывала в постели мужу, как жена Рашида корчилась в луже крови, поджав колени.

— Представляешь, Хаким, у нее даже зубы стучали, так ее трясло. И она все спрашивала меня тонким голоском: «Так бывает, правда? Ведь ничего страшного не случилось? Да?»

Еще одна поездка на автобусе вместе с Рашидом. Опять валит снег. Глубокие сугробы лежат на тротуарах, снег покрывает крыши, ключьями свисает с веток. Лавочники расчищают подходы к своим лабазам. Мальчишки гоняются за черной собакой, машут руками проезжающему автобусу. Мариам смотрит на мужа. Глаза у него закрыты, но на этот раз он ничего про себя не мурлычет. Мариам тоже закрывает глаза. Ей хочется поскорее снять ледяные носки, содрать с себя колющий влажный свитер. Ей хочется побыстрее доехать.

Дома она ложится на диван, и Рашид накрывает ее одеялом. Движения его холодны и небрежны.

— Ну что это за ответ, — никак не может успокоиться он. — Я ведь не к мулле пришел, а к доктору. И заплатил, что положено. А он мне: «Господне попущение».

— Ты бы отдохнул. — Мариам свернулась клубком под одеялом.

— Господне попущение! — кипятится Рашид.

И уходит к себе. И курит до самой ночи.

Мариам лежит, поджав колени, глядя на крутящиеся за окном снежинки. Нана как-то сказала ей, что каждая снежинка — это горестный

вздых женщины. Вздохи поднимаются к небу, собираются в облака и тихо падают обратно на землю.

«Напоминанием о женских страданиях, — говорила Нана. — Вот так, безропотно, мы переносим все тяготы».

Теперь стоило Мариам подумать о стоящей в сарае незаконченной колыбельке или о дубленочке, что так и осталась висеть у Рашида в шкафу, как неизбывное горе охватывало ее, она слышала голодное гуканье ребеночка, его невнятное лепетание... Вот она дает младенцу грудь, он соспит и чмокает... Скорбь волной захлестывала ее, сбивала с ног. Она и не догадывалась, что можно так тосковать по нерожденному, которого ей и увидеть-то не довелось.

Потом кручина понемножку отступила. Бывали дни, когда мысли о прошлом уже не причиняли такой боли. А то ведь порой она еле поднималась с кровати, чтобы помолиться, постирать, приготовить Рашиду поесть.

Мариам страшилась выходить из дома. Ее снедала зависть к соседкам, родившим столько детей. Ведь у некоторых было по семь-восемь чад. И как женщины не понимали своего счастья, не постигали, как милостив к ним Господь, давший выносить и выкормить кроху! А вот ее малютку смыла грязная мыльная вода.

Мариам из себя выходила, заслышав жалобы на сыновей-хулиганов и бездельниц дочерей.

Внутренний голос пытался ее успокоить, утешить: «У тебя будут еще дети, *Иншалла* ^[18]. Ты молодая. У тебя все впереди».

Но у горя Мариам были четкие очертания. Она смертельно тосковала по *этой* малютке, по вмиг ушедшему короткому счастью.

Порой ей казалось, что она не заслужила милости Господа, что это ей наказание за вину перед Наной. Ведь Мариам будто сама затянула петлю на шее матери. Вероломная дочь не может стать матерью, такова Божья кара. По ночам ей снились кошмары. Мамин джинн проскальзывал к Мариам в комнату и когтями вырывал из утробы ребенка. А Нана довольно смеялась.

Бывало, ее душил гнев. Это Рашид виноват, рано начал радоваться. И с чего он взял, что у них родится мальчик? Ведь пути Господни неисповедимы. И зачем потащил в баню? Грязная вода, мыло, пар, жара — и вот, случилось непоправимое. Нет, нет, Рашид ни при чем. Вина лежит на *ней одной*. Это она спала не на том боку, лопала острое, не ела фруктов, пила слишком много чая.

Это все попущение Господне. Бог насмехается над ней. Осчастливил, подразнил — и вдруг лишил своего благоволения.

Только не надо кощунствовать. Аллах милостив. Ему не пристала мелочная месть. В ушах у нее зазвучали слова муллы Фатхуллы: «Благословен тот, в руках которого власть и который властен над всякой вещью, который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям, — Он велик, прощающ!»^[19]

И Мариам становилась на колени и молила о прощении за нечестивые мысли.

После того, что случилось в бане, Рашид явно переменялся к жене. Теперь он почти не разговаривал с ней, когда возвращался домой с работы. Ел, курил и отправлялся спать. Иногда врывался среди ночи и грубо овладевал ею. Часто сердился по пустякам, придирался: то в доме нечисто, то во дворе беспорядок, то обед невкусный. По пятницам они иногда гуляли по Кабулу, как бывало, но Рашид теперь почему-то постоянно торопился, и она поспевала за ним чуть ли не бегом. И смеялся он теперь редко, и достопримечательностей не показывал. А вопросы его только злили.

Однажды вечером они сидели в гостиной и слушали радио. Зима уже была на исходе. Ледяные метели стихли. С веток высоких вязов капало, парочка недель — и появятся нежно-зеленые почки. Рашид притопывал ногой в такт песне, курил, щурил глаза.

— Ты сердит на меня? — спросила Мариам.

Рашид слова не сказал в ответ. Музыка кончилась, настало время новостей. Дикторша сообщила, что президент Дауд Хан, к неудовольствию Кремля, выслал из страны очередную группу советских консультантов.

— Я волнуюсь, что ты на меня сердишься.

Рашид вздохнул:

— Правда?

Наконец-то соизволил посмотреть на нее.

— И на что мне сердиться?

— Не знаю, но с тех пор, как наш малыш...

— Так вот за кого ты меня принимаешь. А я ведь столько для тебя сделал.

— Я ничего такого не думаю...

— Тогда не приставай ко мне.

— Прости. *Бебахш*, Рашид. Прости меня.

Он потушил окурок, зажег новую сигарету, сделал звук погромче.

— Я все думаю... — Мариам старалась перекрыть радио.

Рашид сердито вздохнул, немного убавил громкость, устало потер лоб.

— Что еще?

— Я все думаю, может, нам устроить настоящие похороны? Чтобы ребенок был погребен как полагается, с молитвами.

Мариам долго размышляла над этим. Нельзя, чтобы крошку все забыли. А на то есть освященный веками обряд.

— Это еще зачем? Что за дурость!

— Мне будет легче.

— Вот и займись этим сама. Я уже похоронил одного сына и второго хоронить не собираюсь. А сейчас не мешай слушать.

Он прибавил звук, откинулся назад и закрыл глаза.

На следующей неделе, солнечным утром, Мариам вырыла во дворе ямку, бросила в нее дубленочку, купленную Рашидом, и присыпала землей.

— Во имя Аллаха милостивого, милосердного, и во имя посланца Господня, да пребудет с ним мир и благословение Аллаха, — шептала она, вонзая в почву лопату. — Ты вводишь ночь в день и вводишь день в ночь, и выводишь живое из мертвого, и выводишь мертвое из живого, и питаешь, кого пожелаешь, без счета!^[20]

Мариам присела на корточки у холмика.

— Милостивый Господь, дай пищу мне.

17 апреля 1978 года — Мариам стукнуло девятнадцать — человек по имени Мир Акбар Хайбер был найден убитым. Два дня спустя в Кабуле прошла громадная демонстрация. Все соседи только об этом и судачили. Мариам видела в окно, как они размахивают руками, как, прижав к уху транзисторы, ловят каждое слово, как беременная Фариба, сложив руки на большом животе, оживленно беседует во дворе своего дома с какой-то женщиной, которую Мариам раньше не видала и имени которой не знала, с рыжими волосами и постарше Фарибы. За руку рыжеволосая держала маленького мальчика — вот его имя Мариам хорошо расслышала, его звали Тарик.

Мариам и Рашид на улицу выходить не стали — они слушали радио. Десять тысяч человек прошли маршем по правительственному району Кабула. Рашид сказал, не глядя на жену (Мариам даже засомневалась, к ней ли он обращается), что этот самый Мир Акбар Хайбер был известным коммунистом и что теперь его сторонники обвиняют правительство Дауд Хана в смерти товарища.

— Кто это — коммунист? — спросила Мариам.

Рашид засопел и наморщил низкий лоб.

— Не знаешь, кто такие коммунисты? Ну ты даешь. Это всем вокруг известно. Кроме тебя, конечно. Коммунист — это тот, кто верит в Карла Марксиста.

— А кто такой Карл Марксист?

Рашид тяжело вздохнул. Дикторша сказала по радио, что Тараки^[21], глава фракции «Хальк» Народно-демократической партии Афганистана^[22], выступает перед демонстрантами с подрывными речами.

— Я хотела спросить, чего они добиваются? Во что они верят, эти самые коммунисты?

Рашид фыркнул, затряс головой, всплеснул руками, закатил глаза, но уверенности в его голосе Мариам не заметила.

— Ничего не соображаешь, да? Как ребенок. Голова совсем пустая.

— Я только спросила...

— Чун ко. Замолчи.

Мариам смолкла.

Она уже привыкла к постоянным грубостям, насмешкам, оскорблениям, привыкла, что в глазах мужа она как бы и не человек вовсе, а так... нечто вроде домашней кошки. Четыре года замужества показали Мариам, что страх может заставить вынести многое. А она боялась. Рашид был вспыльчив, раздражителен, вечно нацелен на ссору, легко распускал руки. Правда, иногда, бывает, остынет и извинится. Но чаще всего и не подумает.

За четыре года, что миновали с трагического происшествия в бане, надежда возрождалась и гасла целых шесть раз. И с каждым крахом, с каждой поездкой к доктору Мариам жилось все тяжелее, а муж все больше озлоблялся. Все в ней теперь его раздражало, ничем она не могла ему угодить. А ведь дом у нее сиял чистотой, рубашки у мужа всегда были выстираны, на обед подавались его любимые блюда. Как-то она даже купила тушь, помаду и румяна и к приходу Рашида нарядилась. Того так и передернуло от отвращения. Мариам долго потом оттирала краску с губ и щек, и мыльная вода перемешивалась с тушью и слезами.

Теперь стоило вечером ключу повернуться в замочной скважине, как Мариам начинала бить дрожь: муж пришел. Затаив дыхание, она вслушивалась в новые звуки: вот скрипнула дверь, застучали по полу каблуки, затрещал стул, зашуршала газета, зажурчала вода. К чему он придерется сегодня? Впрочем, повод найдется. Ведь что бы Мариам ни делала, как бы ни старалась, сына Рашиду вернуть она не могла. Жена не оправдала надежд — и стала просто обузой.

— И что теперь будет? — заговорила она через некоторое время.

Рашид посмотрел на нее исподлобья, то ли вздохнул, то ли тихо застонал и выключил радио.

Направляясь к себе, он захватил приемник с собой.

Дверь за ним закрылась.

27 апреля ответом ей стали треск выстрелов и рев толпы.

Мариам босиком бросилась в гостиную.

Рашид в одном нижнем белье уже стоял у окна. Мариам встала рядом.

Над городом с оглушительным грохотом пролетели военные самолеты. Издали донеслись звуки взрывов, небо затянуло дымом.

— Что это, Рашид? — испуганно спросила Мариам. — Что такое делается?

— Бог знает, — пробормотал он, крутя ручки приемника. Радиостанции молчали.

— Что нам делать?

— Ждать, — проворчал Рашид раздраженно.

День тянулся и тянулся. Рашид не отходил от молчащего приемника, Мариам готовила в кухне рис со шпинатом. Давно прошло то время, когда стряпня доставляла ей радость. Теперь муж выходил из себя чаще всего именно из-за еды. Курма у него обязательно была пересоленная или пресная, рис слишком жирный или очень сухой, хлеб — то непеченный, то черствый. Мариам и сама начала сомневаться, — может, она правда плохая стряпуха?

Когда Мариам поставила перед ним тарелку, по радио заиграли национальный гимн.

— Я сделала сабзи.

— Помолчи.

«Говорит полковник военно-воздушных сил Абдул Кадыр^[23]...» — объявило радио.

Полковник сообщил, что силами восставшей Четвертой бронетанковой дивизии захвачен аэропорт, основные транспортные магистрали города, радио «Кабул», министерства связи, иностранных дел и внутренних дел. Кабул в руках народа. Самолеты и танки атаковали президентский дворец. Разгорелась жестокая битва. Верные Дауду войска сдались.

Через несколько дней, когда коммунисты начнут массовые расстрелы всех, кто был связан с режимом Дауд Хана, когда поползут слухи о тюрьме Поле-Чархи, жестоких пытках и выколотых глазах, Мариам услышит и о резне, учиненной в президентском дворце. Дауд Хан был убит, но прежде повстанцы на его глазах казнили всю его семью, включая женщин и внуков. Поначалу, правда, говорили, что он покончил с собой, что был застрелен в пылу схватки... Но все окажется куда страшнее.

Рашид прибавил звук и наклонился поближе к приемнику.

— Создан Революционный совет Вооруженных сил, теперь наша страна будет называться Демократическая Республика Афганистан, — говорил Абдул Кадыр. — Эпоха аристократии, кумовства и неравенства закончилась. Мы покончили с десятилетиями тирании. Власть находится в руках масс и борцов за свободу. Мы на пороге новой эры в истории нашей страны, эры процветания. Рождается новый Афганистан. Соотечественники, вам нечего страшиться. Новый режим будет строго соблюдать принципы ислама и демократии. Вас ждет светлое будущее.

Рашид выключил радио.

— Это хорошо или плохо? — спросила Мариам.

— Судя по их словам, для богатых — плохо. Для нас, может быть, и не очень.

Мариам подумала о Джалиле. Неужели коммунисты придут за ним? Посадят в тюрьму его самого, его сыновей? Отберут все имущество?

— Теплый? — спросил Рашид, глазами указывая на рис.

— Прямо из горшка.

— Тогда накладывай.

Измученная Фариба приподнялась на локтях. Темнота озарялась красными и желтыми вспышками. Волосы у Фарибы слиплись, лицо заливал пот. Пожилая повитуха Ваджма, муж и сын насмотреться не могли на новорожденную, на ее светлые волосы, розовые щечки, сморщенные губки бутончиком, на нефритово-зеленые глаза. Крик крошечной девочки, поначалу похожий больше на мяуканье котенка, набирал силу. Все заулыбались. Ахмад, самый религиозный из всего семейства, пропел крошке на ушко *азан* и трижды дунул ей в лицо.

— Лейла, ведь так? — спросил Хаким, качая дочь на руках.

— Да, Лейла, — устало улыбнулась Фариба. — Ночная Красавица. Прекрасное имя.

Рашид скатал из риса шарик, положил в рот, двинул челюстью раз, другой... И, сморщившись, выплюнул рис на скатерть.

— Что случилось? — встревоженно-заискивающе осведомилась Мариам. Сердце у нее испуганно забилося.

— «Что случилось?» — передразнил ее муж. — Ты опять за свое?

— Я его варила дольше, чем обычно.

— Что ты врешь?

— Клянусь...

Рашид резко отпихнул тарелку, рассыпая рис и шпинат, вскочил и выбежал из дома, хлопнув дверью.

Мариам опустилась на колени и постаралась собрать зернышки со скатерти, но руки у нее тряслись. Ужас сдавил грудь. Мариам попыталась вдохнуть поглубже. Перед глазами все плыло.

Дверь снова хлопнула. Рашид вернулся в гостиную.

— Встань-ка. Подойди ко мне.

Он разжал кулак и высыпал перед ней горсть мелких камушков.

— Возьми в рот.

— Что?..

— Возьми. Камушки. В рот.

— Перестань, Рашид...

Своей сильной рукой он ухватил ее за подбородок, разжал зубы и засунул тяжелую холодную гальку ей в рот. Мариам попробовала вырваться. Не тут-то было.

Вскоре рот у нее был набит камнями.

— Жуй!

Мариам забормотала жалкие слова, умоляя о прощении. Из глаз у нее полились слезы.

— ЖУЙ! — гаркнул ей в лицо муж, дыша табаком.

Мариам принялась жевать. Что-то треснуло у нее во рту.

— Отлично, — прорычал муж. Щеки у него прыгали. — Теперь ты знаешь, какой вкусный у тебя рис. Вот что я получил, женившись на тебе. Худую еду, больше ничего.

И он удалился к себе.

Мариам долго выплевывала окровавленные камушки. Среди них ей попались обломки двух коренных зубов.

Часть вторая

Часть
вторая

Поутру девятилетней Лейле всегда хотелось только одного — поскорее увидеть Тарика. Но сегодня им не встретиться. Пару дней назад семья Тарика отправилась погостить к дяде в город Газни.

— Надолго ты уезжаешь? — спросила Лейла своего верного друга.

— На тринадцать дней.

— Целых *тринадцать*?

— Они пролетят быстро. Что это ты вся сморщилась, Лейла?

— Ничего подобного.

— Сейчас заревешь, да?

— Вот еще. Это из-за тебя-то? Да никогда в жизни!

Она хлопнула его по ноге (по его настоящей ноге, не по протезу), а он понарошку отвесил ей подзатыльник.

Тринадцать дней. Почти две недели. Только Лейла теперь знала наверняка: время может сжиматься и растягиваться, словно мехи аккордеона, на котором папа Тарика порой играл старые пуштунские песни. Все зависит от того, здесь Тарик или нет.

Опять родители внизу ссорятся. Все как всегда: мама кричит и скандалит и бегаёт по комнате, а Баби сидит, повесив голову, и только кивает в ответ в ожидании, когда гроза минует.

Лейла поплотнее прикрыла дверь своей комнаты. Только все равно маму было отчетливо слышно.

Ну наконец-то. Дверь хлопнула. Заскрипела мамина кровать. Баби доживет-таки до завтра.

— Лейла! — крикнул он снизу. — Я на работу опоздаю!

— Минутку!

Лейла обувается и быстренько расчесывает перед зеркалом свои светлые волосы до плеч. Мама любит повторять, что у дочки волосы в ее породу. И густые ресницы, и зеленые глаза, и щеки с ямочками, и высокие скулы. И чуть выпяченная нижняя губа. Все это перешло к Лейле от маминой прабабушки. «Она была редкая красавица, просто пери, — говорила мама. — Вся долина была от нее без ума. И вот теперь, через два поколения, ее красота, похоже, досталась тебе».

Под «долиной» мама имела в виду Панджшерское ущелье, населенное говорящими на фарси таджиками. Мама и Баби родились и выросли там, а в Кабул переехали, когда поженились и Баби поступил в университет.

Лейла скатилась вниз по лестнице, надеясь про себя, что мама больше из своей комнаты не покажется. Баби стоял на коленях перед вставленной в дверной проем рамой, на которую в теплое время года натягивалась кисея от насекомых.

— Ты видела, Лейла?

Дырка в матерчатой сетке появилась не меньше двух недель назад.

Лейла присела рядом с отцом.

— Нет. Наверное, недавно порвалось.

— Я Фарибе так и сказал. — Вид у отца, как всегда после крупного разговора с женой, был подавленный. — А она говорит, напустим полон дом пчел.

В душе у Лейлы шевельнулась любовь и жалость к невысокому узкоплечему человечку с маленькими, нежными, как у женщины, ручками. Чтобы он был дома, и без книги в руках, — такого она и представить себе не могла. За чтением он забывал обо всем. Зато Баби знал наизусть чуть ли не все газели Руми и Хафиза^[24], мог часами говорить об исторической борьбе за Афганистан между Британией и царской Россией, четко представлял, чем отличаются сталактиты от сталагмитов, и всегда мог сказать, чему равно расстояние от Земли до Солнца: «ровно в пятьсот тысяч раз больше, чем от Кабула до Газни». Но если Лейле надо было открыть банку с вареньем, приходилось, к стыду своему, обращаться к маме. Самая простая работа по хозяйству повергала Баби в оторопь. Двери вечно были не смазаны и скрипели, крыша протекала, в кухонных шкафчиках заводилась плесень. Мама говорила, что всю мужскую работу по дому всегда добросовестно выполнял Ахмад, пока не отправился вместе с Ноором воевать с Советами.

— Но если надо срочно прочесть какую-нибудь книгу, лучше Хакима никого не найдешь.

И все равно Лейле казалось, что в свое время, задолго до того, как Ахмад с Ноором ушли на войну, — до того, как Баби *отпустил* их на войну, — мама тоже была очарована начитанностью и *книжностью* отца, а его забывчивость и неприспособленность к жизни только кружили ей голову.

— Какой там день сегодня пошел? — со смущенной улыбкой спросил ее отец. — Пятый или шестой?

— А мне-то что? Я счет дням не веду, — соврала Лейла.

Как она любила отца за то, что помнит! Мама ведь не ведала, что Тарик уехал.

— Оглянуться не успеешь, как фонарик в ночи замигает. (Баби говорил про их любимую игру — подавать друг другу сигналы фонариком в темноте, без которой они и дня прожить не могли.) Баби пощупал дыру в сетке. — Зашью, как только будет время. А сейчас нам пора. — И крикнул через плечо: — Мы ушли, Фариба! Я отвезу Лейлу в школу. Не забудь забрать ее!

Залезая на багажник отцовского велосипеда, Лейла увидела, что на улице, напротив дома, где живет сапожник Рашид со своей нелюдимой женой, стоит машина синего цвета с белой полосой через капот, крышу и багажник. «Мерседес-бенц» — редкий гость в их краях. В машине сидело двое: один за рулем, второй на заднем сиденье.

— Это еще кто? — спросила она.

— Не наше дело, — ответил Баби. — Пошевеливайся, а то опоздаем!

Лейле припомнилась еще одна домашняя перепалка, когда мама бросала Баби в лицо: «Уж это-то твое дело, а, двоюродный братец? Или тебя ничего не касается? Собственных сыновей отпустил на войну. Как я тебя умоляла! Но для тебя существуют только твои проклятые книги. Родным детям дозволил уйти из дома, будто безродным харами».

Баби нажал на педали и покатил по улице. Лейла сидела на багажнике, обхватив отца сзади руками. Когда они проезжали мимо синего «мерседеса», Лейла с любопытством взглянула на мужчину на заднем сиденье: худой, седой, в коричневом костюме, из нагрудного кармана торчит уголком белый носовой платок... А у машины — гератские номера. Вот и все, что Лейла успела заметить.

Всю дорогу они молчали, только на поворотах Баби коротко бросал:

— Держись крепче. Тихий ход.

В школе Лейла была в тот день необычайно рассеянна — все думала о том, что Тарик приедет еще не скоро и что мама опять накричала на Баби, — и вопрос учительницы про столицы Румынии и Кубы застал ее врасплох.

Учительницу звали Шанзаи, кличка Хала Рангмааль, «тетя малярша». Сначала шлепнет нарушителя дисциплины по щеке ладонью, потом тыльной стороной ладони, и так попеременно, туда-сюда, словно маляр орудует кистью. У Халы Рангмааль были густые брови и резкие черты лица. «Я дочь бедного крестьянина из Хоста», — гордо объявила она в первый день занятий. Держалась она всегда прямо, свои иссиня-черные

волосы гладко зачесывала назад и стягивала в узел и никогда не пользовалась косметикой. Закрывать лицо учительница девочкам запрещала. Ведь мужчины и женщины равны, и если мужчины не носят накидок, то и женщинам это ни к чему.

По ее словам, Советский Союз — самая лучшая страна на свете (ну, Афганистан еще). Советский Союз — государство рабочих и крестьян, где все равны и счастливы, человек человеку — друг и брат. Не то что Америка, где уровень преступности такой, что люди боятся нос на улицу высунуть. И в Афганистан придут радость и счастье, как только враги прогресса, эти отсталые головорезы, будут побеждены.

— И советские товарищи в 1979 году протянули нам руку помощи, чтобы окончательно разгромить варваров, которые хотят повернуть ход истории вспять. Но мы им не дадим! И мы рассчитываем на вас, дети. Если знаете что-то о мятежниках, вы обязаны сообщить. Это ваш долг. Слушайте и докладывайте кому следует. Даже если речь идет о ваших родителях, дядях и тетях. Ваша родина любит вас сильнее, чем родственники, и родина должна всегда у вас быть на первом месте, помните об этом! Я буду гордиться вами, как и весь Афганистан!

На стене за спиной у Халы Рангмааль висели карта Советского Союза, карта Афганистана и портрет президента Наджибуллы^[25]. (Баби говорил, что в свое время Наджибулла возглавлял страшную тайную полицию.) Висели там и фотографии советских солдат — улыбающиеся молодые парни пожимали руки крестьянам, сажали яблони, возводили дома.

— Так, та-ак, — зловеще протянула Хала Рангмааль. — О чем это размышлялась наша юная революционерка, наша *инкилаби*?

Так прозвали Лейлу из-за того, что она родилась в апреле 1978 года, в ночь, когда произошел государственный переворот, который Хала Рангмааль вслед за официальной пропагандой именovala «революцией», *инкилаб*, восстанием трудящихся против неравенства. *Джихад*^[26] тоже был запретным словом. По словам учительницы, это была даже не война, а незначительные стычки со смутьянами, подстрекаемыми иностранными провокаторами.

И конечно же, никто, ни одна живая душа не смела при Хале Рангмааль и слова сказать о том, что восемь лет боев не увенчались успехом и Советы проигрывают войну. Особенно последнее время, когда президент Рейган стал поставлять моджахедам ракеты «Стингер», когда мусульмане всего мира объединяются в борьбе: египтяне, пакистанцы, даже богатые жители Саудовской Аравии.

- Бухарест, Гавана, — сообразила Лейла.
- А это дружественные нам страны?
- Да, *моалим-сагиб*. Эти страны нам друзья.

Когда занятия закончились, оказалось, что мама за ней не пришла. Она не впервые забывала про дочь. Что делать — Лейла отправилась домой с двумя одноклассницами, Джити и Хасиной.

Неладно скроенная, да крепко сшитая, с волосами, завязанными в два хвостика, Джити вечно хмурилась. Учебники она прижимала к груди, словно щит. Хасине уже исполнилось двенадцать — она два года сидела в одном классе и три в другом. Неуспехи в науках Хасина восполняла проказами и острым язычком. Именно она придумала прозвище «Хала Рангмааль».

Сегодня Хасина консультировала подруг, как отправлять восвояси постылых женихов.

— Надежный, проверенный способ, всегда сработает. Вот честное слово.

— Глупости какие. Я еще маленькая. Какие у меня могут быть женихи? — сердито произнесла Джити.

— Прямо уж и маленькая!

— Замуж меня еще никто не звал.

— Это все потому, что у тебя растет борода, милая моя.

Джити — бедняжка была начисто лишена чувства юмора — схватила себя за подбородок и с ужасом посмотрела на Лейлу. Та только головой покачала.

— Так, леди, вы хотите знать или нет?

— Валяй, — сказала Лейла.

— Бобы. Не меньше четырех банок бобов. Беззубой ящерице, что придет свататься, хватит за глаза и за уши. Только главное — все проделать вовремя. Подадут ему чай — можно начинать артиллерийский салют.

— Я это запомню, — хихикнула Лейла.

— И он тоже.

Лейла могла бы сказать, что такие советы ей ни к чему, ведь Баби вовсе не стремится поскорее сбывать ее с рук. Хоть отец и работает на хлебозаводе «Сило» в жаре печей и грохоте машин, у него все-таки университетское образование. До прихода коммунистов к власти он преподавал в школе — пока его в 1978 году не выгнали с работы. Баби не раз повторял, что у него две основные цели в жизни — вырастить дочку и дать ей образование.

«Ты, конечно, еще маленькая, только вот такая штука, — говорил он. — Замужество может подождать, образование — нет. Ты очень, очень способная девочка. Ты можешь стать кем только захочешь. И я знаю, что, когда война закончится, ты ой как пригодишься своей стране, принесешь больше пользы, чем иные мужчины. Потому что общество обречено на неуспех, если женщинам недоступно образование. Просто обречено».

Но Лейла промолчала, и Хасина так и не узнала, что говорил Баби и как Лейла счастлива, что у нее такой отец, и как она им гордится, и как хочет учиться дальше, чтобы стать такой, как он. Ведь у Лейлы похвальные грамоты за каждый год. А у Хасины отец — таксист, угрюмый и раздражительный, и он годика через три точно выдаст ее замуж. В одну из немногих своих серьезных минут Хасина шепнула Лейле, что ее выдадут замуж за двоюродного брата на двадцать лет ее старше, владельца автомастерской в Лахоре, — это уже решено. «Я его видела всего два раза, — сказала Хасина. — Когда он ест, у него рот не закрывается».

— Бобы, девочки, — повторила Хасина. — Запомните хорошенько. Ну разве что, — она расплылась в плутовской улыбке и взяла Лейлу под руку, — к тебе постучится молодой красивый одноногий принц...

Лейла вырвала руку. Если бы кто-то еще сказал такое про Тарика, она бы обиделась. Но Хасина говорила не со зла — просто насмешничала, по своему обыкновению, и ради красного словца никого не щадила. Себя в первую очередь.

— Нельзя так говорить про людей! — возмутилась Джити.

— Каких таких людей?

— Людей, которых искалечила война, — серьезно проговорила Джити.

— Ой, похоже, мулла Джити влюбилась в Тарика. Точно! Вот он кто, принц-то. Правда, Лейла?

— И ни в кого я не влюбилась, — пробурчала Джити.

Девочки попрощались с Лейлой и пошли своей дорогой, не переставая пререкаться.

Три квартала Лейла шагала одна.

Вот и ее улица. Синий «мерседес» по-прежнему маячил у соседнего дома. Пожилой человек в коричневом костюме стоял рядом, опершись на трость.

И тут кто-то позвал ее:

— Эй, желтоволосая. Посмотри-ка сюда.

Лейла обернулась.

Прямо ей в лицо глядело дуло пистолета.

Сам пистолет был красный, а спусковой крючок — ярко-зеленый. Позади всего этого многоцветья скалил зубы Хадим.

Хадиму было одиннадцать лет, как и Тарику. Сын мясника — высокий, худой, редкозубый, — он был известный в округе хулиган. Кидаться в прохожих телячьими кишками было его любимым развлечением. На переменах, когда Тарика рядом не было, Хадим хвостом ходил за Лейлой по школьному двору, пожирая девочку глазами и притворно хныча. Как-то он даже хлопнул ее по плечу и просипел: «Ты такая красивая, желтоволосая. Хочу на тебе жениться».

И вот у него в руках водяной пистолет. Точно какую-то гадость задумал.

— Ты не волнуйся, — голос ехидный-ехидный, — пятен не будет. На твоих-то волосах уж точно нет.

— Не смей! Предупреждаю тебя.

— И что ты мне сделаешь? Напустишь своего калеку? Ах, Тарикджан! Ах, вернись домой и спаси меня от мерзавца!

Лейла попятилась, но Хадим уже нажал на спуск.

Тонкие струйки теплой жидкости залили Лейле голову. Пытаясь защититься, она закрыла лицо руками.

Тут на улицу с хихиканьем высыпала целая орава мальчишек.

Лейла выкрикнула уличное ругательство. Смысл его был для нее темен, но выражение было сильное, Лейла это чувствовала.

— Чтоб твоя мать петушком подавилась!

— А твоя мамаша-полудурок чтоб рехнулась совсем! — Хадим облил ее еще раз. — На пару со слюняем папашей! Ты понюхай свои руки-то, понюхай!

Мальчишки хором завели:

— Чем пахнут руки, чем пахнут руки!

Лейле и так уже было ясно чем.

Заливаясь слезами, она кинулась домой.

Накачав из колодца воды, Лейла наполнила корыто и таз в ванной, сорвала с себя одежду, с омерзением намылила волосы, смыла, опять намылила, и так несколько раз. Ее била дрожь. Лицо и шею она яростно терла мочалкой, пока кожа не сделалась пунцовая.

— Если бы Тарик был рядом, Хадим бы не посмел. — Лейла оделась в свежее. — Или если бы мама пришла и забрала меня из школы.

И зачем только маме приспичило рожать ее? На что людям новые дети, если всю свою любовь они уже отдали тем, что родились прежде? Какая несправедливость!

В сердцах Лейла бросилась к себе и рухнула на кровать, сжимая кулаки.

Когда приступ ярости миновал, девочка проскользнула в переднюю и постучала в дверь к маме. Когда она была поменьше, она могла так стучать часами, повторяя шепотом, словно заклинание: *мама, мама, мама...* Но мама никогда не открывала.

Не откликнулась она и на этот раз.

Лейла повернула ручку и вошла.

Нет, порой у мамы с самого утра все складывалось удачно, она прыгивала с постели бодрая, с блестящими глазами, мылась, надевала чистое, красилась, вдевала в уши серьги. Лейла расчесывала ей волосы (девочке это ужасно нравилось), и они вместе отправлялись на базар, а то играли в «змейки и лесенки»^[27] и поглощали тертый шоколад — одно из немногих лакомств, которое обожали обе, и мать, и дочь. Но самое замечательное время наступало, когда с работы приходил Баби. При виде мужа мама радостно улыбалась, а вслед за ней и Лейла — она была на седьмом небе от счастья от любой мелочи, свидетельстве былой любви и нежности, тех благословенных дней, когда братья жили с ними под одной крышей и дом их был полная чаша.

Когда тоска отступала, мама, бывало, напечет печенья и позовет соседок. Лейла тщательно перетирала посуду, а мама накрывала на стол. Когда гости собирались, Лейла садилась на свое законное место за столом, внимательно слушала и даже умудрялась вставить в разговор пару слов. Женщины пили чай, нахваливали мамину стряпню и трескали без умолку. А вот когда мама заводила речь о Баби... У Лейлы просто дух захватывало.

— Какой он был великолепный учитель, — говорила мама. — Ученики его обожали. И не только потому, что он никогда не бил их по рукам линейкой, не то что другие. Они уважали его, потому что он уважал *их*.

Мама любила рассказывать, как *она* сделала ему предложение.

— Мне было шестнадцать лет, ему — девятнадцать. В Панджшере его семья жила по соседству с нами. Ох, сестры, и влюблена же я была в него! Перелезу через стену, разделяющую наши участки, и мы играем в саду его отца. Только Хаким все боялся, что нас застукают и мой отец отлупит его.

Вечно повторял: уж он-то мне всыпет. Тогда уже был такой осторожный, серьезный. И вот однажды я ему и говорю: братец, что же это такое? Попросишь ты моей руки или мне самой к тебе свататься? Так я и сказала. Видели бы вы его лицо!

И мама хлопала в ладоши, а все собравшиеся смеялись.

А ведь когда-то (Лейла знала) мама говорила о Баби только в таком тоне и родители не спали по разным комнатам. Жалко, Лейла этих времен не застала.

Разговор неизбежно сворачивал на сватовство. Когда Советы будут наконец побеждены и парни вернутся с войны домой, им нужны будут невесты. Женщины перебирали, одну за другой, всех соседских девушек, подойдут ли они Ахмаду и Ноору. Как только речь заходила о сыновьях Фарибы, Лейлу охватывало чувство, будто женщины обсуждают понравившееся кино, которого она сама не смотрела — и ничего дельного сказать не могла. Ей было всего два годика, когда Ахмад и Ноор подались в Панджшер под знамена командующего Ахмада Шах-Масуда^[28]. Лейла их и не помнила почти. Золотой кулон с надписью «Аллах» на шее у Ахмада, завиток черных волос над ухом у Ноора — вот и все.

— Как тебе Азита?

— Дочь ковродела? — В деланном возмущении мама хлопала себя по щеке. — Да у нее усы гуще, чем у Хакима!

— Тогда Анахита. Она первая у себя в классе.

— А ты ее зубы видела? Растут вкривь и вкось. Прямо надгробия на старом кладбище.

— А сестры Вахиди?

— Эти коротышки? Нет, нет, нет. Не для моих мальчиков. Мои красавцы заслужили лучшего.

И пока женщины чесали языками, а Лейла сидела тихо, как мышка, мысли ее уносились далеко.

Тарик — вот кто не шел у нее из головы.

Окно в маминной комнате было зашторено. В потемках слоями висели запахи: спящего человека, давно не мытого тела, пота, духов, недоеденной вчерашней курмы. Лейла подождала, пока глаза привыкнут к темноте, решительным шагом, пиная разбросанную по полу одежду, подошла к окну, отдернула желтоватые занавески и села на металлический стул в ногах маминной постели. Глазам ее предстал неподвижный бесформенный ком постельного белья.

Стены в маминной комнате были залеплены фотографиями Ахмада и

Ноора, их улыбки преследовали Лейлу. Вот Ноор чинит велосипед. Вот Ахмад молится, на переднем плане — солнечные часы, которые они собрали вместе с Баби, когда Ахмаду исполнилось двенадцать. А вот оба ее брата сидят на старой груше, что растет у них во дворе.

Из-под маминой кровати торчал уголок обувной коробки. В нее мама сложила вырезки из пакистанских газет и брошюры, издаваемые повстанцами, — их собрал еще Ахмад. На обложке одной из книжек человек в белом вручал малышу леденец. «Советы намеренно ведут минную войну против наших детей», — гласила подпись. Оказывается, Советы специально маскировали мины под игрушки. Возьмет ребенок занятную вещицу в руки — и ему оторвет пальцы. Хорошо еще, если не всю ладонь или руку. А один моджахед в интервью газете утверждал, что Советы отравили всю их деревню газом, многие ослепли, а его мать и сестра харкали кровью у него на глазах.

— Мама.

Ком слегка пошевелился. Раздался стон.

— Вставай, мама. Три часа дня.

Еще один стон. Из кучи белья перископом высунулась рука и пропала. Куча затряслась, зашевелилась. Мама медленно, по частям восставала от сна — нечесанные волосы, бледное, помятое лицо, прищуренные глаза, рука пытается нашарить спинку кровати. Свет дня слепил ее, голова сама падала на грудь.

— Как дела в школе? — проямлила мама.

Началось. Обязательные вопросы, безразличные ответы. Роли давно затвержены наизусть, исполнение — вялое.

— В школе все хорошо.

— Учили новый материал?

— Как всегда.

— Ты ела?

— Да.

— Хорошо.

Мама прикрыла глаза рукой. По телу у нее пробежала дрожь.

— Голова болит.

— Принести тебе аспирин?

Мама потерла виски.

— Попозже. Папа дома?

— Еще ведь только три.

— Ах. Ну да. Ты уже говорила. Мне сейчас сон снился, — прошелестела она, — а про что — уже не помню. У тебя так бывает?

— Мама, это у каждого бывает.

— Странно ужасно.

— Ты тут спишь, а меня один мальчишка на улице облил мочой. Из водяного пистолета.

— Чем облил? Я не расслышала.

— Мочой.

— Какой... какой ужас. Бедняжка. Завтра утром первым делом поговорю с ним. А лучше — с его матерью. Так оно будет надежнее.

— Я ведь тебе даже не сказала, кто это был.

— А-а-а. Ну да. Так о ком ты?

— Это неважно.

— Ты такая сердитая.

— Ты ведь собиралась меня забрать из школы.

— Собиралась... — не то спросила, не то подтвердила мама, запустила пальцы себе в волосы и хорошенько дернула. Как только не облысела совсем до этих пор!

— А как там... как, бишь, зовут твоего приятеля, Тарик? — как у него дела?

— Он уже неделю как уехал.

— А. — Мама шмыгнула носом. — Ты помылась?

— Да.

— Стало быть, ты чистая. — Мама покрутила головой. — Ты чистая, и все хорошо.

Лейла поднялась:

— Мне еще домашнее задание делать.

— А как же. Обязательно. Будешь уходить, задерни занавески, моя хорошая. — И мама опять зарылась в простыни.

Когда Лейла подошла к окну, синий «мерседес» с гератскими номерами в облаке пыли проехал мимо. Лейла проводила машину глазами.

— Завтра я не забуду, — сказала мама за спиной. — Обещаю.

— Ты вчера то же самое говорила.

— Если бы ты только знала, Лейла...

— Ты это о чем?

Мама ударила себя в грудь. Потом рука ее бессильно упала.

— Если бы ты знала, что творится здесь...

Прошла неделя.

И еще одна.

О Тарике — ни слуху ни духу.

Чтобы скоротать время, Лейла заштопала кисею на двери (руки у Баби так и не дошли), разобрала отцовские книги, стерла с них пыль и расставила по алфавиту; они с Хасиной, Джити и Нилой, мамой Джити (швея по профессии, она была хорошо знакома с Фарибой), прошлись по Куриной улице. Лейла теперь знала: мучительнее пустого ожидания нет ничего.

Вот и еще неделя миновала.

Лейлу замучили ужасные мысли.

Он никогда не вернется. Его папа и мама уехали вместе с ним навсегда, а поездку в Газни придумали для отвода глаз. А ведь она с ним даже не попрощалась.

Он опять угодил на мину. Как тогда, в 1981 году, пяти лет от роду. Они тогда тоже ездили в Газни. Хорошо еще, ему взрывом только ногу оторвало. Могло ведь и до смерти убить.

От таких дум у Лейлы голова гудела.

И вот однажды вечером на улице замигал огонек. Лейла тихонько взвизгнула от радости и выхватила из-под кровати фонарик. Но он не хотел зажигаться.

Проклиная севшие батарейки, Лейла жала и жала на кнопку.

Не горит? Ну и ладно. Главное, он вернулся. У Лейлы кружилась голова от счастья.

А фонарик за окном светил, разгоняя мрак.

На следующее утро Лейла помчалась к Тарику.

Хадим с дружками толклись на улице, зачем-то тыкали палками в грязь. Заметив Лейлу, вся компания захихикала.

Лейла, низко опустив голову, быстренько прошмыгнула мимо.

— Что ты *наделал*? — воскликнула она, едва взглянув на открывшего ей дверь Тарика.

Она и забыла, что дядя у него был парикмахер.

Тарик провел рукой по свежеебритой голове и улыбнулся, обнажив белые неровные зубы:

— Нравится?

— Ты словно солдат-новобранец.

— Хочешь потрогать? — нагнул голову Тарик.

Ладонь приятно покалывало. Никаких шишек, голова круглая и ровная. Не то что у других мальчишек.

Щеки и лоб Тарика покрывал загар.

— Что вы так долго? — жалобно спросила Лейла.

— Дядя заболел. Заходи. Гостем будешь.

Он провел ее в гостиную. Лейла обожала каждую мелочь в их доме: потертый старенький ковер, лоскутное покрывало на кушетке, рукоделие с воткнутыми в него иголками, катушки с разноцветными нитками, старые журналы, стоящий в углу футляр с аккордеоном...

— Кто там? — крикнула из кухни мама Тарика.

— Это Лейла, — отозвался Тарик и подал гостье стул.

Окна гостиной выходили во двор. На подоконнике стояли банки, в них мама Тарика консервировала овощи и делала морковный мармелад.

— А-а-а, наша сноха пришла. — В комнату, раскрыв объятия, вошел отец Тарика, плотник по профессии, худой пожилой человек с совершенно седыми волосами и постоянно прищуренными глазами. Лейла троекратно с ним поцеловалась, ощутив знакомый приятный аромат смолистого дерева и опилок.

— Вот будешь так ее называть, она обидится и больше не придет. — Мама Тарика поставила на стол поднос с компотницей, поварешкой и четырьмя чашками. — Ты уж не обижайся на старика. Рада видеть тебя, моя милая. Вот вам компот, угощайтесь.

Массивный стол из некрашеного струганого дерева и такие же стулья папа Тарика изготовил собственноручно. Сейчас стол был покрыт зеленой клеенкой с красными звездами и полумесяцами. На стенах комнаты висели фотографии Тарика — на некоторых, самых ранних, обе ноги у него еще были целы.

— Я слышала, ваш брат был болен, — сказала Лейла седому плотнику, погружая ложку в чашку с распаренным изюмом и курагой.

Старик закурил.

— Был, но сейчас, хвала Господу, *шакри Хода*, поправился.

— Сердце. Второй раз уже. — Мама Тарика укоризненно посмотрела на мужа.

Старик выдохнул дым и подмигнул Лейле.

«Какие они все-таки пожилые, — подумалось Лейле. — Прямо бабушка и дедушка».

Тарик родился, когда маме было уже под пятьдесят.

— Как поживает твой батюшка? — спросила мама Тарика.

Сколько Лейла ее знала, мама Тарика всегда носила парик, старый и выгоревший. Сегодня по бокам парика, слишком сильно сдвинутого на лоб, были видны седые пряди. Без парика ей было бы куда лучше, подумала Лейла, с ее-то приятным лицом, мудрыми глазами и неспешными, степенными манерами.

— Спасибо, хорошо, — ответила Лейла. — По-прежнему трудится на своем хлебозаводе.

— А матушка?

— Как обычно. Когда лучше, когда хуже.

— Как ужасна для матери разлука с сыновьями!

— Пообедаешь с нами? — спросил Тарик.

— А как же. Шорва скоро сварится, — сказала мама.

— Не хочу показаться нахалкой.

— Да ты что! — возмутилась мама. — Столько времени нас не было, а ты тут принялась вежливость изображать?

— Тогда ладно. Обедаю с вами, — решительно сказала Лейла и покраснела.

— Вот и чудесно.

По правде говоря, Лейла обожала, когда ее угощали у Тарика, где вся семья за столом, и ненавидела есть у себя, в одиночестве. Ей нравились фиолетовые пластмассовые стаканы, четвертинка лимона в кувшине с водой, манера выжимать сок из кислых апельсинов во все кушанья, даже в йогурт, безобидное подшучивание друг над другом за трапезой.

Разговор за едой никогда не стихал. Семья была пуштунская, но в присутствии Лейлы они говорили только на фарси, хотя девочка понимала и по-пуштунски, не зря в школу ходила. Баби утверждал, что между их народом — таджиками — и пуштунами не все гладко.

— На таджиков всегда смотрели с пренебрежением. Пуштуны правили страной двести пятьдесят лет, а таджики всего девять месяцев, в 1929 году.

— И ты когда-нибудь чувствовал это пренебрежение, Баби? — спрашивала Лейла.

Баби протирал очки полый рубахи.

— По мне, все эти рассуждения о национальности — просто чушь, и очень опасная чушь. Какая разница, кто таджик, кто пуштун, кто хазареец, а кто узбек, если все мы — афганцы? Но если одна группа людей правит другими так долго... Накапливаются обиды. Возникает соперничество, вражда. Так было всегда и везде.

Может, где-то так и было. Только не у Тарика. С ней всегда держались ровно, естественно, по-доброму, никаких сложностей из-за языка или разницы в обычаях не возникало, никто не злился и не жаловался. Не то что у Лейлы дома.

— В карты сыграем? — спросил Тарик.

— Да, отправляйтесь наверх, — сказала мама, с неодобрительным видом разгоняя рукой клубы табачного дыма. — А я займусь обедом.

Лежа на полу в комнате у Тарика, они играли в панджпар, и Тарик рассказывал про поездку, про то, как помогал сажать дяде персики и как ему попала раз в дядином саду змея.

В этой комнате Тарик и Лейла делали уроки, строили карточные домики, рисовали карикатуры друг на друга, стояли у окна, когда шел дождь, и смотрели, как капли разбиваются о стекло и струятся вниз.

— Вот тебе загадка. — Лейла тасовала карты. — Что может объехать весь мир, не покидая своего угла?

— Подожди-ка. — Тарик, поморщившись, вытянул ногу с протезом и подложил под нее подушку. — Так лучше.

Лейла помнила, как он впервые продемонстрировал ей свою культю. Ей было шесть лет, но она храбро провела пальцем по блестящей, туго натянутой коже ниже колена. Обломок кости под кожей был неровный, с какими-то зазубринами. Тарик объяснил ей, что порой кость продолжает расти даже после ампутации. Она спросила, не больно ли ему, и Тарик сказал, что под конец дня саднит и что протез прилегает неплотно и натирает ногу, особенно когда жарко. Возникают волдыри и язвы, и мама смазывает их специальными мазями. Помогает.

Лейла разревелась.

«Ну что ты хнычешь? Сама ведь попросила дать посмотреть, — упрекнул он ее тогда. — Если бы я знал, что ты такая плакса, ни за что бы не показал...»

— Марка, — сказал Тарик.

— Что?

— Твоя загадка. Ответ: почтовая марка. После обеда идем в зоопарк.

— Ты знал ответ заранее. Скажи, знал?

— Ничего подобного.

— Ой, врешь.

— А ты завидуешь.

— Чему это?

— Моей мужской смекалке.

— Мужской смекалке? Ты серьезно? Ну-ка, скажи, кто все время

выигрывает в шахматы?

— Я тебе поддаюсь, — засмеялся Тарик, но оба знали, что это неправда.

— А у кого не клеится с математикой? Кто все время просит помочь с уроками, хотя сам на целый класс старше?

— Был бы на два класса, если бы не эта скучища — математика.

— И география, по-твоему, тоже скучная.

— С чего это ты взяла? Все, замолкни. Идем мы в зоопарк или нет?

— Идем, — улыбнулась Лейла.

— Отлично.

— Я скучала по тебе.

Молчание. На лице у Тарика не то кислая усмешка, не то гримаса отворачивания.

— Лейла, что это с тобой?

Сколько раз Лейла, Хасина и Джити говорили друг другу эти самые четыре слова, стоило им расстаться на каких-то два-три дня! *Я скучала по тебе, Хасина. И я по тебе тоже.* Все-таки мальчишки совсем из другого теста. Они не выставляют дружбу напоказ, нюни им ни к чему. Наверное, ее братья были такие же. Наверное, дружба для мальчишек — нечто незыблемое, несомненное и не нуждается в подтверждении.

— Это я тебя дразню, — соврала Лейла.

— Ну-ну. У тебя получилось. — Взгляд исподлобья.

Только улыбка у него уже не кислая. И краска бросилась в лицо.

Или это просто загар?

Лейла не хотела ему говорить. Она знала, что ничего хорошего все равно не выйдет. Ведь Тарик это так не оставит. Но когда они с Тариком вышли на улицу и направились к автобусной остановке, на глаза Лейле опять попался Хадим со своей шайкой-лейкой. Сгрудились у чужого забора, большие пальцы рук заткнуты за пояс, и скаются нахально.

Лейла не выдержала и рассказала все Тарику. Оно как-то само собой вышло.

— Что, что он сделал?

Лейла повторила.

Тарик указал на Хадима:

— Это его рук дело? Вот этого вот? Это он?

— Он.

Тарик сквозь зубы пробормотал что-то по-пуштунски, Лейла не разобрала.

— Жди здесь. — Это уже на фарси.

— Тарик, не стоит...

Но он уже переходил улицу.

Хадим сразу же перестал улыбаться, вынул руки из-за пояса, переступил с ноги на ногу. Окружавшая его орава беспокойно закопошилась.

Сколько их? — перепугалась Лейла. Десять, двенадцать? А что, если они накинута все на одного?

Тарик остановился в нескольких метрах от Хадима.

Передумал?

Тарик нагнулся.

Шнурки развязались? Или это хитрость, чтобы повернуть назад?

И тут Лейла поняла.

Тарик выпрямился и запрыгал на одной ноге к Хадиму, высоко подняв свой протез, словно это был меч.

Мальчишки бросились врассыпную. Хадим остался один.

Пыль поднялась столбом. Звуки ударов смешались с воплями.

Больше Хадим Лейле не докучал никогда.

Тем вечером Лейла с отцом, как всегда, ужинали вдвоем. «Мне что-то не хочется, — сказала мама. — Захочу — поем», — и забрала тарелку к себе еще даже до прихода Баби. Когда отец с дочкой сели за стол, мама спала. Или делала вид.

Придя домой, Баби перво-наперво помылся и причесался. А то вся голова была седая от муки.

— Что у нас сегодня на ужин, Лейла?

— Вчерашний ош.

— Здорово. — Баби вытер волосы и сложил полотенце. — А что сегодня будем изучать? Умножение дробей?

— Как переводить дроби в смешанные числа.

— Отлично.

Каждый вечер после ужина Баби занимался с Лейлой, обычно чуть-чуть опережая программу — чтобы девочка чувствовала себя в школе увереннее. Единственное, в чем Баби был на стороне коммунистов, — хоть они лишили его любимой работы — это в вопросах образования, особенно женского. Почти две трети студентов Кабульского университета составляли теперь женщины — будущие инженеры, юристы, врачи.

«Женщинам всегда приходилось нелегко в нашей стране, но теперь, при коммунистах, им дали чуть ли не все права, которых у них раньше не

было, — шептал он (мама не выносила, когда при ней говорили хоть что-то хорошее про коммунистов). — Пропаганда пропагандой, однако теперь женщинам в Афганистане открыты все пути. Воспользуйся этим, Лейла. Хотя кое-кто, заслышав про свободу женщин, сразу хватается за оружие».

Под «кое-кем» Баби подразумевал отнюдь не жителей столицы с их более-менее либеральными взглядами. Здесь, в Кабуле, женщины учились в университете, ходили в школу, занимали посты в правительстве. А вот глубинка, населенная разными народностями (пуштунами в том числе), особенно на юге и на востоке страны вдоль границы с Пакистаном... Там женщину одну и без бурки на улице не встретишь. Там люди, живущие по древним племенным законам, в штыки приняли директивы коммунистов об освобождении женщин. Ведь новые распоряжения запрещали выдавать замуж против воли, вступать в брак, если невесте нет еще шестнадцати лет... У тебя есть дочери? Теперь они не обязаны безвылазно сидеть дома, могут учиться и работать наравне с мужчинами, — это не укладывалось в голове у тех, кто привык жить по старинке.

«Враг, которого невозможно победить, — это ты сам», — возглашал Баби и тяжело вздыхал.

Баби сел к столу и погрузил кусок хлеба в ош.

Лейла решила, что расскажет ему про Тарика и Хадима за едой, пока они не приступили к дробям. Но тут в дверь постучали.

На пороге стоял коренастый человек с обветренным лицом. На голове у человека красовался паколь ^[29].

— Мне надо поговорить с твоими родителями, дохтар-джан, — сказал коренастый Лейле.

— А кто их спрашивает, что мне им передать?

Баби положил руку девочке на плечо и легонько подтолкнул:

— Иди-ка наверх, дочка. Ну, живенько.

— Я из Панджшера. У меня для вас дурные вести, — успела услышать Лейла, поднимаясь по лестнице.

Мама уже была в передней, рука прижата к губам, глаза устремлены на мужчину в паколе.

В следующее мгновение все трое уже сидели. Гость что-то тихо говорил.

Лицо у Баби залила смертельная бледность.

А мама закричала и принялась рвать на себе волосы.

На следующее утро целая толпа соседок заполнила дом, ведь хлопот в связи с *хат-мом* — поминками — хватало. Заплаканная мама не поднималась с кушетки, тиская в руках носовой платок. При ней неотлучно находились две женщины, которые, всхлипывая, попеременно гладили ее по руке, причем с такой осторожностью, будто перед ними была и не мама вовсе, а очень хрупкая фарфоровая кукла. Фариба, казалось, не замечала их.

Лейла опустилась перед ней на колени:

— Мамочка.

Фариба, прищурившись, смотрела на дочку.

— Уж мы ею займемся, — внушительно произнесла одна из плакальщиц.

Лейле уже доводилось бывать на похоронах, и она знала, что такого рода утешительницы берут на себя все тяжкие обязанности по проводам покойника в последний путь и никому не позволяют вмешиваться.

— Мы обо всем позаботимся. Иди, девочка, поищи себе занятие. Не тревожь маму.

Слоняясь из комнаты в комнату, из передней в кухню, Лейла места себе не находила. Пришли Хасина и Джити с мамами. Завидев Лейлу, Джити бросилась к ней и на удивление крепко обняла своими тоненькими ручками. Из глаз у Джити полились слезы.

— Держись, Лейла, — ободряюще шепнула она.

Три подружки сидели во дворе, пока кто-то из женщин не попросил их помыть стаканы и расставить тарелки.

Баби тоже бесцельно шатался по дому, не зная, куда себя деть. «Не пускайте его ко мне» — вот и все, что сказала мама за целое утро.

Наконец Баби уселся на стуле в прихожей, безутешный и жалкий. Ему сделали замечание, что он загораживает проход. Баби извинился, потоптался еще немного и скрылся у себя в кабинете.

Ближе к вечеру мужчины отправились на поминки в специально снятый в Карте-Се зал. Женщины собрались в доме. Лейла сидела рядом с мамой у входа в гостиную, где и полагается сидеть близким родственникам покойного. Участники церемонии снимали обувь, кланялись знакомым и рассаживались вдоль стен. Пришла Ваджма, пожилая повитуха, которая принимала Лейлу. Перед глазами у Лейлы мелькнула мама Тарика в черном платке поверх парика, поклонилась Лейле и печально улыбнулась.

Голос с кассеты заунывно читал Коран. Женщины вздыхали, всхлипывали, покашливали. Время от времени слышались трагические рыдания.

Пришла жена Рашида Мариам. Из-под черного хиджаба выбивались пряди волос. Мариам села у стены напротив Лейлы.

Мама непрерывно раскачивалась взад-вперед. Лейла взяла ее за руку, но Фариба, казалось, ничего не заметила.

— Принести тебе воды, мамочка? — спросила шепотом Лейла. — Ты пить хочешь?

Но мама молчала, только качалась туда-сюда, уперев пустой взгляд в ковер.

Не сразу, потихоньку, Лейла начала отчасти постигать безмерность свалившегося на их семью горя, отчаяния и рухнувших надежд. Но прочувствовать всю глубину маминой потери ей все равно было не дано. Ведь Лейла не помнила покойных братьев живыми. Ахмад и Ноор всегда были для нее легендой, чем-то вроде королей из книги по истории или сказочных героев.

Вот Тарик был настоящий, из плоти и крови. Тарик учил ее пуштунским ругательствам, обожал соленые листья клевера, причмокивал и мычал за едой. У Тарика под правой ключицей была родинка в форме перевернутой мандолины.

Лейла сидела рядом с мамой и послушно оплакивала покойных братьев.

Хотя настоящий брат у нее был один. И он был жив.

Теперь недомогания так и навалились на Фарибу и не оставляли ее до конца жизни: болели грудь и голова, ныли суставы, закладывало уши, на теле появлялись шишки, которые могла прощупать она одна. Баби сводил ее к доктору, тот велел сдать анализ крови, мочи, сделать рентген — и никакой болезни не обнаружил.

Она рвала на себе волосы. Она прокусила себе нижнюю губу. Всегда в черном, она или спала целыми днями, или бесцельно бродила по дому — вверх по лестнице к Лейле, от нее к сыновьям... Вот здесь они спали, шалили, дрались подушками. А сейчас их нет. И не будет никогда. Только пустота и безмолвие. И Лейла. И нечем дочери утешить мать.

Пятикратная молитва, намаз, — вот о чем мама не забывала никогда. Все прочее не имело значения. Низко склонив голову, закрыв лицо руками, она молила Господа, чтобы даровал победу моджахедам.

Почти всю работу по дому теперь выполняла Лейла. Стоило ей ненадолго забыть о своих обязанностях, как в доме в самых неожиданных местах объявлялись открытые мешочки с рисом, жестянки с бобами, скомканное грязное белье, немытые тарелки. Лейла стирала и гладила на всю семью, и готовила на всех, и кормила маму. Если удавалось ее растолкать.

Когда вся работа переделана, Лейла, бывало, скользнет под одеяло и прижмется к маме, обнимет крепко, спрячет лицо у нее в волосах. Мама пробудится, беспокойно пошевелится. И тихонько заговорит о своих мальчиках.

— Ахмад был прирожденный руководитель, — скажет она. — Его уважали и слушались люди в три раза старше его. Ты бы видела. А Ноор обожал рисовать дома и мосты. Из него бы вышел архитектор. Его проекты изменили бы облик Кабула. И вот оба моих мальчика — шахиды, мученики.

Лейла слушает. Хоть бы мама когда-то подумала о живых, о дочке, о ее будущем. Ведь нельзя жить одной памятью о прошлом.

— Тот, кто принес нам злую весть, говорил, что сам командующий Ахмад Шах-Масуд присутствовал при погребении и помолился за них. Вот какие они были герои. Сам Лев Панджшера, да благословит его Господь, отдал почести погибшим.

Мама переворачивается на спину. Лейла кладет голову ей на грудь.

— Когда я слушаю тиканье часов, — хрипит мама, — то секунды

складываются у меня в минуты, в часы, и я вижу, какая масса времени еще ждет меня впереди. Долгие месяцы и годы без них. И я задыхаюсь, Лейла, будто кто-то наступил мне на сердце. Я чувствую такую слабость, что, кажется, вот-вот упаду замертво.

— Мне так хочется помочь тебе, — искренне говорит Лейла.

Как ей достучаться до мамы?

Но оказывается, мама еще что-то слышит.

— Ты хорошая дочь, — вздыхает она. — А вот из меня мать никудышная.

— Не говори так.

— Но это же правда. Прости меня, милая.

— Мама?

— М-м-м?

Лейла садится, не сводя глаз с матери. В волосах у Фарибы появились седые пряди, глаза потухли, щеки ввалились, она — всегда такая пухленькая — похудела до того, что кольцо соскальзывает с пальца.

— Я хочу тебя спросить о чем-то важном.

— Спрашивай.

— Ты ведь не... — начинает Лейла.

Об этом они говорили с Хасиной и так напугали друг друга, что выкинули на помойку все таблетки и спрятали под ковер у кушетки кухонные ножи и острые шампуры. Во дворе Хасина нашла веревку и засунула подальше. У Баби пропали все лезвия для бритвы. Лейла рассказала ему о своих страхах, надеялась, отец успокоит ее. Но у Баби у самого глаза вдруг сделались какие-то пустые — вот и все, чего она добилась.

— Ты ведь не... Я так боюсь за тебя, мама.

— Я хотела наложить на себя руки, как только мы узнали, — шепчет мама. — Да и потом тоже, что скрывать. Только до этого не дойдет. Не волнуйся, Лейла. Я своими глазами увижу, как моя родина обретает свободу. А увижу я — увидят и мальчишки. Моими глазами.

В сердце у Лейлы борются два чувства: радость, что мама не убьет себя, и огорчение, что не она удержала ее от страшного шага. Душа у мамы — вроде пустого песчаного пляжа, на котором Лейла оставила свои следы. Но волны горя смывают их.

Накатят — и смоят.

Таксист свернул на обочину, чтобы пропустить длинную колонну военных «уазиков» и бронетранспортеров. Тарик высунулся в окно и крикнул: «*Пожалуйста!*»

«Уазик» затрубил. Тарик засвистел в ответ и замахал рукой.

— Какие пушки! — воскликнул он. — Какие машины! Какая армия! И не жалко бросать такое войско против толпы крестьян с рогатками?

Военные проехали. Машина опять катила по шоссе.

— Долго еще? — спросила Лейла.

— Около часа. Если не остановят. И если не попадется еще колонна.

Дальний поход организовал Баби, участников трое: он сам, Лейла и Тарик. Хасина тоже просилась, да отец не отпустил. Баби — хотя денег у него было негусто — заказал такси на целый день, не сказав Лейле ни слова, куда едут. Бросил только: «Это расширит твой кругозор».

Они выехали в пять часов утра. Сначала за окном машины мелькали заснеженные горные вершины, их сменили пустыни, чтобы уступить место выжженным солнцем скалам; кучки глинобитных домиков с тростниковыми крышами чередовались с полями, засеянными пшеницей. На горизонте чернели шатры кочевников. Все чаще стали попадаться сгоревшие советские танки и скелеты подбитых вертолетов.

Вот он, Афганистан Ахмада и Ноора, подумала Лейла. Вот где шла настоящая война. Кабул оставался в стороне. Если бы не редкие перестрелки, не советские патрули и не военная техника на улицах, могло показаться, что никакой войны и нет.

Ближе к полудню, миновав два блокпоста, они въехали наконец в долину. Баби указал Лейле на далекие красные стены, от которых веяло древностью:

— Это Шахри-Зохак, Красный Город. Когда-то здесь была крепость. Ее построили девятьсот лет тому назад, чтобы защищать долину от захватчиков. В тринадцатом веке внук Чингисхана вторгся в эти места и был убит. Тогда крепость разрушил сам Чингисхан.

— Вот вам, мои юные друзья, история нашей страны: вторжение за вторжением, — подхватил таксист. — Александр Македонский. Сасаниды. Арабы. Монголы. Теперь Советы. Но мы вроде этих вот стен. Обветшавшие, полуразрушенные — а стоим. Ведь правда, *бадар*?

— Воистину так, — подтвердил Баби.

Через полчаса машина остановилась.

— Эй, вы, — позвал детей Баби. — Выходите и полюбуйтесь.

Дверь такси хлопнула — участники похода выбрались наружу.

— Вот они, — показал Баби. — Глядите.

Тарик изумленно разинул рот. Лейла последовала его примеру.

Ничего столь величественного они в жизни не видели.

И вряд ли еще когда увидим, промелькнуло в голове у Лейлы.

Два колосса — два Будды — оказались куда больше, чем можно было судить по фотографиям. Гигантские скальные изваяния величественно взирали на мир с головокружительной высоты, как и две тысячи лет назад, когда у их подножия тянулись по Шелковому пути караваны. Словно сыр дырками, статуи были изъедены многочисленными пещерами.

— Перед ними я такой маленький, — пробормотал Тарик.

— Поднимемся наверх? — спросил Баби.

— А разве на статуи можно забраться? — не поверила Лейла.

Баби с улыбкой подал ей руку:

— Идем.

Восхождение по узкой, вырубленной в камне темной лестнице Тарику далось нелегко: одной рукой он опирался на Лейлу, другой — на Баби. Ходы пронизывали скалу во всех мыслимых направлениях, и в конце их был свет.

— Осторожнее ставьте ноги, — голос Баби громким эхом отразился от стен. — На ступеньках легко упасть.

Местами лестница нависала над пропастью.

— Не смотрите вниз, дети. Глядите прямо перед собой.

Когда-то Бамиан был средоточием буддизма, пока в девятом веке сюда не пришли арабы, исповедующие ислам, рассказывал Баби. Пробитые в песчанике пещеры служили жилищем для монахов и давали пристанище паломникам. Монахи расписали стены и потолки своих келий прекрасными фресками.

— Одно время здесь жило до пяти тысяч монахов.

Когда они добрались до вершины, Тарик задыхался от изнеможения. Баби тоже тяжело дышал. Но глаза у него горели.

— Мы у них на макушке. — Баби вытер лоб платком. — Здесь есть впадина, откуда можно выглянуть наружу.

Скалистый выступ нависал над долиной. В нем была выемка, с трудом вмещающая троих. Отсюда открывался чудесный вид.

— Вы только посмотрите! — воскликнула Лейла.

Баби молча улыбнулся.

Лоскутки полей, куда ни глянь. (Озимая пшеница, люцерна и картошка, поделился сведениями Баби.) Вдоль полей растут тополя, течет вода в арыках. Фигурки людей сверху такие крошечные! (На склонах растет рис и ячмень, продолжал Баби.) Осень, идет уборка урожая, зерно сушится на крышах саманных домиков. Вдоль главной улицы городка тоже тополя, в их тени расположились лавочки и чайханы. За городком, за полями и ручейками краснеют голые подножия гор, и над всем этим, над просторами Афганистана сияет заснеженный хребет Гиндукуша.

Небо над головой безукоризненно голубое, ни облачка.

— Как тихо, — прошептала Лейла.

Маленькие лошади и овцы внизу перемещались в полнейшем безмолвии.

— Вот что сильнее всего врезалось мне в память, — кивнул Баби. — Тишина и спокойствие. Мне хотелось, чтобы вы тоже это испытали. И еще мне хотелось, чтобы вы воочию убедились, какое у вашей страны наследие, прикоснулись к ее богатому прошлому. Чему-то вас могу научить я. Что-то вы почерпнете из книг. Но есть и такое, что надо увидеть собственными глазами. И прочувствовать.

— Смотрите, — отозвался Тарик.

Над деревней парил ястреб.

— А ты маму сюда привозил? — спросила Лейла.

— Много раз. И до рождения мальчиков, и после тоже. Мама обожала приключения, была такая бойкая, жизнерадостная. А как она смеялась! Вот почему я на ней женился — мне вскружил голову ее смех. Честное слово. Устоять было невозможно.

Волна любви захлестнула Лейлу.

Баби теперь всегда будет вспоминаться ей таким: локти на каменной стенке, руки подпирают подбородок, глаза щурятся от солнца, волосы треплет ветер...

— Схожу посмотрю пещеры, — сказал Тарик.

— Только осторожнее.

— Слушаюсь, *Кэка-джан* ^[30].

Три малюсеньких человечка внизу беззвучно переговаривались о чем-то. Над их головами трепетали желтые, оранжевые и красные листья.

— Я очень тоскую по мальчикам, — признался Баби. Глаза у него заблестели от непролитых слез, подбородок задрожал. — Может, по мне этого не видно. Мама — она вся как на ладони, и в горе, и в радости. Я — другой. Но смерть мальчиков меня просто подкосила. Дня не проходит,

чтобы... Это так тяжело, Лейла. Так тяжело.

Баби вытер рукой глаза. Голос его пресекся. Сжав зубы, он несколько раз сглотнул.

— Какое счастье, что у меня есть ты, — помолчав немного, опять заговорил он. — Каждый день я благодарю Господа, что он даровал мне тебя. В черные дни, когда мама не помнит себя от горя, мне кажется, ты все, что у меня есть на этом свете.

Лейла припала к его груди. Баби вроде бы даже слегка напугался. Чуть помедлил, поцеловал дочь в макушку, неуклюже обнял.

Они немного постояли, тесно прижавшись друг к другу.

— Как бы я ни любил эту землю, порой мне хочется уехать отсюда, — признался Баби.

— Куда?

— А куда глаза глядят. Сперва в Пакистан, наверное. Там придется подождать год-два, пока оформят документы.

— А потом?

— Мир велик. В Америку, например. Куда-нибудь поближе к морю. В Калифорнию. Нашел бы работу, и через несколько лет, поднакопив денег, мы открыли бы афганский ресторанчик, маленькое скромное заведение, несколько столиков, пара ковров, фотографии Кабула на стенах. Мама готовит так вкусно, что в наш ресторан сразу выстроится очередь.

А ты бы продолжила образование. Ты ведь знаешь, как я к этому отношусь. Образование прежде всего. Сначала средняя школа, потом колледж. А в свободное время, если захочешь, будешь помогать нам в ресторане: принимать заказы, наполнять водой кувшины и все такое прочее. Мы обслуживали бы дни рождения, свадебные церемонии, празднования Нового года. У нас бы собирались афганцы-эмигранты. А поздним вечером, когда ресторан опустеет, мы бы втроем пили чай. И усталость была бы приятной, потому что день выдался удачный.

Баби смолк. Лейла тоже не произнесла ни слова. Они знали, что мама не стронется с места. Пока Ахмад и Ноор были живы, она и мысли не допускала, чтобы уехать из Афганистана. А уж теперь, когда сыновья ее обратились в шахидов... Это было бы предательство по отношению к ним, героям, пожертвовавшим собой.

У Лейлы в ушах гремел голос матери: «Да как тебе в голову такое взбрело? А, братец? У меня в жизни одно утешение: я хожу по земле, политой их кровью. Нет. Никогда».

А Баби без нее никуда не поедет. Хотя сейчас жена из нее такая же, как и мать. Прочь пустые мечтания, пока война не кончится, все останется как

есть. А уж когда прекратится кровопролитие, тем более.

Мама как-то сказала в сердцах, что вышла замуж за человека без веры. Она не поняла главного. Ей достаточно было поглядеться в зеркало — и воплощенная вера Баби была бы у нее перед глазами.

Они подкрепились крутыми яйцами, картошкой и хлебом. Тарик привалился к дереву и задремал, скрестив на груди руки. Таксист отправился в деревню купить миндаля. Баби уселся под акацией и раскрыл книгу в мягкой обложке, уже знакомую Лейле. Отец как-то читал ей вслух про старика по имени Сантьяго, которому посчастливилось поймать огромную рыбу, но не удалось отбуксировать ее к берегу — акулы разорвали добычу на кусочки.

Лейла села на берегу ручья и погрузила ноги в холодную воду. Над головой кружили комары, летели нити бабьего лета. Поодаль трещала переливчатыми крыльями стрекоза, вся в фиолетовых и зеленых вспышках, словно крошечный фейерверк. Несколько мальчиков-хазарейцев собирали в заплечные мешки коровьи лепешки. Где-то надрывался осел, натужно тархтел пускач дизель-генератора.

Слова Баби не шли у Лейлы из головы. *Куда-нибудь поближе к морю.*

Там, наверху, Лейла не сказала Баби главного — она даже рада, что они никуда не поедут. Ей было бы очень тоскливо без непроницаемо-серьезной Джити, без Хасины с ее острым язычком и незатейливыми шуточками, а самое важное, без Тарика. Что такое краткая разлука, она уже испытала на своей шкуре.

А если расстаться придется навсегда?

Может, это и глупо, не брать в расчет всех опасностей и тягот войны, только бы не отдаляться от дорогого тебе человека... Особенно когда война убила твоих братьев. Но тут Лейле вспомнилось, как Тарик бросился на Хадима, подняв над головой протез.

Этого оказалось достаточно, чтобы все сомнения отпали сами собой.

Прошло шесть месяцев.

Настал апрель 1988 года.

Однажды Баби примчался домой с радостной вестью.

— Подписан договор! — закричал он с порога. — Официальный договор в Женеве. Они уходят. Через девять месяцев в Афганистане не будет ни одного советского солдата!

— Но ведь коммунистический режим остается, — возразила мама с кровати. — Наджи-булла-то никуда не денется. И война будет

продолжаться. До конца еще далеко.

— Наджибулла долго не протянет, — убежденно сказал Баби.

— Они уходят, мама! Насовсем уходят!

— Вот и радуйтесь с папочкой вместе. А мне не будет покоя, пока моджахеды не войдут с победой в Кабул.

И мама натянула на голову одеяло.

Январь 1989 года (через три месяца Лейле исполнится одиннадцать). Пасмурный, холодный день. Народ высыпал на улицы посмотреть на уходящие советские войска. Лейла с родителями и Хасиной стоят в толпе у мечети Вазир-Акбар-Хан, перед ними нескончаемой колонной тянутся танки, бронетранспортеры, грузовики. Падает снег.

Слышны ехидные выкрики, кто-то свистит. Солдаты афганской армии стоят в оцеплении, сдерживают натиск, то и дело гремят предупредительные выстрелы в воздух.

Мама держит над головой фотографию Ахмада и Ноора, ту, где они сидят под грушей боком к камере. У многих в руках портреты погибших — мужей, сыновей и братьев.

Кто-то хлопает Лейлу по плечу.

Это Тарик.

— Откуда ты это раздобыл? — восклицает Хасина.

— Я-то думал, оденусь, как надо, — смеется Тарик. На нем огромная русская меховая шапка с опущенными ушами. — Мне идет?

— Ну и смешной же у тебя вид, — невольно улыбается Лейла.

— Так и было задумано.

— Твои родители приоделись в том же духе?

— Вообще-то они остались дома.

Прошлой осенью дядя Тарика из Газни умер — подвело сердце. Не прошло и нескольких недель, как стало плохо с сердцем отцу. Он очень ослабел, стал быстро уставать, легко раздражался, растерял былую веселость. Хорошо хоть Тарик остался прежним.

Лейла с друзьями на минутку отлучаются. Тарик покупает девчонкам у лоточника по тарелке вареных бобов с киндзой. У закрытой лавки с коврами они утоляют голод, и Хасина отправляется искать родителей.

Домой возвращаются на автобусе, Баби, мама, Лейла и Тарик. Мама не отрываясь смотрит в окно, прижимая фотографию к груди. Какой-то человек доказывает, что пусть Советы и уходят, но поставки оружия Наджибулле будут продолжаться. Баби равнодушно слушает.

— Да он же их марионетка. Война разгорится с новой силой, —

горячится незнакомец.

С ним соглашаются.

Мама бормочет про себя молитвы, пока хватает дыхания.

В тот же день, ближе к вечеру, Лейла с Тариком отправляются в кино «Парк» и попадают на какой-то советский фильм, продублированный на фарси, да так, что нарочно не придумаешь. Действие происходит на торговом судне, старший помощник влюблен в дочь капитана, которую зовут Алена. Корабль попадает в жестокий шторм, гром, молния, волны захлестывают палубу. Один из матросов яростно кричит что-то. Бесстрастный голос переводит:

— Уважаемый господин, будьте любезны, передайте мне веревку, пожалуйста.

Тарик фыркает. За ним смеется и Лейла. На них нападает страшное веселье — что называется, смешинку проглотили. Человек, сидящий за два ряда от них, негодуяще шикает.

Фильм заканчивается сценой свадьбы: капитан сдается и позволяет Алене выйти за старпома. Новобрачные улыбаются направо и налево. Все пьют водку.

— Никогда не женюсь, — шепчет Тарик.

— Я тоже не выйду замуж, — сообщает Лейла, немного помедлив. Ведь чтобы скрыть разочарование, нужно время. — Никогда.

— Свадьба — это такая глупость.

— Одна шумиха.

— И пустые расходы.

— Какие пустые расходы?

— Тратишь деньги на наряд, который наденешь раз в жизни.

— А-а-а.

— Если я когда-нибудь женюсь, на сцене будут трое. Я, невеста и тот, кто держит пистолет у моего виска.

Человек за два ряда от них посылает им укоризненный взгляд.

На экране Алена и ее новый муж целуются.

Лейле не по себе. У нее колотится сердце, звенит в ушах, она застывает, охваченная смущением. А поцелуй все длится и длится. Да тут еще Тарик — одним глазом смотрит на экран, а другим — на Лейлу. Неужели он вслушивается в ее дыхание и только и ждет, когда оно собьется?

А каково это — поцеловать его по-настоящему, почувствовать, как пушок над его верхней губой щекочет тебе щеку?

Тарик беспокойно шевелится.

— А ты знаешь, что, если зимой в Сибири высморкаться, на землю упадет зеленая сосулька?

Оба смеются, но смех у них какой-то нервный. А когда они выходят из кино, Лейла рада, что уже стемнело и Тарик не видит ее глаз.

Прошло три года.

У отца Тарика случилось несколько инсультов. Левая рука теперь почти его не слушалась, а речь стала не совсем внятной. Когда он выходил из себя, что случалось частенько, понять его было нелегко.

Здоровая нога у Тарика сделалась длиннее, и он получил новый протез через Красный Крест. Правда, ждать пришлось целых полгода.

Хасину, как она и опасалась, увезли в Лахор, где собирались выдать замуж за двоюродного брата — владельца автомастерской. Лейла и Джити пришли с ней попрощаться. Хасина сообщила им, что ее будущий муж уже подал документы на выезд в Германию, где живут его братья, и через год супруги будут уже во Франкфурте. Подружки обнялись и всплакнули. Джити была безутешна. Отец помог Хасине втиснуться на заднее сиденье такси — и только ее и видели.

Советский Союз разваливался с поразительной быстротой. Одна республика за другой объявляли о своей независимости: Литва, Эстония, Украина. Советский флаг больше не развевался над Кремлем. Российская Федерация стала самостоятельным государством.

В Кабуле Наджибулла поменял тактику и подался в правоверные мусульмане.

— Поздно спохватился, — говорил Баби. — И потом, разве так можно: сегодня ты шеф ХАД, а завтра спокойно молишься в мечети с людьми, близких которых ты мучил и убивал?

Кольцо вокруг Кабула сжималось, и Наджибулла попробовал договориться с моджахедами. Не получилось.

— И правильно, — вещала мама со своей постели. Она была непоколебимой сторонницей моджахедов и дожидаться не могла, когда они торжественно вступят в столицу, посрамяв врага.

И этот день настал.

В апреле 1992 года. Лейле исполнилось четырнадцать лет.

Наджибуллу свергли, и он укрылся в представительстве ООН, расположенном на юге столицы неподалеку от дворца Даруламан ^[31].

Джихад завершился. С коммунистическими режимами (а их с того дня, когда родилась Лейла, сменилось несколько) было покончено. И после десяти лет войны моджахеды вошли в Кабул.

Их предводителей мама знала поименно.

Доблестный Достум, узбек, лидер партии «Джумбеш Милли Исломи Афғонистон». Угрюмый Гульбеддин Хекматъяр, глава партии «Хезб-е Ислами», пуштун, еще в студенческие годы убивший маоиста. Раббани, по происхождению таджик, руководитель партии «Хезб-е джамиат-е ислами», при монархии преподаватель ислама в Кабульском университете. Сайаф^[32], пуштун из Пагмана, тесно связанный с арабами, председатель движения «Иттихад-е ислами». Абдул Али Мазари^[33], основатель проиранской партии «Хезб-е Вахдат», среди своих сторонников-хазарейцев известный под кличкой Баба Мазари.

И конечно же, мамин кумир, союзник Раббани, знаменитый Ахмад Шах-Масуд, прозванный Львом Панджшера. У мамы в комнате висел плакат с его изображением. Впрочем, портреты человека в паколе слегка набекрень, с печальным взглядом и слегка приподнятыми бровями попадались в Кабуле на каждом шагу — смотрели со стен, с витрин лавок, с флажков на антеннах такси.

На следующий день после падения Наджибуллы мама встала совсем другим человеком. Впервые за пять лет она не стала облачаться в черное, а надела голубое платье в белый горошек. Она вымыла окна и пол, проветрила дом, долго отмокала в ванне.

— Устроим пир! — радостно провозгласила она.

Лейле было велено пригласить соседей на завтрашний торжественный обед.

В кухне мама замерла, уперла руки в боки и долго осматривалась.

— Что ты сделала с моей кухней, Лейла? — миролюбиво спросила она. — Хоть бы что-то осталось на прежнем месте!

И мама принялась переставлять горшки и кастрюльки с видом хозяйки, вернувшейся в родные пенаты после долгого отсутствия. Лейла старалась не попадаться ей на глаза. А то ведь мама не знала удержу ни в отчаянии, ни в восторге, ни в гневе.

Меню было составлено быстро: суп ош с фасолью и укропом, кюфта^[34], горячие манту^[35] со свежим йогуртом, посыпанные мятой.

— Оказывается, ты выщипываешь брови, — заметила мама, вскрывая мешок с рисом.

— Совсем чуть-чуть.

Мама пересыпала содержимое мешка в черный котел, налила воды, закатала рукава и принялась промывать рис.

— Как поживает Тарик?

— У него папа болеет.

— Сколько ему сейчас?

— Ой, не знаю. За шестьдесят, наверное.

— Тарику сколько?

— Ах, вот ты о ком. Шестнадцать лет.

— Красивый мальчик. Ведь правда?

Лейла пожала плечами.

— Да уж и не мальчик. Шестнадцать лет. Почти мужчина. Ведь правда?

— Ты куда клонишь, мама?

— Никуда, — невинно улыбнулась Фариба. — Никуда я не клоню. Просто ты... Да ладно. Я лучше промолчу.

— Ты что-то задумала, точно, — рассердилась Лейла.

— Послушай-ка. — Мама положила руки на край котла, да как-то хитро сложила их вместе, будто заранее тренировалась. И тон у нее был какой-то непростой.

Сейчас будет учить жизни, поняла Лейла.

— Когда вы еще дети и всюду ходите парой, прямо не разлей вода, ничего страшного в этом нет. Все вокруг только умиляются, глядя на вас. Но сейчас вы выросли... А ты носишь лифчик, доченька?

Вопрос застал Лейлу врасплох.

— Что ж ты мне ничего не сказала? Ты меня огорчаешь. — Чувствуя перевес, мама пошла в наступление: — Дело тут не во мне и не в лифчике. Речь идет о тебе и о Тарике. Он мальчишка, и ему на свою репутацию, само собой, плевать. Но ты-то девушка. А репутация девушки, особенно такой красивой, как ты, дело тонкое. Представь, что у тебя в руке птичка-майна. Стоит чуть разжать кулак, и она — раз! — и улетела.

— А как же ты сама лазила через забор в сад к Баби? — отбила атаку Лейла.

— Мы были двоюродные. И мы поженились. А этот юноша просил твоей руки?

— Он мне просто друг, *рафик*. Ничего такого между нами нет. — Убежденности в разгоряченном голосе Лейлы не было. — Он мне как брат... — Тут Лейла осеклась, сообразив, что ляпнула не то.

Но лицо у мамы уже затуманилось, помрачнело.

— Никакой он тебе не брат, — хмуро сказала она. — Тоже сравнила —

одноногий сын плотника и родные братья! Да он им в подметки не годится!

— Прости, я не то хотела сказать...

Мама тяжело вздохнула.

— Во всяком случае, — произнесла она уже без прежнего воодушевления, — если вы будете неосторожны, люди начнут болтать.

Лейла открыла было рот, но ничего не сказала. Мама во многом права. Лейла сама знала, что дни беззаботных забав на глазах у всей улицы бесповоротно миновали. Уже довольно давно Лейла заметила, как странно на них поглядывают, стоит им с Тариком показаться вместе. Казалось, их осматривают с головы до ног, а потом перешептываются за спиной. Лейла и внимания бы не обратила, если бы — она это теперь четко сознавала — не была по уши влюблена в Тарика. Когда он рядом, в голову так и лезли всякие непристойные глупости, и она ничего не могла с собой поделать. Лежа ночью в кровати, она представляла, как он целует ее в живот своими мягкими губами, чувствовала его руки у себя на шее, на спине и ниже. Лейла понимала всю греховность таких мыслей, но какая сладкая, теплая волна заливала все ее тело снизу доверху! Щеки-то делались до того красные, что, казалось, светились в темноте.

Определенно, мама права. Лейла подозревала, что про нее и про Тарика уже курсируют сплетни, что их всерьез считают влюбленной парочкой. Как-то на улице они повстречали сапожника Рашида, за которым тащилась его жена Мариам, закутанная в бурку.

— Ну вылитые Лейли и Меджнун, — игриво сказал Рашид, намекая на поэму Низами^[36], сложенную еще в двенадцатом веке, за четыреста лет до «Ромео и Джульетты» Шекспира.

Мама права.

Только ей ли читать мораль? Такое право надо заслужить. Одно дело, если бы на эту тему заговорил Баби. Но мама, где она была все эти годы? Уж точно не рядом с Лейлой. Несправедливость какая. Получается, дочка для нее вроде кухонной утвари: захотел — задвинул в дальний угол, а захотел — вытащил на свет божий.

Но сегодня, в великий для них для всех день, наверное, не стоит вспоминать обиды и портить праздник.

— Я поняла, — сказала Лейла.

— Вот и хорошо. И покончим с этим. Кстати, где Хаким? Ах, где же, где мой дорогой муженек?

С погодой повезло, выдался чудесный безоблачный день. Мужчины сидели во дворе на шатких складных стульях, пили чай, курили и

оживленно обсуждали планы моджахедов. Со слов Баби Лейла в общих чертах так представляла себе политическое положение. Их страна теперь называется Исламское Государство Афганистан. Власть перешла к Исламскому совету, сформированному в Пешаваре крупнейшими группировками. Два месяца его деятельностью будет руководить Сибгатулла Моджадиди^[37]. Потом его на четыре месяца сменит Руководящий совет во главе с Раббани. В течение этих шести месяцев будет созвана «лоя жирга» — совет вождей и старейшин, — который сформирует Временное правительство с двухлетними полномочиями. Цель — привести страну к демократическим выборам.

Один из мужчин вызвался вертеть шампуры с бараниной. Баби и отец Тарика сосредоточенно играли в шахматы под старой грушей. Сам Тарик сидел рядом на лавке и то наблюдал за игрой, то прислушивался к разговорам о политике.

Женщины, многие с маленькими детьми на руках, заполнили гостиную, переднюю и кухню. Дети постарше носились по всему дому. Из кассетного магнитофона разносился газель Устада Сараханга^[38].

Лейла и Джити на кухне наполняли йогуртом кувшины. Джити больше не была такая застенчивая и серьезная. Уже несколько месяцев, как вечная хмурая морщинка исчезла у нее со лба. Она даже начала смеяться, притом — к удивлению Лейлы — довольно-таки кокетливо; отпустила волосы, перестала завязывать их в хвостики и выкрасила пару прядей в красный цвет. Оказалось, причиной всех этих перемен был молодой человек восемнадцати лет от роду по имени Сабир, вратарь футбольной команды, где играл старший брат Джити.

— У него такая милая улыбка и такие густые черные волосы, — как-то призналась Джити. Про их чувства никто, разумеется, не знал. У них состоялось два кратких пятнадцатиминутных тайных свидания в крошечной чайной в Таймани, на противоположном конце города. — Он собирается просить моей руки, Лейла! Может быть, уже этим летом. Представляешь? Я только о нем и думаю.

— А как же учеба? — поинтересовалась Лейла.

Джити склонила голову набок и послала подружке снисходительный взгляд умудренной жизнью женщины.

«К двадцати годам, — любила повторять Хасина, — мы с Джити родим штук по пять детей каждая. Но ты, Лейла... Мы, дуры, будем тобой гордиться. Из тебя-то уж точно выйдет знаменитость. Возьмем однажды газету — а на первой полосе твоё фото».

Джити принялась резать огурцы. Выражение на лице у нее было мечтательное, отсутствующее.

Мама в своем праздничном летнем платье чистила яйца. Ей помогали повитуха Ваджма и мама Тарика.

— Я собираюсь преподнести в дар командующему Масуду фотографию Ахмада и Ноора, — сказала мама Ваджме, и та вежливо кивнула. — Он ведь лично присутствовал на похоронах и помолился на их могиле. Я слышала, он думающий, благородный человек. Он по достоинству оценит мой подарок.

Женщины сновали из кухни в гостиную с мисками курмы, тарелками маставы^[39], караваями хлеба, расставляя снедь на скатерти, расстеленной на полу.

В толпе мелькал Тарик: то тут возникнет, то там.

— Мужчинам вход воспрещен, — возмутилась Джити.

— Вон, вон! — закричала Ваджма.

Тарик только улыбался в ответ. Казалось, ему доставляло удовольствие, что его гонят, а он не уходит.

Лейла изо всех сил старалась не смотреть на него — и без того сплетен хватает. И тут ей вспомнился недавний сон: они с Тариком под зеленой вуалью, их лица отражаются в зеркале, и зернышки риса со стуком отскакивают от затуманенного стекла...

Тарик потянулся к телятине с картошкой.

— *Хо бача!* — шлепнула его по руке Джити. Но он уже энергично жевал. И смеялся, негодяй.

Тарик очень возмужал, раздался в плечах, перерос Лейлу на целую голову. Он брился, носил брюки со стрелками, черные блестящие мокасины; рубашки с короткими рукавами только подчеркивали его рельефные мускулы — спасибо старым ржавым гантелям, с которыми он каждый день упражнялся во дворе. Разговаривал он теперь, как бы слегка набычившись, а когда смеялся, приподнимал одну бровь. Улыбка у него сделалась снисходительно-веселая. Он давно уже не брился наголо и полюбил картинно встряхивать шевелюрой.

Когда Тарика в очередной раз выставляли из кухни, Лейла не удержалась, украдкой глянула на него. Ее взгляд мама заметила (хотя Лейла как ни в чем не бывало ссыпала в миску с подсоленным йогуртом огурцы) — и всепонимающая улыбка тронула ее губы.

Мужчины накладывали себе еды и выходили во двор. Как только они удалились, женщины расположились на полу в гостиной у заставленной яствами скатерти.

Когда с едой было покончено и настало время пить чай, Тарик слегка мотнул головой и выскользнул за дверь.

Через пять минут Лейла тоже вышла.

Тарик ждал ее на улице, дома за три от них, — с сигаретой в зубах подпирал стену возле узкого прохода между двумя дворами и напевал старинную пуштунскую песню из репертуара Устада Аваль Мира.

*Да зе ма зибa ватан,
Да зе ма дада ватан.
(Это наша прекрасная родина,
Это наша любимая родина.)*

Курить он начал, когда связался с этой своей новой компанией — брюки со стрелками, рубашки в обтяжку, — Лейла терпеть этих парней не могла. Наодеколонятся, сигареты в зубы — и шляться по улицам, самодовольно улыбаясь, отпуская шуточки, цепляясь к девушкам. Один из его новых друзей, чем-то похожий на Сильвестра Сталлоне, даже требовал, чтобы его называли Рембо.

— Мама тебя убьет, если узнает, что ты куришь. — Прежде чем скользнуть в тупичок, Лейла хорошенько осмотрелась.

— А она и не узнает. — Тарик посторонился. — Ты, что ли, ей расскажешь?

Лейла топнула ногой:

— Доверив свою тайну ветру, не вини деревья.

Тарик улыбнулся, приподняв бровь:

— Кто это сказал?

— Халиль Джебран^[40].

— Все-то она знает.

— А ну дай сигарету.

Тарик покачал головой и заложил руки за спину. Новая поза: спиной к стене, руки сзади, во рту сигарета, нога небрежно выставлена в сторону.

— Не дашь?

— Тебе курить не пристало.

— А тебе пристало?

— Зато девушкам нравится.

— Каким еще девушкам?

— Они говорят, это привлекает.

— Ничего подобного.

— Нет?
— Уверяю тебя.
— Так девушкам не нравится?
— У тебя вид, как у полоумного, у *хила*.
— Ты меня просто убиваешь.
— Так что за девушки-то?
— Ревнуешь?
— Интересуюсь из вежливости.
— Нам нельзя быть вдвоем. — Тарик закурил еще сигарету и скосил глаза. — Наверняка сейчас судачат о нас.

У Лейлы в ушах зазвучали мамины слова: «Представь, что у тебя в руке птичка-майна. Стоит чуть разжать кулак, и она — раз! — и улетела». Она ощутила укол совести. Но угрызения мигом сменила радость. Ведь Тарик сказал *нас*. И как сказал! Просто мороз по коже. И он не хотел этого говорить — само вырвалось. Значит, что-то между ними есть.

— И о чем они судачат?
— Что мы плывем в лодке по Реке Греха, — серьезно произнес Тарик. — И жуем при этом Пирог Дерзости.
— А ниже по течению нас поджидает Рикша Злонравия? — подхватила Лейла.

— С Курмой Святотатства наготове.
Они засмеялись.
— Тебе идут длинные волосы, — заметил Тарик.
Хоть бы не покраснеть, подумала Лейла.
— Решил сменить тему?
— А какая у нас была тема?
— Пустоголовые девушки, которые находят тебя привлекательным.
— Ты же сама знаешь.
— Что я знаю?
— Для меня существуешь только ты.

У Лейлы закружилась голова. Но на лице у Тарика, как назло, ничего прочесть было невозможно — тупая веселая ухмылка и прищуренные грустные глаза.

А истина где — посередине?
Тарик затоптал сигарету здоровой ногой.
— Что ты думаешь насчет всего этого?
— Насчет праздничного ужина?
— И кто у нас полоумный? Насчет моджахедов.
— А-а-а.

Она принялась пересказывать слова Баби насчет неравного брака оружия и самолюбий, как вдруг от их дома донесся шум какой-то возни, вскоре сменившийся руганью и криками.

Лейла сорвалась с места. Тарик похромал за ней.

Понося друг друга последними словами, по земле катались двое мужчин. Рядом с ними валялся нож. В одном из дерущихся Лейла опознала человека, который недавно с жаром рассуждал о политике. Вторым был тот, кто заправлял шампурами. Их пытались разнять. Баби стоял в стороне — у стены, рядом с плачущим отцом Тарика.

Оказалось, любитель политики, пуштун по национальности, обозвал Ахмада Шах-Масуда «предателем» — тот в восьмидесятых «заключил сделку с Советами». Повар (таджик) потребовал взять эти слова обратно. Пуштун отказался. Тогда таджик заявил, что Масуд Масудом, а вот сестра пуштуна точно давала советским солдатам. Завязалась драка. Кто-то (до сих пор неясно кто) обнажил нож.

Тарик — к ужасу Лейлы — вдруг оказался в самой гуще. Один миротворец тем временем успел сцепиться с другим миротворцем. На свет божий явился второй нож.

Лейла долго потом вспоминала, в какое побоище превратился званый ужин и как Тарик — с растрепанными волосами, с отстегнутым протезом — пытался выползти из-под груды дерущихся.

Удивительно, как быстро все запуталось.

Сформированный до срока Руководящий совет избрал президентом Раббани. Прочие группировки завопили о кумовстве. Масуд призвал к спокойствию и терпению.

Хекматъяр — чья кандидатура даже не рассматривалась — пришел в ярость. Хазарейцы, припомнив долгие годы презрения и унижений, преисполнились возмущения.

Посыпались оскорбления. Прозвучали обвинения. Переговоры сорвались, и двери захлопнулись. Город напряженно затаил дыхание. В горах «Калашниковы» были приведены в полную боеготовность.

Когда не стало общего врага, вооруженные до зубов моджахеды увидели врагов в бывших союзниках.

И день расплаты для Кабула настал.

Когда ракеты дождем посыпались на столицу, люди бросились искать укрытия — и мама вместе с ними.

Она опять надела черное, удалилась в свою спальню, задернула занавески и с головой укрылась одеялом.

— Этот свист, — сказала Лейла, — этот проклятый свист. Ненавижу его больше всего на свете.

Тарик сочувственно кивнул.

Со временем Лейла поняла, что дело не в самом свистящем звуке, а в нескольких секундах, что проходят между пуском ракеты и ее падением, в промежутке, заполненном напряженным ожиданием. Неуверенностью. Неопределенностью. Каким окажется приговор — милостивым или жестоким?

Обычно обстрел начинался, как раз когда они с Баби садились ужинать. Отец и дочь замирали, обратившись в слух, их отражения костенели в черном окне. Раздавался свист, затем звук взрыва — где-то там, далеко, можно вздохнуть с облегчением. Не их дом превратился в развалины, не им выпала судьба, задыхаясь от пыли и отчаяния, откапывать из-под руин близких — сестру, брата, внука.

Но ведь в кого-то попали. В кого? После каждого взрыва Лейла, читая молитвы, выбегала на улицу, вне себя от страха за Тарика.

Ночью Лейле не давали уснуть вспышки за окном, автоматные очереди, дом сотрясался от грохота разрывов. Порой ракеты заливали все вокруг таким светом, что можно было читать. Короткие беспокойные сны были наполнены огнем, изувеченными телами, стонами раненых.

Утро не приносило облегчения. Раздавался призыв муэдзина, моджахеды откладывали оружие, обращались лицом на запад и молились. Передышка была короткой — молитвенные коврики сворачивались, и война начиналась сызнова. Горы обстреливали Кабул, в ответ столица палила по горам, а жители беспомощно взирали на происходящее — как старик Сантьяго бессильно смотрел на акул, рвущих на части пойманную им рыбу.

Куда бы Лейла ни пошла, повсюду она натывалась на вездесущих людей Масуда в поношенных паколях — они патрулировали улицы, досматривали автомобили, курили, высовываясь из танков, глазели на прохожих из-за мешков с песком, наваленных чуть ли не на каждом перекрестке.

Только теперь Лейла редко куда выходила. И неизменно ее сопровождал Тарик, которому, похоже, очень нравилось ее охранять.

— Я купил пистолет, — как-то похвастался он, сидя под грушей у Лейлы во дворе, и продемонстрировал покупку. — Полуавтоматическая «беретта».

Какой он черный и страшный, подумала Лейла.

— Я не в восторге, — сухо сказала она. — Оружие меня только пугает. Тарик вертел в руках обойму.

— На прошлой неделе в одном доме в Карте-Се обнаружили три трупа, — проговорил он. — Не слышала? Три сестры. Их изнасиловали и перерезали глотки. Судя по следам, кто-то зубами сорвал у них с пальцев кольца...

— Я не желаю выслушивать такие ужасы.

— Я не хотел тебя расстраивать. Только с этой штукой в кармане — оно надежнее.

Сообщать ей слухи он считал своим долгом телохранителя. Именно он рассказал ей, что ополченцы, засевшие в горах, тренируются в меткости, стреляя по живым мишеням — мужчинам, женщинам, детям, им все равно по кому, — и делают при этом ставки. Именно Тарик пересказал Лейле, что ракеты нацеливают на автомобили — только почему-то не на такси, — и все теперь бросились перекрашивать свои машины в желтый цвет.

Тарик растолковал ей, что Кабул поделен на участки с зыбкими, изменчивыми границами. Вот эта дорога, например, вплоть до второй акации по левую сторону принадлежит одному полковому командиру, следующие четыре квартала до самой булочной — другому, а метров через восемьсот хозяин территории опять поменяется. Снайперам — прямо раздолье.

Вот как теперь называют маминых героев. Полевые командиры. А еще *тофангдар*. Стрелки. Правда, некоторые по-прежнему называли их моджахедами, но как-то брезгливо кривились при этом, словно само слово вызывало отвращение, подобно скверному ругательству.

Тарик вставил обойму обратно в пистолет.

— Неужели в тебе это сидит? — изумилась Лейла.

— Что сидит?

— Неужели ты способен запросто применить оружие? Убить кого-то?

Тарик запихал пистолет за пояс.

— Ради тебя я готов убить, — признался он.

Они сцепили руки, потом еще и еще. Тарик погладил ее по ладони. Лейла позволила. И когда он наклонился к ней и припал губами к ее губам, она тоже позволила.

Все мудрые слова мамы про репутацию и птичку-майну показались

вдруг Лейле чепухой. Ведь правда — перед смертоубийствами и грабежами, перед всей этой грязью и мерзостью, творящейся вокруг, — какой пустяк сидеть вот так под грушей и целоваться с Тариком. И когда Тарик припал к ней, она откинулась назад и ответила на поцелуй, чувствуя, как колотится сердце, прерывается дыхание и наливается огнем все тело.

В июне 1992 года в Западном Кабуле не прекращались тяжелые бои между силами пуштунов под командованием Сайафа и хазарейцами из группировки «Вахдат». Рушились дома, падали опоры линий электропередач, город остался без света. Шла молва, что ополченцы врываются в дома хазарейцев и расстреливают целые семьи, а хазарейцы в отместку похищают мирных пуштунов, насилуют их дочерей, убивают всех без разбору. Каждый день находили обезображенные трупы: обгоревшие, со следами пыток, с выколотыми глазами, с отрезанными языками.

Баби еще раз попробовал убедить маму уехать из Кабула.

— Все уляжется, — не согласилась мама. — Бои не продлятся долго. Люди сядут и договорятся.

— Фариба, эти люди не знают ничего, кроме войны. Они ходить учились с пистолетом в руке.

— Да как ты смеешь? — закричала мама. — Разве ты участвовал в джихаде? Разве ты пожертвовал ради этого хоть чем-нибудь? Разве ты рисковал жизнью? Если бы не моджахеды, мы так и были на побегушках у Советов, забыл, что ли? А теперь ты предлагаешь мне предать?

— Ну какие из нас предатели!

— Уезжай. Забирай свою дочь и вали. Пришлешь мне открытку. Только мир не за горами, и я уж его дождусь.

На улицах стало до того небезопасно, что Баби решился на немислимое: забрал Лейлу из школы.

Теперь он учил ее сам. Каждый день после захода солнца она приходила к нему в кабинет, и, пока Хекматъяр из южных пригородов обстреливал своими ракетами части Масуда, Баби и Лейла обсуждали газели Хафиза, труды любимого афганского поэта Устада Халилуллы Халили^[41], учились решать квадратные уравнения, разлагать многочлены, строить параметрические кривые. Попав в свою стихию, Баби преображался, делался как-то выше, говорил звучным, глубоким голосом. Лейла теперь собственными глазами увидела, каким он некогда был учителем.

Только сосредоточиться ей было нелегко. Думалось совсем о другом.

— Чему равна площадь пирамиды? — спросит, бывало, Баби.

А у Лейлы на уме губы Тарика, его горячее дыхание, его карие глаза. С того дня, когда они сцепили руки под грушей, они целовались еще дважды — в том глухом проулке, где Тарик курил, когда мама позвала гостей, — целовались долго, страстно и уже не так неумело, как в первый раз. Во второй раз она позволила ему коснуться груди.

— Лейла!

— Да, Баби?

— Площадь пирамиды? Ты где витаешь?

— Извини, Баби. Я тут... Сейчас... Произведение основания на высоту разделить на три.

Недоуменно глядя на дочь, Баби кивал. А Тарик гладил Лейлу по груди, прижимал к себе и целовал, целовал...

Стоял все тот же июль. Джити с двумя подружками возвращалась домой из школы. За три квартала до дома в девчонок угодила шальная ракета. Потом Лейле рассказывали, что Нила, мама Джити, душераздирающе голося, бегала взад-вперед по улице и собирала в передник куски плоти — все, что осталось от дочери. Правую ногу в чулке и лиловой туфле нашли на крыше соседнего дома недели через две.

На поминках Джити Лейла никак не могла прийти в себя. Впервые погиб человек, которого она хорошо знала и любила. Неумолимая правда — Джити больше нет — просто не укладывалась в голове. Как же так — ведь еще недавно Лейла писала подружке записочки, полировала ей ногти, выщипывала волоски на подбородке... Джити, ее Джити (она ведь собиралась замуж за вратаря Сабира!), умерла. Ее разорвало на куски ракетой.

Когда же невыплаканные на похоронах братьев слезы наконец прорвались наружу, Лейла долго-долго была не в состоянии остановиться.

Лейла едва могла пошевелиться, будто все до единого сустава у нее оказались залиты бетоном. Ей чудилось, что Тарик обращается не к ней, что она случайно подслушала слова, не предназначенные для ее ушей. Казалось, веревка, на которой подвешена ее жизнь, перетерлась, лопнула и все летит в тартарары.

Август 1992 года. Жаркий, душный день. Они в гостиной у нее дома. У мамы весь день болел живот, и Баби, наплевав на хекматъяровские ракеты, повел ее к доктору. И вот Тарик сидит рядом с ней на кушетке, уперев взгляд в пол и свесив руки между колен.

И говорит, что уезжает. Не из Кабула, нет. Из Афганистана. Насовсем. Уезжает.

У Лейлы потемнело в глазах.

— Куда? Куда ты поедешь?

— Сперва в Пакистан. В Пешавар. А потом не знаю. В Индию или в Иран.

— Надолго?

— Не знаю.

— И давно вы решили?

— Пару дней назад. Я все собирался тебе сказать, да язык не поворачивался. Я же знаю, как ты огорчишься.

— Когда?

— Завтра.

— Завтра?!

— Лейла, посмотри на меня.

— Завтра...

— Это все из-за отца. У него сердце не выдерживает всех этих ужасов.

Лейла закрыла лицо руками. Жуть проникла в самую глубину ее души.

Вот оно, подумала она. К тому и шло. Чуть ли не все знакомые уже уехали. Еще и четырех месяцев не минуло с начала междуусобицы, как уже не с кем стало словом перекинуться. Семья Хасины отправилась в Тегеран еще в мае. Ваджма со своими многочисленными родственниками сейчас в Исламабаде. Родители Джити с детьми уехали в июне, сразу же после смерти дочери. Куда они направились, Лейла не знала, ходили слухи, что в Мешхед^[42]. Покинутые дома несколько дней стояли пустые, затем в них вселились моджахедаы или совсем уже посторонние люди.

И вот Тарик уезжает.

— Мама уже немолодая, — бормотал Тарик. — Ей так страшно. Лейла, погляди на меня.

— Ты бы хоть сказал мне.

— Прошу, посмотри на меня.

Лейла застонала, не в силах сдержать рыдания. Тарик кинулся вытирать ей слезы — она отпихнула его руку. Как он смеет ее бросать! Пусть это бессмысленный эгоизм с ее стороны, но Лейла ничего с собой не могла поделаться. Ударить его, да посильнее, вцепиться в волосы! Да как ты смеешь держать меня за руки! Да я тебя...

Тарик все время что-то говорил — Лейла не разбирала слов, — голос у него был мягкий, нежный, успокаивающий. Как получилось, что они оказались лицом к лицу?

И вот опять его горячее дыхание у нее на губах, и нет на свете больше никого и ничего...

Впоследствии Лейла вновь и вновь вспоминала, что же случилось потом, стараясь не упустить ни одной мелочи — ни одного взгляда, вздоха, стона — и тем уберечь от забвения, от небытия. Только время безжалостно, а память несовершенна. Запомнились пронизывающая боль внизу живота, солнечный лучик на ковре, внезапный холод поспешно отстегнутого протеза, ярко-красная родинка в форме перевернутой мандолины, прикосновение его черных кудрей, страх, что их застукают, и восторг, что они такие храбрые, небывалое, неопишное наслаждение, смешанное с болью, и лицо Тарика, на котором отражалось столько всего сразу: восхищение, нежность, сожаление, смущение и, превыше всего, страстное желание.

Потом они суетливо, лихорадочно застегивались, поправляли одежду, приглаживали волосы... И вот они опять сидят рядом на кушетке — раскрасневшиеся, потрясенные, не в силах слова сказать перед грандиозностью события, которое свершилось по их воле.

На ковре Лейла углядела три капельки крови, *своей* крови. А родители заметят? Скорее всего, нет. Лейле стало ужасно стыдно, в ней заговорила совесть. Как громко тикают часы на втором этаже, стук-стук, словно молоток судьи грохочет снова и снова: виновна, виновна, виновна!

— Поехали со мной, — сказал наконец Тарик.

На какую-то секунду Лейла поверила, что такое возможно — она уедет с Тариком и его родителями. Запакует чемоданы, сядет в автобус и оставит

позади весь этот кошмар. И неважно, что им готовит будущее — горе или радость, — главное, они будут вместе.

Они — и вместе.

Им будет хорошо вдвоем. Как сегодня.

— Я хочу жениться на тебе, Лейла.

Она подняла на него глаза и испытующе посмотрела в лицо. Никакой игривости, ничего напускного, серьезен и решителен.

— Тарик...

— Выходи за меня, Лейла. Сегодня же. Мы можем пожениться прямо сейчас.

Он заговорил про то, как они отправятся в мечеть, найдут муллу, двух свидетелей, быстро совершат нику...

Но Лейла думала о маме, упрямой и неуступчивой, словно моджахед, о снизошедшем на нее духе злобы и отчаяния... Лейла думала о Баби, который давно уже стушевался и всегда уступал жене, даже когда был с ней не согласен.

В черные дни... мне кажется, ты все, что у меня есть на этом свете.

Есть горькие истины, есть жизненные обстоятельства, от которых никуда не денешься.

— Я попрошу у Кэки Хакима твоей руки. Он нас благословит, Лейла, я знаю.

Правильно, он их благословит. А что с отцом станется потом?

Тарик то шептал, то почти кричал, он умолял, уговаривал, убеждал... Поначалу голос его был полон надежды, потом она начала таять.

— Я не могу, — повторяла Лейла.

— Не говори так. Я люблю тебя.

— Прости меня...

— Я люблю тебя.

Как она ждала, когда же он произнесет эти слова, как мечтала об этом! И вот они прозвучали.

Какая жестокая ирония!

— Я не могу оставить отца, — с трудом выговорила Лейла. — Я — все, что у него осталось. Он не переживет.

Тарик знал это, знал, что долг для нее (как и для него) превыше всего и что тут ничего не поделаешь. Но может, все-таки удастся ее уговорить?

Обливаясь слезами, Лейла стояла на своем.

И выставила его.

И взяла обещание, что прощаться они не будут.

— Я вернусь, — сказал Тарик напоследок. — Вернусь за тобой.

Дверь за ним захлопнулась. Тарик забарабанил в нее кулаками. Потом грохот прекратился, но Тарик еще долго не уходил. Лейла слышала его дыхание.

Наконец со двора раздались его неверные шаги.

Все стихло. Только где-то далеко за городом в горах шел бой.

И еще нарушал тишину стук сердца, отдававшийся во всем теле.

Жара стояла невыносимая. Раскаленные горы дымились. Электричества не было вот уже несколько дней. Ни один вентилятор в городе не работал, словно в насмешку.

Лейла лежала на кушетке в гостиной. Горячий воздух обжигал легкие. Родители разговаривали в спальне у мамы. После того как в ворота угодила пуля и пробила дыру, им было о чем поговорить. Последнее время голоса внизу не стихали даже по ночам.

Слышалась далекая тяжкая канонада, пронизываемая близкими автоматными очередями.

Внутри Лейлы тоже не утихала борьба: с одной стороны, стыд и угрызения совести, а с другой — уверенность, что они с Тариком не такие уж страшные грешники и что все случившееся между ними было прекрасно, естественно, пожалуй, даже неизбежно. К тому же неизвестно, увидятся ли они еще когда-нибудь.

Лейла все старалась вспомнить, что ей шепнул Тарик тогда, на полу. Просто «Тебе не больно?» или «Я тебе не сделал больно?»

Двух недель не прошло, как он уехал, а память уже понемножку подводит.

Так как же он выразился?

Неужели забыла?

Лейла закрыла глаза и постаралась сосредоточиться.

А ведь пройдет время, и ей надоеет постоянно напрягать память. Все начнет потихоньку забываться, покрываться пылью, и скорбь утраты уже не будет такой острой. А потом настанет день, когда его образ затуманится и имя «Тарик», случайно прозвучавшее на улице, больше не заставит ее вздрагивать. Она перестанет тосковать по нему, и ее неизменный спутник — страдание, подобное фантомной боли в ампутированной конечности, оставит ее в покое.

Ну разве что много лет спустя, когда она уже будет взрослой женщиной с детьми, какая-нибудь ерунда вроде нагретого солнцем ковра на полу или формы головы случайного прохожего вдруг зацепит за ниточку и тот день во всей своей красе и печали — со всем их неблагоразумием, неловкостью и восторгом — вернется к ней, неся с собой жар их разгоряченных тел, и захлестнет с головой.

Но воспоминание продлится недолго. Оно скоро пройдет. И доставит

только смутное беспокойство.

Лейла решила про себя, что Тарик сказал тогда: «Я тебе не сделал больно?»

Ведь он так и сказал?

В переднюю вышел Баби и позвал Лейлу.

— Она согласна! — воскликнул он дрожащим от возбуждения голосом. — Мы уезжаем, Лейла, все трое. Мы покидаем Кабул.

Они втроем сидели на кровати в маминей комнате. Над домом проносились ракеты — битва между Хекматъяром и Масудом не стихала. Лейла знала, что вот сейчас кто-то в городе погиб, чье-то жилище превращено в груды мусора, в небо вздымается столб черного дыма. Утром тела обнаружат, кого-то заберут, а до некоторых руки не дойдут. То-то будет пир для кабульских собак, успевших хорошенько распробовать человечину.

И все-таки Лейле хотелось пробежать по улицам, крича от радости. Ей никак не сиделось на месте. Баби сказал, что сперва они поедут в Пакистан, подадут документы на получение виз. А ведь Тарик в Пакистане, всего семнадцать дней как уехал — Лейла подсчитала. Если бы мама решила семнадцать дней назад, они могли бы отправиться в путь все вместе. Но это сейчас неважно. Они едут в Пешавар — она, мама и Баби — и обязательно разыщут Тарика и его родителей. Их документы власти рассмотрят одновременно. А там... кто знает? Европа? Америка? Где-нибудь поближе к морю, как говорил Баби...

Мама полулежала, опершись о спинку кровати. Глаза у нее были заплаканы, руки вцепились в волосы.

Три дня назад Лейла вышла из дома глотнуть воздуха. Только она встала на улице у ворот, как что-то громко свистнуло у самого ее правого уха и звонко ударило в доску, крошечные щепки полетели в разные стороны. Сотни сожженных домов, тысячи ракет, упавших на Кабул, смерть Джити — ничто не могло вывести маму из оцепенения. А вот сквозная круглая дырка в воротах в трех пальцах от головы Лейлы пробудила к жизни, заставила понять, что война уже унесла двух ее сыновей и на очереди дочь.

Ахмад и Ноор улыбались со стен спальни. Мама с виноватым видом переводила глаза с одной фотографии на другую, будто испрашивая согласия. Благословения. Прощения.

— Здесь нас ничто не держит, — сказал Баби. — Сыновья наши погибли, но с нами Лейла. Мы вместе, Фарива. Мы сможем начать новую жизнь.

Баби взял маму за руку. Мама ничего не сказала, но выражение лица у нее смягчилось, стало покорным. Родители подержали друг друга за руки, потом неторопливо обнялись, мама спрятала лицо у отца на груди, вцепилась ему в рубаху.

В ту ночь Лейла никак не могла уснуть. Горизонт то и дело вспыхивал оранжевым и желтым. Сон сморил ее уже под утро.

Вот что ей приснилось.

Они на песчаном пляже. День холодный, ветреный, пасмурный, но под покрывалом рядом с Тариком тепло. Под пальмами, за белым штакетником, выстроились в ряд автомобили. От ветра слезятся глаза, песок засыпает стопы, вихрь несет с собой пучки высохшей травы. По волнам скользят косые паруса, над морем с криком машут крыльями чайки. Под напором стихии песок поземкой стелется над склонами дюн, слышен странный распевный звук.

Это певучие пески, говорит Лейла, мне отец давным-давно про них рассказывал.

Он смахивает песок ей со лба, перед глазами у Лейлы мелькает кольцо у него на пальце. Оно такое же, как у нее, золотое, покрытое сложным узором.

«Это правда, — говорит Лейла. — Песчинка трется о песчинку. Послушай только».

Он слушает. Хмурится. Ждет. Снова слушает. Когда ветер несильный, слышен словно легкий стон. А когда налетает порыв, кажется, целый хор поет высокими голосами.

Баби сказал, с собой следует взять только самое необходимое. Все остальное надо продать.

— На эти деньги мы сможем жить в Пешаваре, пока я не найду работу.

Следующие два дня они только и отбирали вещи на продажу.

Лейла в своей комнате откладывала в сторонку старые блузы, туфли, книги, игрушки. Под кроватью она нашла маленькую корову из желтого стекла, которую Хасина подарила ей, когда они перешли в пятый класс. И брелок в виде крошечного футбольного мяча, подарок Джити. И игрушечную деревянную зебру на колесиках. И фарфорового космонавта, которого они с Тариком нашли в сточной канаве. Ей было шесть лет, а ему восемь. Они еще немного повздорили, кто первый космонавта увидел.

Мама тоже разбирала вещи — неторопливо, глаза сонные, вид отсутствующий. Тарелки, салфетки, драгоценности (за исключением обручального кольца), большая часть одежды — от всего этого она хотела

избавиться.

— Ты и это хочешь продать? — Лейла бережно держала в руках мамин свадебный наряд, каскадом ниспадавший на пол, пощупала кружева и ленты, дотронулась до мелких жемчужинок на рукавах.

Пожав плечами, мама забрала у дочки свое брачное убранство и решительно бросила в кучу — словно лейкопластырь одним движением сорвала.

Самое тяжелое задание выпало на долю Баби.

Лейла зашла к нему. Отец неподвижно стоял посреди кабинета и уныло взирал на книжные полки. На Баби была старая футболка с видом Сан-Франциско: от воды поднимается туман и окутывает красные башни моста.

— Знаешь старую шутку? — горько спросил он. — Какие пять книг ты бы взял с собой на необитаемый остров? Вот уж не думал, что и мне доведется решать похожую задачу.

— Мы соберем тебе новую библиотеку, Баби.

— Угу, — печально улыбнулся отец. — Никак не могу поверить, что покидаю Кабул. Здесь я учился, здесь начал работать, здесь родились мои дети. Как странно, что скоро мне будут светить уже другие звезды.

— Мне это тоже очень странно.

— У меня из головы не идет поэма о Кабуле, которую Саиб Табризи^[43] сочинил еще в семнадцатом веке. Когда-то я знал ее всю наизусть. А сейчас вертятся и вертятся две строчки:

*На крышах города не счесть зеркальных лун,
Сиянье тысяч солнц за стенами сокрыто.*

Лейла увидела, что отец плачет.

— Баби, не надо. Мы обязательно вернемся. Иншалла, война кончится, и мы вернемся в Кабул. Вот увидишь.

На третий день Лейла взялась с утра перетаскивать узлы к калитке. Потом надо будет поймать такси и отвезти все барахло скупщику.

Тюк за тюком, кипа за кипой, коробка за коробкой. Туда — обратно, туда — обратно. К середине дня она бы точно вымоталась до предела (груда вещей была уже по пояс высотой), если бы не сознание того, что чем расторопнее она будет, тем скорее они увидятся с Тариком.

— Нам понадобится большое такси, — слышался мамин голос.

Лейла подняла голову — мама, облокотившись на подоконник, выглядывала из окна дочкиной спальни, солнце играло в ее седеющих волосах, высвечивало каждую морщинку на постаревшем, исхудалом лице. На маме было то же голубое платье, что и на торжественном ужине четыре месяца назад, платье скорее для юной девушки. Как мама изменилась! Иссохшие руки, запавшие виски, круги под глазами — ничего общего с пухленькой круглолицей женщиной, радостно улыбавшейся со свадебных фотографий.

— Два больших такси! — крикнула в ответ Лейла.

Баби в гостиной укладывал штабелями коробки с книгами — его Лейла тоже видела.

— Когда закончишь, иди в дом, — велела мама. — Пообедаем. Крутые яйца и остатки бобов.

— Мое любимое! — весело сказала Лейла.

Ей вдруг вспомнился сон. Она и Тарик на берегу моря. Океан. Ветер. Дюны.

Какой голос был у певучих песков?

Из трещины в земле выбралась серая ящерица, повертела головой, покачалась из стороны в сторону и шмыгнула под камень.

Перед Лейлой простирался пляж. Звук был отчетливо слышен, он нарастал, делался все выше и громче, заливал уши, заполнял все вокруг. Чайки беззвучно разевали клювы, прибой бесшумно накатывался на берег. Пески пели. Вопили истошным голосом.

На что походил этот звук? На гул?

Нет. Ничего подобного. На свист.

Книги вывалились у Лейлы из рук. Прикрыв глаза рукой, она посмотрела на небо.

И тут грянул взрыв.

У нее за спиной вспыхнуло белое пламя.

Земля ушла из-под ног.

Что-то горячее и страшное навалилось на нее сзади, приподняло и швырнуло вперед. Кувыркаясь в воздухе, она видела то небо, то землю. На нее сыпались горящие деревяшки, рушилось битое стекло, каждый осколочек сверкал на солнце, и крохотные радуги плясали вокруг.

А потом Лейла ударилась о стену и осталась лежать. Дождь из пыли, гравия и мелких обломков пролился на нее. Последнее, что она видела, был валяющийся на земле большой кусок кровавого мяса, завернутый в обрывок ткани. На клочке материи из тумана проступал красный мост с башнями.

Вокруг вертятся тени. С потолка мерцает свет. Из сумерек выплывает женское лицо и парит над ней в воздухе.

Тьма окутывает Лейлу.

Еще одно лицо, на этот раз мужское. Унылое какое-то. Губы шевелятся, а ничего не слышать. Все заглушает звон.

Мужчина машет рукой. Хмурится. Опять шевелит губами.

Очень больно. И дышать больно. Все болит.

Стакан воды. Розовая таблетка.

Беспросветная тьма.

Снова женщина. Длинное лицо, сощуренные глаза. Она что-то говорит. Но в ушах только звон. Правда, Лейла теперь может видеть слова, они черной жижей вытекают у женщины изо рта.

Грудь болит. Руки-ноги болят.

В глазах все вертится.

Где Тарик?

Почему его нет рядом?

Тьма. Звезды россыпью.

Баби и Лейла где-то высоко-высоко. Он указывает ей на ячменные поля. Надрывно трещит пусковой двигатель дизель-генератора.

Длиннолицая смотрит на нее сверху вниз.

Дышать больно.

Где-то играют на аккордеоне.

Опять розовая пилюля.

И тишина. Всепоглощающая тишина.

Часть третья

Часть
третья

Мариам

— Ты меня не узнаешь?

Ресницы у девчонки затрепетали.

— Ты помнишь, что произошло?

Она шевелит губами. Закрывает глаза. Сглатывает. Касается рукой левой щеки. Чуть слышно шепчет что-то.

Мариам наклоняется ближе.

— Ухо, — шелестит девчонка. — Оно ничего не слышит.

Первую неделю она только и делала, что спала — действовали купленные Рашидом в госпитале розовые пилюли, — бормотала во сне, вскрикивала, называла какие-то незнакомые имена, иногда плакала и металась. Мариам даже приходилось ее удерживать. Бывало, ее бесконечно рвало, вся пища извергалась обратно.

Мрачный взгляд поверх одеяла, односложные ответы, что бы ни спросили Мариам или Рашид, — такой она была, когда бодрствовала. Начнешь кормить — мотает головой и плюется. Правда, надолго ее не хватало — капризы быстро сменялись слезами.

Порезы на лице и на шее, швы на израненных руках и ногах Рашид велел смазывать дезинфицирующей мазью. Повязки Мариам регулярно стирала. Когда девчонку тошнило, Мариам приходилось придерживать ее, откидывать волосы у нее с лица.

— Сколько она у нас пробудет? — спросила Мариам у Рашида.

— Пока не поправится. Ты на нее только посмотри. Ну куда она теперь пойдет, бедняжка?

Из-под груды обломков девчонку откопал Рашид.

— Счастье, что я был дома. Твое счастье, — уточнял он, сидя рядом с ее кроватью. — Я отрыл тебя голыми руками. Вот такой кусок металла, — большим и указательным пальцами Рашид показывал размеры (раза в два больше, чем на самом деле, подумала Мариам), — торчал у тебя из плеча. Я уж думал, клещами вытаскивать придется. Но теперь все в порядке. Еще чуть-чуть — и ты поправишься, будешь *нау соча*. Как новенькая.

Рашид приволок несколько книг из библиотеки Хакима — все, что сохранилось.

— Очень много книг сгорело. Да и растащили порядочно, по-моему.

В первую неделю муж был сама доброта — то принесет подушку и одеяло, то пузырек с пилюлями. Витамины, говорит.

Это Рашид сообщил Лейле, что в доме ее приятеля Тарика теперь новые жильцы.

— Ничего себе подарочек. Один из командиров Сайафа очень щедр к своим людям. Такой дом для троих.

Трое мальчишек с дочерна обгоревшими на солнце лицами, в неизменном камуфляже, — вот кто были эти *свои люди*. Они часто попадались на глаза Мариам — курили во дворе и у калитки, прислонив свои автоматы к стене, играли в карты. Главный — немножко постарше и покрепче — важничал, держал себя заносчиво, а тихоня младший, как видно, еще не научился — всегда при встрече кланялся Мариам, улыбался и говорил «салам». Вся его напускная воинственность при этом слетала.

И вот однажды утром в дом угодила ракета. Потом ходили слухи, что стреляли хазарейцы из «Вахдата». Парней разорвало на кусочки и раскидало по окрестностям.

— К тому и шло, сами виноваты, — заключил Рашид.

Девчонке повезло, что так дешево отделалась, думала Мариам. Ведь ее дом разнесло в пыль. А сейчас она потихоньку шла на поправку — ела понемножку, сама мылась, сама расчесывала себе волосы, ужинала внизу вместе с Рашидом и Мариам. Конечно, подступала слабость, кружилась голова, тошнило. По ночам снились кошмары. И от приступов отчаяния было никуда не деться.

— Я занимаю чужое место, — вырвалось как-то у нее.

Мариам меняла белье. Девчонка сидела на полу, поджав синие коленки к подбородку. Глаза ее были полны ужаса.

— Отец хотел вытащить на улицу коробки с книгами, сказал, они для меня слишком тяжелые. Но я ему не дала — мне все хотелось сделать самой. И оказалась не в доме, а во дворе.

Мариам постелила свежую простыню и глянула на девчонку — на ее светлые кудряшки, зеленые глаза, высокие скулы и пухлые губы. Она помнила ее маленькой: вот крошка семенит вслед за матерью в пекарню, вот едет на закорках у брата — младшего, с завитком волос над ухом, — вот играет в шарики с мальчишкой плотника...

А теперь она, похоже, ждала, чтобы ее утешили. Но какие мудрые

слова могла ей сказать Мариам, чем ободрить? Когда хоронили Нану, даже мулле Фатхулле нечем оказалось успокоить Мариам. А ведь он цитировал Коран: «Благословен тот, в руках которого власть и который властен над всякой вещью, который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям, — Он велик, прощающ!» Мулла Фатхулла увещевал ее: «Это пагубные мысли. Слышишь меня, Мариам-джо? Дурные, пагубные. Они несут муку. Вины на тебе нет».

Что сказать девчонке, как облегчить ее страдания, снять груз с плеч?

Но говорить ничего не пришлось.

— Мне плохо. Тошнит, — прохрипела горемыка, становясь на четвереньки.

— Стой! Потерпи немного. Сейчас принесу таз. Пол-то я только что вымыла... О Господи... Господи...

Миновал месяц.

Однажды кто-то постучался к ним в дом.

Мариам открыла.

На пороге стоял мужчина. Он представился и сказал, кто ему нужен.

— Это к тебе! — крикнула Мариам.

Лейла оторвала от подушки голову.

— Его зовут Абдул Шариф.

— Я ни с кем таким не знакома.

— Он спрашивает тебя. Спустись вниз и поговори с ним.

Лейла

Лейла сидела напротив Абдула Шарифа, крошечного человечка с рябым лицом и пористым носом картошкой. Короткие каштановые волосы дыбом стояли у него на голове, словно воткнутые в подушечку иголки.

— Прости меня, хамшира. — Мужчина расстегнул воротник рубашки и вытер лоб носовым платком. — Похоже, я не до конца поправился. Еще бы дней пять попринимать эти... как их... сульфамиды.

Лейла постаралась сесть так, чтобы правое ухо было повернуто к говорившему.

— Вы друг моих родителей?

— Нет, нет, — заторопился Абдул Шариф. — Прости меня. — Он напился из стакана, поставленного перед ним Мариам, и поднял палец.

— Мне лучше начать с самого начала. — Он опять вытер лоб. — Я предприниматель, у меня несколько магазинов с одеждой, в основном мужской. Тюмбаны, чапаны, шапки, костюмы, галстуки — такого рода товар. Две лавки здесь, в Кабуле, в районах Таймани и Шаринау, впрочем, я их уже продал. И два магазина в Пакистане, в Пешаваре. Склад у меня тоже там. Так что я много езжу туда-сюда. А в наше время, — он устало хохотнул, — это, скажем так, целое событие.

Недавно я был в Пешаваре по делам — провел инвентаризацию, набрал заказов, всякое такое. С семьей повидался. У меня трое дочерей. Когда моджахеды вцепились друг другу в глотку, я своих женщин перевез в Пакистан: не хочу их безвременной гибели. Да и сам не тороплюсь на тот свет. Скоро переберусь к ним.

В общем, в позапрошлую среду мне надо было быть в Кабуле. Но я умудрился заболеть. Не буду утомлять тебя подробностями, хамшира, скажу только, что когда отправился «по-маленькому», мне показалось, что внутри я весь набит битым стеклом. Самому Хекматьяру не пожелаю такого. Моя жена, Надя-джан, да благословит ее Аллах, умоляла меня сходить к доктору. Но я подумал, надо принять аспирин и выпить побольше воды. Надя-джан меня уговаривала, а я все отказывался. Знаешь, дурной голове нужна твердая рука. На этот раз дурная голова не послушалась.

Он осушил стакан и протянул Мариам:

— Еще налей, пожалуйста, если не составит труда.

Мариам ушла за водой.

— Само собой, мне надо было последовать ее совету. Здравый смысл всегда был на ее стороне, да продлит Господь ее лета. Когда я все-таки попал в госпиталь, меня всего трясло, такой меня пробирал озноб. Я с трудом на ногах стоял. Доктор сказал, у меня заражение крови. Еще два-три дня — и Надя-джан осталась бы вдовой.

Поместили меня в отделение интенсивной терапии, где лежат только те, кто очень серьезно болен. О, благодарю. *Ташакор*. — Абдул Шариф взял у Мариам стакан и достал из кармана гигантскую белую таблетку. — Вот ведь здоровая какая.

Лейла, задыхаясь, смотрела, как он кладет себе таблетку в рот и запивает водой. К ногам у нее словно кто гири привязал. Не надо так волноваться, он ведь еще ничего плохого не сказал, убеждала она себя. Ну а как скажет?

Если бы ноги ей повиновались, она бы вскочила и убежала.

Абдул Шариф отставил пустой стакан.

— Вот там-то я и познакомился с твоим приятелем, Мохаммадом Тариком Вализаи.

Сердце у Лейлы бешено заколотилось. Так Тарик в госпитале? В отделении, где лежат только самые тяжелые больные?

С внезапно пересохшим ртом Лейла привстала со своего места.

Нет, распускаться нельзя, сказала она себе. Прочь мысли о больницах и умирающих. Вспомни лучше, ты ведь единственный раз в жизни слышала полное имя Тарика. Это было давно, когда вы записались на зимние курсы углубленного изучения фарси. Учитель тогда делал переключку и произнес: Мохаммад Тарик Вализаи. Прозвучало ужасно официально, даже смешно стало.

— О том, что с ним случилось, мне рассказала медсестра. — Абдул Шариф стучал себя в грудь кулаком, чтобы пилюля проскочила. — Я столько времени провел в Пакистане, что язык урду для меня уже как родной. Как я понял, они вместе с другими беженцами ехали на грузовике (всего двадцать три человека) и невдалеке от границы попали под перекрестный обстрел. В машину угодила ракета, случайно или специально, не поймешь. Семнадцать человек убило, а шестерых положили в госпиталь, в одно отделение. Трое через сутки умерло. Две девушки, сестры, оказались целы и невредимы, их почти сразу выписали. А господин Вализаи, твой друг, остался в госпитале. К тому времени, как меня положили, он находился в палате уже три недели.

Значит, он живой. А как тяжело он ранен? Наверное, тяжело, если до сих пор в больнице.

Лейле стало жарко, она вся облилась потом. Не думать, не думать о плохом. Вот они ездили с Тариком и Баби в Бамиан посмотреть на гигантских Будд...

Но вместо статуи Лейла увидела перевернутый грузовик, дым и маму Тарика в пылающем парике, отчаянно зовущую сына...

У Лейлы перехватило горло.

— Его койка стояла рядом с моей. Никаких стенок, нас разделяла только штора. Мне было хорошо его видно.

Абдул Шариф зачем-то принялся вертеть обручальное кольцо на пальце. Речь его стала медленной.

— Твой приятель, он был тяжело ранен, очень тяжело. Резиновые трубки торчали из него во все стороны. Сперва... — коротышка откашлялся, — сперва я думал, ему оторвало обе ноги. Но потом сестра сказала мне, что левую ногу он потерял еще в детстве. Внутренние повреждения тоже были обширные. Его трижды оперировали, вырезали часть кишечника и... не помню, что еще. И он весь обгорел. Пожалуй, хватит об этом. Ты уже достаточно повидала на своем веку, хамшира, с тебя довольно своих кошмаров.

У Тарика нет ног. Только туловище и две культы. Он *безногий*. Она отчаянно старалась изгнать страшный образ, оказаться подальше от этого человека, заблудиться в лабиринте улиц, переулочков, торжищ, песчаных замков...

— Ему все время вводили обезболивающие, он был постоянно одурманен. Но когда наркотики перестают действовать, а новых еще не ввели, какое-то время голова чистая. И я разговаривал с ним. Сказал, кто я такой, откуда родом. Думаю, он обрадовался, что рядом с ним земляк, *хамватан*.

В основном говорил я. Ему, наверное, даже губами шевелить было больно. Я рассказал ему про своих дочек, про наш дом в Пешаваре, про веранду, которую мы с шурином пристраиваем. Я рассказал ему, что продал свои лавки в Кабуле, но что мне надо вернуться, чтобы оформить, как полагается, документы. Дела житейские, но мои речи хоть как-то его развлекали. По крайней мере, мне хочется так думать.

Иногда говорил он. Половины слов было не разобрать, но кое-что я уловил. Он рассказывал про свой дом, про своего дядю из Газни, про то, как его мама хорошо готовит, как отец играет на аккордеоне.

Но по большей части он говорил про тебя, хамшира. Он сказал, ты — как же он выразился? — самое раннее его воспоминание. По-моему, ты кое-что значила в его жизни. Это бросалось в глаза. Но он был рад, что тебя нет рядом. Он не хотел, чтобы ты видела его таким.

Ноги у Лейлы опять налились тяжестью, с места не сдвинуться. Но мысли ее были далеко, за Кабулом, за коричневыми каменистыми холмами, за поросшими полынью степями, за ущельями и заснеженными вершинами...

— Когда я сказал ему, что еду в Кабул, он попросил разыскать тебя. Передать, что он постоянно думает о тебе, что скучает. Я обещал. Понимаешь, он мне очень понравился. Хороший парень, настоящий мужчина.

Абдул Шариф вытер лоб носовым платком.

— Однажды я внезапно проснулся, — он опять принялся вертеть кольцо на пальце, — и подумал, что еще ночь. Там не поймешь, рассвет или закат, окон-то нет. Просыпаюсь — и вижу, суeta какая-то в палате. Я ведь тоже был на наркотиках, пойми, и не всегда мог отличить явь от сна. Помню, доктора столпились вокруг его койки, то одно им подай, то другое, слышны тревожные звонки, весь пол усеян использованными шприцами... Утром соседняя койка была пуста. Я спросил сестру. Она сказала: парень мужественно боролся. Отдал все силы.

Сквозь застилавший глаза туман Лейла увидела, что он кивает. Она все поняла. Все-все-все. Как увидела этого человека, так и поняла, с какими вестями он прибыл.

— Поначалу я думал, тебя и на свете-то нет, ты его фантазия, под морфием чего не привидится. Может, я даже надеялся про себя, что ты не существуешь. Терпеть не могу приносить людям дурные вести. Но я ему обещал. И потом, я его полюбил, о чем уже сказал. Прибываю несколько дней назад в Кабул, расспрашиваю о тебе. Соседи указывают на этот дом и рассказывают об ужасном несчастье, постигшем твоих родителей. Ну, думаю, надо поворачивать оглобли. Ну как ей сказать? Такое горе — это уж чересчур. Кого угодно свалит с ног.

Абдул Шариф положил ладонь Лейле на коленку.

— Но я вернулся. Такова была бы его воля. Он бы точно захотел, чтобы тебе все рассказали. Я в этом убежден. Ты уж прости...

Лейла больше не слушала. Перед глазами у нее стояли чужой человек из Панджшера, сообщивший о смерти Ахмада и Ноора, белое лицо Баби, зажимающая ладонью рот не одетая мама. Настоящее горе прошло тогда мимо Лейлы, душа ее осталась глуха. И вот опять чужак, опять смерть. Что

это, как не кара за равнодушие к страданиям мамы?

Мама тогда рухнула на землю, закричала, принялась рвать на себе волосы.

А Лейле не пошевелиться. Ее словно разбил паралич, не двинуть ни рукой, ни ногой.

И Лейла осталась сидеть, где была. Руки ее смирно лежали на коленях, взгляд был устремлен в никуда. В душе у нее зеленели ячменные поля, журчали ручьи, липли к лицу нити бабьего лета, и живой Баби читал под акацией книгу, и живой Тарик дремал, сцепив руки на груди, и ноги ей омывала вода, и в голове чуть шевелились сладкие мечты, и на все безучастно взирали древние боги, вытесанные из сожженных солнцем скал...

— Соболезную, — сказал Рашид девчонке, принимая из рук Мариам миску с маставой и не глядя на жену. — Знаю, вы были близкими друзьями. Всегда вместе, с самых первых лет жизни. То, что случилось, ужасно. Столько молодых афганцев гибнет сейчас вот так.

Не сводя глаз с девчонки, Рашид нетерпеливо дернул рукой, и Мариам подала мужу салфетку.

Столько лет она вот так смотрела, как он ест, двигает челюстями, уминает одной рукой рис в шарики, отправляет в рот, тыльной стороной другой руки вытирает губы. Столько лет он ел, не утруждая себя разговорами, не поднимая от еды глаз, буркнет только что-то неодобрительное, недовольно щелкнет языком, рыкнет «еще воды» или «еще хлеба»...

Теперь он ел ложкой. Пользовался салфеткой. Говорил «пожалуйста». И разговаривал. Болтал, не смолкая.

— Американцы зря вооружили в восьмидесятых Хекматъяра, вот что я вам скажу. ЦРУ поставило ему целую гору оружия для борьбы с Советами. Советы ушли, а оружие осталось. И этот злодей обратил его против невинных людей, вроде твоих родителей. Тоже мне «джихад»! Насмешка одна! Разве можно убивать женщин и детей? Лучше бы ЦРУ вооружило командующего Масуда.

Брови у Мариам сами поползли вверх. «Командующий Масуд»? Не его ли Рашид поносил последними словами, не он ли ходил у мужа в предателях и коммунистах? Ах да, Масуд ведь по национальности таджик. Как сам Рашид. И как Лейла.

— Вот вам человек, достойный всяческого уважения. Настоящий афганец. Он ведет дело к миру.

Рашид вздыхал и дергал плечом.

— Американцы не очень-то нами интересуются. Им дела нет до того, что пуштуны, хазарейцы, таджики и узбеки убивают друг друга, они и не отличают одну национальность от другой. Помощи от американцев ждать не приходится. Теперь, когда Советы рухнули, американцам на нас наплевать. Мы свое дело сделали, и теперь Афганистан для них просто

кенараб, грешная дыра. Извиняюсь за грубость, но это так. Что скажешь, Лейла-джан?

Девчонка пробормотала что-то непонятное, катая фрикадельку по миске.

Рашид глубокомысленно кивнул в ответ, словно услышал слова мудрости. Мариам отвернулась.

— Знаешь, мы часто разговаривали про политику с твоим отцом, да покоится он с миром. Еще до твоего рождения. И про книги часто беседовали. Правда, Мариам? Помнишь?

Мариам припала к стакану с водой.

— Надеюсь, я тебе не очень надоедаю своей политикой?

После ужина, когда Мариам принималась за мытье посуды, из глубины души у нее поднималась обида.

Дело было не в том, что он говорил, не в явной лживости его слов, не в деланном сочувствии и даже не в том, что с того дня, как Рашид выкопал девчонку из-под развалин, он пальцем не тронул Мариам.

Дело было в обдуманности, намеренности происходящего. Он явно пытался произвести впечатление. Понравиться. Очаровать.

Мариам окончательно уверилась: ее подозрения обоснованны. Это он так обхаживает женщину, с ужасом поняла она вдруг. Никак иначе его поведение не объяснить.

Набравшись храбрости, Мариам зашла в комнату к Рашиду.

Он курил, лежа на постели.

— А почему бы и нет? — спросил он мирно.

Мариам была сражена наповал.

Все-таки она смутно надеялась, что он будет все отрицать, изобразит удивление, разозлится. Тогда бы преимущество было на ее стороне, и она могла бы попробовать пристыдить его, вдруг бы получилось. А его спокойное признание, деловой тон обезоружили ее.

— Садись, — предложил Рашид. — А то еще грохнешься в обморок и разобьешь себе голову.

Мариам опустилась на стул рядом с кроватью.

— Передай-ка мне пепельницу.

Мариам послушно передала.

Мужу сейчас было уже, наверное, за шестьдесят — хотя точный его возраст был неведом не только Мариам, но и самому Рашиду. Его жесткие волосы давно уже поседели (но по-прежнему густы), шея покрылась морщинами, под глазами залегли мешки, щеки чуть-чуть запали. Со сна он

по-стариковски сутулился. Но могучие плечи, широкая грудь, сильные руки, массивное брюхо никуда не делись.

Вообще Мариам казалось, что бремя прожитых лет тяготит его куда меньше, чем ее саму.

— Надо, чтобы все было как полагается, законно, — игриво ухмыльнулся Рашид, пристраивая пепельницу себе на живот. — Что скажут люди? Какой срам, незамужняя молодая женщина у меня в доме! А как же мое доброе имя? А ее честь? Да и твоя, кстати сказать.

— За восемнадцать лет, — сказала Мариам, — я никогда тебя ни о чем не попросила. А сейчас прошу.

Он затянулся и медленно выдохнул дым.

— Она не может просто *жить* здесь, если ты об этом. Я не могу позволить себе кормить ее, одевать и давать крышу над головой. Мариам, я — не Красный Крест.

— Но как же...

— Что «как же»? Ну, что? Она слишком юная, по-твоему? Ей четырнадцать лет. Не девочка уже. Тебе самой было пятнадцать, помнишь? Моя мать родила меня в четырнадцать лет. А в тринадцать вышла замуж.

— Я... я не хочу, — горестно пролепетала Мариам.

— Не тебе решать.

— Старовата я...

— Она — чересчур молода, ты — слишком стара. Что за чушь.

— Старовата я для таких перемен. — Мариам сжала кулачки, да так, что руки затряслись. — После стольких лет ты выставляешь меня на посмеище.

— Не преувеличивай. Все так делают, и ты прекрасно об этом знаешь. У меня есть друзья, у которых по три-четыре жены. Да у твоего отца было три жены! На моем месте любой давно бы уже... взял себе еще.

— Я не даю своего согласия.

Рашид мрачно ухмыльнулся:

— Есть и другая возможность. Пусть убирается на все четыре стороны. Не буду ей мешать. Только далеко ли она уйдет? Без еды, без воды, без гроша в кармане, да еще под пулями. А ракетные обстрелы? Да если бы их и не было, все равно ее моментально похитят, изнасилуют, перережут горло и кинут в кювет! Так будет лучше?

Он кашлянул и поправил подушку у себя за спиной.

— На всех дорогах полно злодеев и бандитов. Уж они своего не упустят. И даже если случится чудо и она доберется до Пешавара, что ждет ее там? Ты представляешь себе, что такое лагерь для беженцев? Люди

живут в картонных коробках. Голод, уголовщина, чахотка и понос. А зима не за горами. Схватить там воспаление легких — раз плюнуть. Люди до смерти замерзают, в сосульки превращаются.

Рашид плавно повел рукой.

— Ну, правда, в публичных домах тепло. Их в Пешаваре полно. Процвetaют, как я слышал. На такой красоте, как она, хозяин заработает кучу денег. Или ты другого мнения?

Он переставил пепельницу на тумбочку и спустил ноги с кровати.

— Послушай, — интонация у него была умиротворяюще-снисходительная, — я знал, что ты будешь против. Я тебя не осуждаю. Но ты же сама видишь, что получается. Поверь, так будет лучше. У тебя появится помощница по дому, а у нее — убежище. Дом и муж — большое дело, особенно в наше время. Видела, сколько вдов ночуют на улице? Да за то, чтобы заполучить спутника жизни, они убить готовы! Если подумать, это такой бескорыстный, благородный поступок с моей стороны! — Он осклабился. — Ей-ей, хоть медаль давай!

Когда стемнело, Мариам сказала девчонке о предложении мужа.

Та долго молчала.

— Он хочет получить ответ завтра к утру, — напомнила Мариам.

— Да хоть сейчас, — проговорила девчонка. — Я согласна.

Лейла

На следующий день Лейла не вставала с постели. Утром Рашид заглянул к ней и сообщил, что идет к парикмахеру, но Лейла лишь поплотнее завернулась в одеяло. Когда он вернулся во второй половине дня и продемонстрировал ей новую прическу, новый (чуть поношенный) костюм в полоску и обручальное кольцо, она все еще лежала.

Рашид присел на кровать рядом с ней, нарочито медленно развязал ленточку, открыл коробку и осторожно достал кольцо. Оказалось, ему пришлось продать старое колечко Мариам.

— Ей все равно. Уж ты мне поверь. Она даже не заметит.

Лейла отодвинулась от него подальше. Снизу доносилось шипение утюга.

— Она давно уже его не надевает.

— Не надо, — слабеньким голосом запротестовала Лейла. — Не хочу так. Отнеси кольцо обратно.

— Обратно? — По лицу Рашида пробежала тень раздражения и исчезла. Он улыбнулся. — За кольцо мне пришлось доплатить наличными, и немало. Это кольцо получше того будет, как-никак золото в двадцать два карата. Смотри, какое тяжелое. Возьми. Не хочешь? — Он захлопнул коробочку. — А как насчет цветов? Ты любишь цветы? А какие у тебя любимые? Маргаритки? Тюльпаны? Сирень? Не надо цветов? Хорошо! Прямо и не знаю, чем тебе угодить. Мне знаком один портной в Дих-Мазанге, думаю завтра отвести тебя к нему и выбрать подходящее платье.

Лейла покачала головой.

Рашид поднял брови.

— Я только хочу... — начала было Лейла и осеклась.

Он положил руку ей на шею. Лейла невольно вся сжалась, словно от прикосновения старой грубой дерюги.

— Да?

— Я только хочу проверить все поскорее.

Рашид изумленно открыл рот, обнажив желтые зубы.

— Вот ведь не терпится, — только и сказал он.

Пока не явился Абдул Шариф, Лейла думала уехать в Пакистан. Даже когда он ей все рассказал, она не рассталась с мыслью убраться отсюда. Куда угодно, только бы подальше от этого города, где каждая улица превратилась в западню, где в каждом закоулке тебя подстерегает несчастье. Как угодно, пусть даже это очень опасно.

И тут оказалось, что выхода у нее нет.

Ведь ее так тошнило.

И груди прямо распирало изнутри.

И все сроки вышли. Суматоха суматохой, но она бы заметила.

Лейла представила себя в лагере беженцев, драные палатки посреди чистого поля, пронизывающий до костей ветер. И своего малыша — ребенка Тарика, — посиневшего, с ввалившимися щеками. Вот его тельце обмывают чужие люди, заворачивают в тряпку и кладут в грязную яму под разочарованными взглядами стервятников...

И Лейла поняла: бежать ей некуда.

Она перебирала в памяти друзей и близких. Ахмад и Ноор — мертвы. Хасина — уехала. Джити — разорвана на куски. Мама — погибла. Баби — погиб. И вот теперь Тарик...

Но тоненькая ниточка, чудесным образом связывающая ее с прежней жизнью, с прежней *Лейлой*, крохотная частичка Тарика, — осталась. И она будет расти и в назначенный срок явится на свет. Разве могла Лейла погубить завязь новой жизни, разорвать паутинку между прошлым и будущим?

Она приняла решение быстро. С их последнего свидания с Тариком прошло шесть недель. Еще чуть-чуть — и у Рашида появятся подозрения.

Да, то, что она собирается сделать, недостойно. Постыдно. Позорно. И несправедливо по отношению к Мариам. Но хотя ребенок в ней был не больше тутовой ягоды, Лейла уже знала: матери приходится жертвовать многим. А уж добродетелью в первую очередь.

Она прижала руку к животу и закрыла глаза.

Безмолвная церемония потом вспоминалась Лейле урывками, кусочками.

Кремовые полоски на костюме Рашида. Резкий запах его одеколона. Свежий порез от бритвы на шее. Желтые от табака пальцы вертят кольцо. Ручка не пишет, срочно нужна другая. Брачный договор. Подписи: его — уверенная, ее — дрожащая. Молитвы. Зеркало (в нем она впервые замечает, что Рашид подровнял брови).

И где-то рядом Мариам, полная осуждения. Лейла не может смотреть

ей в глаза.

Лежа в ту ночь на холодных простынях его кровати, Лейла с дрожью смотрела, как Рашид задергивал занавески, нетерпеливо расстегивал рубаху, распускал завязку на штанах. Пальцы его не слушались. Какая у него отвислая грудь, как густо она заросла седыми волосами, как торчит у него пупок с голубой веной посередине! А глаза так и ласкают молодую жену.

— Да поможет мне Бог, я люблю тебя! — бормотал Рашид.

Постукивая зубами, она попросила его выключить свет.

Когда все кончилось и Рашид уснул, Лейла нашарила под тюфяком заранее припасенный нож, ткнула себя в указательный палец и прижала руку к простыне.

Мариам

Днем девчонка была для Мариам скрипом кровати, звуками шагов над головой, плеском воды в ванной, звяканьем ложечки о стакан. Они ведь почти не виделись: так, иногда пронесется по лестнице смутная волна и скроется наверху. Правда, порой они случайно сталкивались нос к носу — в узкой передней, в кухне, у входной двери, — и тогда между ними словно искра проскакивала. Девчонка подбирала платье и извинялась, а Мариам молча наблюдала, как разгорается румянец у нее на щеках. Случалось, от Лейлы пахло Рашидом — его потом, его табаком, его ненасытностью. В жизни самой Мариам давным-давно уже не было места плотской любви, чему она была только рада. До сих пор ее подташнивало при одном воспоминании о супружеском долге, каким его представлял себе Рашид.

По вечерам избегать друг друга не получалось. Рашид сказал, что они — одна семья, а значит, должны трапезничать вместе.

— Что это такое? — ворчал он, пальцами обдирая мясо с кости (ложкам-вилкам была дана полная отставка через неделю после свадьбы). — Я что, женился на двух статуях? Ну-ка, Мариам, *gap безан*, заговори с ней. Так себя не ведут.

И девчонке, высасывая из кости мозг:

— Ты ее не вини. Она тихая, неразговорчивая. Слава Аллаху, слов зря не тратит. Мы-то с тобой горожане, а она — деревенщина. В глинобитной хижине выросла, да не в самой деревне, а на выселках. Ее туда родной отец определил. Кстати, Мариам, ты ей сказала, что ты харами? Незаконнорожденная она. Но вообще-то у нее есть и свои сильные стороны. Да ты сама увидишь. Работящая, неприхотливая. Я бы так сказал: если сравнивать с машинами, из нее бы получилась «Волга».

Мариам было тридцать три года, но гадкое слово «харами» по-прежнему причиняло ей боль. Она хорошо помнила, как Нана схватила ее за руки, помнила ее слова. «Мерзавка неуклюжая. Вот мне награда за все, что я перенесла. Все у этой маленькой *харами* из рук валится».

— А ты, — сказал Рашид девчонке, — просто «мерседес». Новенький сверкающий «мерседес». Только, — он поднял перемазанный в жире указательный палец, — за «мерседесом» нужен уход. Хотя бы из уважения

к красоте машины и искусству производителя. Кто-нибудь может сказать: сумасшедший, *дивана*, жены для него вроде автомобилей. Только я ведь не всерьез. Просто сравнение уж очень удачное.

И Рашид положил обратно на тарелку шарик риса, который только что скатал. Взмахнул рукой.

— О мертвых плохо не говорят, тем более о шахидах. Так что скажу со всем моим уважением: они, то есть твои родители (да простит их Аллах и даст место в раю), очень уж много тебе позволяли. Извини за прямоту.

От Мариам не ускользнуло, с какой ненавистью девчонка взглянула на Рашида. Сам-то он ничего не заметил.

— Это все теперь неважно. Главное, я твой муж и обязан блюсти не только твое доброе имя, но и *наше*, то есть честь и гордость нашей семьи. Это мой долг. И я об этом позабочусь. Ты ведь — царица, *малика*, а этот дом — твой дворец. Мариам выполнит любое твое пожелание, только попроси. Ведь так, Мариам? А если взбредет на ум что-нибудь особенное, я все сделаю. Такой вот из меня муж. Взамен прошу только об одном. Не смей выходить из дому без меня. Только и всего. Просто, правда? Если тебе срочно понадобится что-то, без чего *никак* не обойтись, пошли Мариам, она сходит и принесет. У меня к вам разное отношение? Так ведь одно дело — управлять «Волгой», и совсем другое — «мерседесом». И еще вот что. Когда мы вместе выйдем из дома, обязательно надевай бурку. Это для твоей же безопасности. В городе полно мужчин, которых снедает похоть. Им порой все равно, есть у женщины муж или нет. Так-то.

Рашид откашлялся.

— Когда меня нет, Мариам будет моими глазами и ушами. — Он свирепо посмотрел на Мариам, будто подкованным башмаком в висок ударил. — И не потому, что я тебе не доверяю. Как раз наоборот. Ты вообще мудра не по годам. Но ты все-таки очень молоденькая, Лейла-джан, а юные женщины нередко ошибаются. Недоглядел — жди беды. А уж Мариам ничего дурного не допустит. А ошибешься — поправит...

Рашид говорил еще долго.

Мариам сидела и краешком глаза наблюдала за девчонкой. Поучения и требования сыпались на них дождем, словно ракеты на Кабул.

Мариам в гостиной сворачивала и складывала высохшее белье, только что снятое с веревки во дворе. Когда девчонка вошла в комнату, Господь ее знает. Оглянулась — а Лейла стоит в дверях с чашкой чая в руках.

— Я не хотела тебя пугать. Извини.

Мариам ничего не сказала в ответ. Только смирила девчонку взглядом.

Солнечные лучи падали Лейле на лицо: гладкий лоб, зеленые глаза, высокие скулы, густые брови (не то что у Мариам, жидкие и неправильной формы), светлые волосы разделены на пробор.

По напряженным рукам, по пальцам, вцепившимся в чашку, Мариам сразу определила: девчонке не по себе. Наверное, долго сидела на кровати и набиралась храбрости.

— Листопад, — нарочито легким тоном произнесла Лейла. — Заметила? Осень — мое любимое время года. Обожаю запах дыма из садов, где жгут опавшие листья. Мама — та больше любила весну. А ты хорошо знала маму?

— Не очень.

Девчонка приставила ладонь к уху.

— Прости, не расслышала?

— Мы были едва знакомы, — повысила голос Мариам.

— А-а-а.

— Тебе что-то надо?

— Мариам-джан, я только хотела... Насчет того, что он сказал вчера вечером...

— Я сама хотела поговорить с тобой об этом.

— Да, пожалуйста, — поспешно ответила девчонка. В голосе ее слышалось облегчение. Она сделала шаг вперед.

Во дворе запела иволга. По улице кто-то волочил тележку, стрекотали спицы, хрустели обитые железом колеса. Издали донеслось три выстрела, потом еще один, и все стихло.

— Я не буду твоей прислугой, — отчеканила Мариам. — Не буду, и все.

Девчонка вздрогнула.

— Конечно же нет...

— Какая бы ты ни была царица, помыкать собой я не позволю. Можешь ему жаловаться. Не подчинюсь, хоть бы он мне глотку перерезал. Слышала? Я тебе не служанка.

— Нет! Я как раз хотела сказать...

— Если рассчитываешь от меня избавиться, сыграть на своей красоте, предупреждаю: не выйдет. Я сюда явилась вперед тебя. Меня так просто не выкинешь. Я за себя постою.

— Я и не собиралась...

— Как я погляжу, твои раны зажили. Так что свою часть работы по дому ты сможешь выполнять.

Девчонка быстро закивала, даже чай пролила. Только не заметила.

— Я как раз хотела поблагодарить тебя за заботу обо мне...

— Если бы я только знала, — прошипела Мариам, — что ты уведешь у меня мужа, я бы ни за что не стала тебя кормить и обмывать.

— Да разве...

— На мне кухня и мытье посуды. На тебе — стирка и уборка. Все остальное будем делать по очереди. И вот еще что. Ты ко мне в подружки не набивайся. Я уж лучше одна как-нибудь. Ты меня оставляешь в покое, а я — тебя. Вот так и будем жить. По моим правилам.

Когда Мариам закончила свою речь, сердце у нее колотилось, во рту пересохло. Никогда она ни с кем не говорила в таком тоне, никогда так резко не заявляла о себе. Взрыв гнева вымотал ее, да и не стоила игра свеч: плечи у девчонки поникли, глаза наполнились слезами, даже жалко стало.

Мариам протянула девчонке сложенные рубашки:

— Положи их в комод, не в шкаф. Он любит, чтобы белое было в верхнем ящике, а все остальное — в среднем, вместе с носками.

Лейла поставила чашку на пол и потянулась за бельем.

— Прости меня за все, — всхлипнула она.

— Ты правда виновата передо мной, — сказала Мариам.

Лейла

Лейле припомнился один из светлых для мамы дней. У них собрались гости. Женщины сидели во дворе и ели свежие тутовые ягоды (Ваджма принесла целое блюдо, шелковица росла прямо у нее во дворе). Пухлые ягоды были белые и розовые (а некоторые темно-лиловые, совсем как прожилки у Ваджмы на носу).

— А вы слышали, как умер его сын? — осведомилась Ваджма, набрав с блюда полную горсть.

— Он ведь утонул, правда? — уточнила Нила, мама Джити. — В озере Карга.

— Но вы, наверное, не знаете, что Рашид... — Ваджма набила ягодами рот и принялась энергично жевать, раскачиваясь в разные стороны и кивая: когда, мол, проглочу, тогда продолжу, — Рашид в тот день напился в стельку с утра пораньше. Ничего не соображал, говорят. А потом свалился и уснул. Выстрели у него над головой полуденная пушка, он бы и ухом не повел.

Прикрыв рот рукой, Ваджма тихонько рыгнула.

— Что было потом, догадаться нетрудно. Мальчик полез в воду, когда за ним никто не смотрел. Когда его нашли, он плавал на поверхности воды лицом вниз. Люди бросились на помощь, одни к сыну, другие — к отцу. Мальчика вытащили, пробовали ему сделать... как его?... искусственное дыхание. Бесполезно. Все видели: мальчишка мертв.

Ваджма подняла кверху палец, голос ее благочестиво дрогнул.

— Вот почему Священный Коран запрещает спиртное. Трезвый всегда расплачивается за грехи пьяного. Так всегда и получается.

Лейла сказала Рашиду, что ждет ребенка, — и вся эта картина так и встала у нее перед глазами. Муж вскочил на велосипед и помчался в мечеть — помолиться, чтобы Господь даровал ему сына.

За ужином Рашид с каким-то злорадством объявил о ребенке Мариам. Та заморгала, помрачнела, залилась краской.

Когда муж удалился наверх к своему радио, Лейла помогла Мариам убрать со стола.

— Что-то я понять не могу, кто ты теперь. — Мариам смахивала со

скатерти зернышки риса и хлебные крошки. — Раньше была «мерседесом», а теперь кем стала?

— Наверное, поездом, — постаралась обратить все в шутку Лейла. — Или реактивным самолетом.

— Только не надейся, что тебе удастся увильнуть от работы по дому, — заявила Мариам.

Лейла уже открыла было рот, но вспомнила, что в их семье только на Мариам нет никакой вины.

Впрочем, на ребенке тоже.

Уже лежа в кровати, Лейла расплакалась.

— Что случилось? — взял ее за подбородок Рашид. — Ты не заболела? С ребенком что-то не так? Нет? Мариам тебя обидела? Так ведь?

— Нет, нет.

— Сейчас я ее проучу. Уж я ей задам. Да как она смеет, харами несчастная...

— Нет!

Но Рашид уже поднимался с постели. Лейла еле успела схватить его за руку:

— Не смей! Она очень добра ко мне. Одна минутка, и все пройдет.

Рашид, что-то бормоча про себя, принялся гладить ее по шее, потом рука его соскользнула на спину.

Склонившись над женой, он показал в улыбке зубастую пасть.

— Сейчас тебе точно полегчает, — пообещал он.

Сперва деревья — те, что не спилили на дрова, — сбросили свои багряно-медные листья. Потом задули ветра. Пронизывающе-холодные, они долго бесчинствовали в городе и разделались с деревьями по-свойски, не оставив ни единого листочка. На фоне коричневых холмов голые ветки смотрелись жутковато. Первый снег чуть прикрыл землю и быстро растаял. Потом дороги сковал лед, на крышах образовались сугробы, мороз разрисовал окна, наполовину заметенные снегом. Вместе со снегом появились воздушные змеи — некогда самодержавные хозяева кабульских небес, ныне разделившие власть с ракетами и реактивными истребителями.

Рашид, как повелось, являлся домой со свежими новостями о войне. Лейла уже с трудом понимала, кто с кем объединился и против кого воюет. По словам Рашида, Сайаф сражался с хазарейцами. Хазарейцы бились с Масудом.

— А Масуд дерется с Хекматъяром, которому помогают пакистанцы. Масуд с Хекматъяром — смертельные враги. А Сайаф выступает на

стороне Масуда. Хекматъяр — тот поддерживает хазарейцев.

Непонятно было, на чью сторону перекинется непредсказуемый узбек Достум. В восьмидесятые Достум сражался с Советами бок о бок с моджахедами, а когда советские войска ушли, переметнулся к Наджибулле и даже получил из его рук медаль. Это, правда, не помешало ему опять перейти в лагерь моджахедов, и пока Достум в союзе с Масудом.

В Кабуле (особенно в Западном Кабуле) бои были в разгаре и черные грибы то и дело вспухали над заснеженными крышами. Посольства закрылись. Школы не работали. В приемных покоях госпиталей, говорил Рашид, раненые истекают кровью, и никто не оказывает им помощи. В операционных руки-ноги ампутируют без наркоза.

— Но ты не волнуйся. За мной ты как за каменной стеной, цветочек мой. Пусть кто-нибудь только попробует тебя обидеть. Я ему кишки выпущу и заставлю сожрать.

В ту зиму вокруг Лейлы словно выросли глухие стены. Ей мерещилось чистое небо детских лет, когда они с Баби ходили на турниры по бузкаши^[44], отправлялись с мамой за покупками, свободно гуляли по улицам с Джити и Хасиной и сплетничали про мальчиков, сидели с Тариком где-нибудь на поросшем клевером берегу ручья на закате дня, загадывали друг другу загадки и поедали конфеты.

Только мысли о погибшем возлюбленном заводили ее слишком далеко: не успеет оглянуться — как перед ней предстает обожженное тело Тарика на далекой госпитальной койке, и неизбывное горе поднимается из глубины души, и желчь разъедает глотку и не дает вздохнуть. Тогда Лейла старалась вызвать в памяти образ ручья, журчащей воды, омывающей ей ноги, и не дать жутким картинам обступить ее со всех сторон.

Уборка да стирка, тряпка да жестяное корыто — так и прошла зима 1992 года. Иногда душа ее словно выходила из тела, взмывала в воздух — и тогда Лейла видела саму себя, склонившуюся во дворе над корытом, рукава закатаны, распаренные руки трут в мыльной воде белье Рашида, и ее охватывало непередаваемое одиночество, словно она на необитаемом острове, а вокруг ни души, только вода до самого горизонта.

Когда на дворе было слишком холодно, Лейла бездельно слонялась по дому, неумытая и непричесанная, водила пальцем по стене — передняя, лестница, вверх, потом вниз, — пока не натыкалась на безрадостный взгляд Мариам — та перебирала на кухне белый перец или разделявала мясо. Сумрачное молчание окутывало Лейлу, молчание, пышущее ненавистью, словно нагретый летом асфальт жаром, и она удалялась в свою комнату, садилась на кровать и безучастно смотрела, как за окном падает снег.

Как-то Рашид взял ее в свою обувную лавку-мастерскую.

Шагая рядом, Рашид нежно придерживал Лейлу за локоток, а ей было ужасно неловко в бурке: во-первых, с непривычки мало что видишь, во-вторых, так и норовишь наступить на подол, того гляди споткнешься и растянешься. Правда, бурка скрывает тебя от посторонних глаз, что само по себе неплохо. Лейле не хотелось, чтобы кто-нибудь из старых знакомых вдруг узнал ее и замер в удивлении, что с ней сотворила жизнь и до чего Лейла докатилась.

Лавка Рашида оказалась больше и светлее, чем Лейла себе воображала. Он усадил ее за свой захламленный верстак, весь в обрезках кожи и старых подошвах, показал свои молотки, колодки, абразивный круг. Голос у него был громкий и гордый.

Потом Рашиду вдруг вздумалось залезть ей под бурку и погладить по голому животу. Пальцы у него были холодные и шероховатые — и Лейле сразу вспомнились руки Тарика, мягкие и сильные, с выступающими жилами на тыльной стороне ладони, которые почему-то всегда ее особенно трогали.

— Быстро растет, — произнес Рашид. — Крупный мальчик родится. Настоящий *пахлаван*, совсем как его отец.

Лейла быстро одернула платье. Когда Рашид высказывался в этом духе, душу ее наполнял страх.

— Как у тебя складывается с Мариам?

— Все замечательно.

— Это хорошо.

Лейла не стала рассказывать мужу про их первую серьезную схватку несколько дней назад.

Она зачем-то спустилась в кухню. Мариам выдвигала ящик за ящиком — заглянет внутрь и с грохотом захлопнет. Куда-то запропастилась длинная деревянная ложка, которой Мариам мешала рис.

— Куда ты ее положила? — повернулась Мариам к Лейле.

— Я? — удивилась Лейла. — Да я ее в глаза не видела. Я и в кухне-то почти не бываю.

— Я заметила.

— Это что, упрек? Ты же сама хотела. Если хочешь поменяться со мной, я могу заниматься готовкой.

— Значит, у ложки выросли ножки, и она — топ-топ-топ — ускакала. Ты это хочешь сказать?

— Я хочу сказать... — Лейла еле сдерживалась, хотя обычно покорно сносила ехидные замечания и тыканье пальцем, — хочу сказать, что ты ее, наверное, не туда положила.

— Не туда? — Мариам рывком выдвинула ящик. Ножи звякнули. — Ты здесь сколько обретаешься, несколько месяцев? А я в этом доме прожила девятнадцать лет, дохтар-джо. И эта ложка всегда лежала здесь. Ты еще и первую пеленку не успела обкакать, а ложка уже была тут.

— И все-таки, — Лейла стиснула зубы, — может, ты ее переложила и забыла?

— А может, это ты ее спрятала, чтобы позлить меня?

— Низкая, жалкая женщина, — вырвалось у Лейлы.

Мариам вздрогнула всем телом и поджала губы.

— А ты — шлюха и воровка. Вороватая потаскуха, вот ты кто!

В общем, крику было много. Правда, до битья посуды дело так и не дошло. А вот разных дурных слов женщины не жалели — Лейла до сих пор краснела, стоило ей вспомнить, какие выражения ей довелось употребить. И как легко, оказывается, вывести ее из себя — фу, как стыдно!

С тех пор жены не разговаривали друг с другом. Однако в глубине души у Лейлы копошилось что-то вроде мстительного удовлетворения — она дала себе волю, досыта накричалась, выплеснула накопившуюся злость, облегчила душу.

А вот интересно, ведь Мариам, наверное, испытывает сейчас то же самое?

После ссоры Лейла убежала наверх, кинулась на Рашидову кровать, уткнулась лицом в подушку и заплакала навзрыд. Ей казалось, родителей убили только что, такое горе вдруг охватило ее. А Мариам в кухне все не унималась:

— Грязь на твою голову! Грязь на твою голову!

И внезапно у Лейлы перехватило дыхание.

В ней впервые пошевелился ребенок.

*Мариам**1993 год. Весна*

Раннее утро. Мариам стоит у окна гостиной и смотрит, как Рашид выводит жену за калитку. Девчонка семенит впереди, выпятив живот, отчетливо видный под буркой, и держа руки перед собой. Рашид увивается вокруг нее с изяществом дорожного полицейского, оживленно жестикулирует, распахивает калитку, подает руку, поддерживает. Мариам точно слышит его слова: «Не оступись, мой цветочек, ставь ножку вот сюда, аккуратнее».

Возвращаются они ближе к вечеру.

Первым во двор вваливается Рашид, по привычке захлопывает за собой калитку, чуть не сбив девчонку с ног, и широкими, быстрыми шагами направляется к дому. Лицо у него потемневшее, мрачное. Хлопает дверь, пальто летит на диван.

Отрывистые слова:

— Есть хочу. Накрывай на стол.

Дверь опять открывается. Входит Лейла с большим свертком на руках, подпирает дверь ногой и, сморщившись от напряжения, тянется за оставшейся на крыльце сумкой с вещами.

Мариам встречается с ней глазами, поворачивается и скрывается в кухне.

— В ухе у меня так и сверлит, — пожаловался Рашид, стоя у двери Мариам в одном исподнем и протирая запухшие глаза. Его всклокоченные седые волосы торчали в разные стороны. — Плачет и плачет. Это невыносимо.

Наверху Лейла укачивала ребенка, напевая и расхаживая туда-сюда по комнате.

— Я уже два месяца совершенно не высыпаюсь, — угрюмо продолжал Рашид. — И в комнате воняет, как в нужнике. Везде обгаженные пеленки валяются. Третьего дня я таки вляпался.

Мариам злоратно ухмыльнулась про себя.

— Вынеси ее во двор! — заорал через плечо Рашид. — Выйдите на свежий воздух!

— Она схватит воспаление легких! — донеслось сверху.

— Лето на носу!

— Что?

Рашид скрипнул зубами.

— Тепло, говорю!

— Я ее никуда не понесу!

Пение возобновилось.

— Клянусь, порой мне хочется запихать эту плаксу в коробку и бросить в реку Кабул. Пусть ее унесет течением, как пророка Моисея во младенчестве!

Мариам никогда не слышала, чтобы он назвал дочку по имени — Азиза, Желанная. Только «ребенок» или в недобрую минуту, как сейчас, «плакса».

Порой по ночам до Мариам долетали сверху звуки перебранки. На цыпочках Мариам подкрадывалась к их двери и слушала громкие сетования Рашида на плач, вонь, разбросанные повсюду игрушки и на жену: мол, вся забота только о «плаксе» — накормить, дать срыгнуть, укачать, уложить, переменить пеленку, а на мужа ноль внимания. Лейла в свою очередь упрекала мужа, что курит при дочке и не разрешает крошке спать вместе с ними.

Ссорились они и по другому поводу, понизив голос.

— Доктор сказал: шесть недель.

— Еще не время, Рашид. Нет. Пусти меня. Прекрати.

— Так ведь два месяца прошло!

— Ш-ш-ш! Ну вот. Дочку разбудил. — И более резко: — Доволен теперь? *Хош шоди?*

Мариам тенью проскальзывала обратно в свою комнату.

— От тебя-то будет какая помощь? — приставал Рашид.

— Я с детьми обращаться не умею, — отрезала Мариам.

— Рашид! Будь добр, принеси бутылочку. Она на комоде. Азиза не ест. Попробую опять из бутылочки.

Девочка заорала во все горло.

Рашид закрыл глаза.

— Это не ребенок, а полевой командир какой-то. Хекматьяр. Точно тебе говорю, Лейла родила Гульбеддина Хекматьяра.

День за днем на глазах у Мариам Лейла кормила, пеленала, укачивала,

укладывала спать. Потом все повторялось сызнова. А когда девочка спала, Лейле приходилось оттирать грязные пеленки и замачивать в ведре с дезинфицирующим средством (Рашид раздобыл где-то по настоянию жены). Еще надо было пройтись по ноготкам наждачной бумагой, выстирать и повесить сушиться ползунки и пижамки. По поводу детских вещей тоже постоянно возникали ссоры.

— Что с ними не так? — ворчал Рашид.

— Это вещи для мальчика. А у нас — девочка.

— Ей-то какая разница? Деньги все равно уплачены. Неплохие деньги. И вот еще что. Мне не нравится твой тон. Считай, что я тебя предупредил.

Каждую неделю Лейла непременно разогревала на огне черную металлическую жаровню, бросала на нее семена руты и окуривала дочку, дабы отогнать зло.

Воодушевление Лейлы, душевный подъем, с которым она ухаживала за малышкой, были для Мариам неким укором. Она не могла не восхищаться Лейлой — правда, про себя. Даже утром, после бессонной ночи, глаза у Лейлы горели огнем. Мать примечала мельчайшие перемены в поведении дочки и радовалась каждой мелочи. Когда малышка пукала, Лейла заливалась смехом.

— Смотри, как она тянется к погремушке. Умненькая какая.

— Надо будет сообщить в газеты, — ехидничал Рашид.

Сцены в этом духе повторялись чуть ли не каждый вечер.

— Ты только посмотри, — говорила девчонка.

Рашид вскидывал подбородок, скашивал глаза к носу (крючковатому, в синих прожилках), изображал раздражение и делал вид, что смотрит.

— Посмотри, как она смеется, когда я щелкаю пальцами. Видел? Ты видел?

Рашид бурчал что-то про себя и опять брался за еду. А ведь когда-то в присутствии девчонки он был тише воды, ниже травы. Каждое ее слово, казалось, было ему в радость, он внимательно выслушивал, откладывал нож и вилку и одобрительно кивал.

Странное дело: опала молодой жены, казалось бы, должна была радовать Мариам, приносить злорадное удовлетворение, а ей — Мариам сама на себя удивлялась — было девчонку жалко.

За ужином Лейла изливала на окружающих свои страхи насчет ребенка. На первом месте стояло воспаление легких, любой пустяковый кашель повергал мать в ужас. Дальше следовали дизентерия — ее призрак вставал с каждым мало-мальски жидким стулом — ветрянка и корь (всякий прыщик).

— Да не носись ты с ней так! — сказал как-то Рашид.

— Ты это о чем?

— Я тут третьего дня слушал радио, «Голос Америки». Они говорят, в Афганистане один ребенок из четырех умирает до пяти лет... Что? Что такое? Ты куда? А ну вернись! Сию минуту вернись!

Он озадаченно посмотрел на Мариам:

— Какая муха ее укусила?

В тот вечер Мариам уже лежала в кровати, когда между мужем и молодой женой опять вспыхнула ссора. Вечер был сухой и жаркий, какие часто бывают в Кабуле в месяц *Саратан*. Мариам открыла было окно, но немного погода захлопнула: ни ветерка, одни комары летят. От земли поднимался ощутимый жар, пронизывал насквозь стены и проникал в дом.

Обычно перебранка скоро стихала, но тут полчаса прошло, а скандал только набирал обороты. Рашид кричал во все горло. Пронзительный голос молодой жены все-таки звучал потише.

Вот и ребенок заплакал.

Дверь их комнаты с шумом распахнулась (на следующее утро Мариам обнаружит на стене передней круглую вмятину от ручки). Мариам привскочила. Опять грохот. На пороге ее комнаты нарисовался Рашид.

На нем были белые кальсоны и такая же рубаша, пропотевшая под мышками. В кулаке он сжимал коричневый кожаный ремень, купленный на свадьбу с молодой женой.

— Это твоих рук дело, — прорычал он и сделал шаг к Мариам. — Это все ты.

Мариам выскользнула из постели и попятилась к стене, прижав руки к груди. Именно по груди обычно приходился первый удар.

— О чем... о чем ты? — запинаясь, пробормотала она.

— Она меня не допускает до себя. Это ты ее подучила.

За все эти годы Мариам успела привыкнуть к попрекам и презрительным насмешкам, к тому, что в глазах мужа всегда виновата. Но справляться со страхом она так и не научилась. Когда муж бешено сопел, с налитыми кровью глазами тиская в руке ремень, Мариам всю трясло от ужаса, словно козленка, брошенного в клетку к тигру. Вот тигр поднимает голову, вот из груди его исторгается рык...

Кто это? Никак, молодая явилась? Глаза широко открыты, лицо перекошено...

— Я же заранее знал, добра она от тебя не наберется! — Ремень трепетал в руках у Рашида, только пряжка звякала.

— Прекрати, бас! — резко сказала девчонка. — Рашид, не смей!

— Иди к себе!

Мариам еще попятилась.

— Нет! Не смей!

— Убирайся!

Рашид замахнулся ремнем на Мариам.

И тут — неслыханная наглость! — на руке у него повисла Лейла. Прямо как клещ вцепилась. Муж даже пошатнулся.

И не ударил. Взревел только:

— Вон!

— Твоя взяла. Твоя взяла. Только не бей ее, прошу тебя, не бей. Опомнись.

На Мариам будто столбняк напал. А они возились, пихались, препирались, Рашид пытался стряхнуть с себя жену... В какой-то момент Мариам почувствовала, что удара уже не последует.

Рашид постоял еще немного со свирепым видом, все лицо мокрое от пота, потом медленно опустил руку с ремнем. Лейла наконец коснулась ногами пола, но руку мужа не выпустила, будто не доверяла.

— Я тебе это запомню, — прохрипел Рашид. — Я вам обеим это запомню. Дурака из меня сделать решили? В моем собственном доме? Не позволю.

Он свирепо посмотрел на Мариам и подтолкнул Лейлу к двери.

Мариам забралась в постель, спрятала голову под подушку и принялась ждать, когда пройдет дрожь.

В ту ночь Мариам просыпалась трижды. В первый раз ее разбудил рев ракеты, запущенной откуда-то со стороны Карте-Чара, во второй — плач девочки, убаюкивающее бормотание Лейлы, звяканье ложечки о бутылку. А в третий раз подняться с постели ее заставила жажда.

Внизу в гостиной было темно, только полоска лунного света падала от окна. Жужжала муха. Из мрака проступали очертания чугунной печки в углу и коленчатого дымохода под потолком.

На пути к кухне на полу лежало что-то большое. Приглядевшись, Мариам поняла, что это Лейла с ребенком. Мать спала, слегка похрапывая, дочка бодрствовала. Мариам зажгла керосиновую лампу и в первый раз за все время хорошенько рассмотрела девочку. Темные волосенки, карие глаза, густые ресницы, розовые щеки, губки цвета спелого граната.

Казалось, кроха тоже изучает ее: лежа на спине, повернув голову немного набок, ребенок внимательно разглядывал Мариам с недоуменно-настороженным выражением на лице, потом весело пискнул — наверное,

остался доволен осмотром.

— Ш-ш-ш, — тихонько шепнула Мариам, — маму разбудишь. Ее счастье, что она глухая на одно ухо.

Девочка сжала кулачок и сунула себе в рот, улыбаясь Мариам и пуская пузыри.

— Ты только посмотри на себя. Вот ведь вырядилась, чисто мальчишка. Да как укуталась-то, в такую-то жару. Попробуй тут усни.

Мариам развернула одеяльце и, к своему ужасу, обнаружила под ним второе. Его она тоже развернула, щелкнув при этом языком. Ребенок с облегчением захихикал и замахал ручонками, точно птица крыльями.

— Так лучше?

Мариам уже выпрямлялась, когда девочка крепко ухватила ее за мизинец своими теплыми влажными пальчиками.

— Гу, — объявила кроха.

— Хорошо, хорошо, только отпусти. *Бас.*

Девочка брыкнула ножками и, когда Мариам высвободила палец, опять впилась в свой кулачок, улыбаясь и гукая.

— Что это ты такая довольная? А? Ну, чему ты улыбаешься? Не такая уж ты умная, как я погляжу. Отец у тебя грубиян, а мамочка — дура. Если бы ты это знала, не улыбалась бы так. Ни в коем случае. Спи давай. Засыпай.

Мариам поднялась на ноги и сделала несколько шагов. Ребенок хныкнул раз, потом другой.

Сейчас расплчется, испугалась Мариам.

— Ну, что тебе? Что ты от меня хочешь?

Девочка беззубо улыбнулась.

Мариам со вздохом села и предоставила свой палец в полное распоряжение младенцу. Ребенок пришел в восторг, засмеялся, задрогал ногами. Мариам смотрела и смотрела на девочку, пока та не утомилась.

И вот наконец Азиза сладко спит.

Во дворе бодро запели пересмешники. Когда певуны улетели (за окном в предрассветных сумерках мелькнули их крылья), Мариам, как ни хотелось ей пить, долго еще не поднималась с пола.

Ведь Азиза и во сне так и не выпустила ее палец.

Лейла

Больше всего на свете Лейла любила лежать рядом с Азизой, смотреть, как зрачки у девочки то расширяются, то сужаются, водить пальцем по нежной, гладкой коже, по ямочкам на руках, по складочкам на локотках. Порой она клала дочку себе на грудь и шепотом рассказывала про Тарика — ее настоящего отца, с которым ей не суждено встретиться, про то, как быстро он отгадывал загадки, как проказничал, как легко было его рассмешить.

— У него были очень красивые ресницы, совсем как у тебя. Такой же подбородок, нос, такой же круглый лоб. Твой отец был красавец, Азиза. Ты вся в него.

Только Лейла никогда не называла его по имени. Из осторожности.

А Рашид... Если и посмотрит на девочку, то каким-то странным взглядом. Как-то скоблил мозоли на ногах и небрежно так бросил:

— Так что там такое было между вами?

Лейла непонимающе взглянула на него.

— Между Лейли и Меджнуном. Между тобой и этим калекой, *якленга*. Какие между вами были отношения?

— Он был мне друг. — Вертя в руках бутылочку, Лейла старалась говорить ровно. — Ты сам знаешь.

— Да что я знаю? — Рашид стряхнул струпья со ступни, почесался и повалился на кровать. Пружины застонали. — А вы занимались тем, что выходило за рамки... пусть даже как друзья.

— За рамки?

Рашид беспечно улыбнулся, взгляд ледяной, цепкий.

— Ну-ка, ну-ка. Целовались вы с ним? А может, он тебя хватал за неподобающие места?

Лейла возмущенно пошевелилась. Сердце у нее колотилось.

— Он был мне как брат...

— Так друг или брат?

— Как друг и как брат.

— Да неужто? А ведь братья и сестры — народ любопытный. Братец возьмет да и покажет сестричке свой хер, а она...

— От твоих гадостей меня тошнит.

— Так-таки ничего и не было?

— Не хочу больше об этом говорить.

Рашид повертел головой, пожевал губами.

— Люди про вас всякое шептали, я-то помню. На пустом месте, значит? Дым без огня?

Лейла заставила себя взглянуть на мужа.

На нее уставились немигающие глаза. Стараясь сохранить невозмутимость, Лейла так сжала бутылочку, что побелели костяшки пальцев.

Интересно, как бы он себя повел, если бы узнал, что жена его обкрадывает? После рождения Азизы каждую неделю Лейла заглядывала в кошелек Рашида, когда тот спал или выходил по нужде во двор, и вытаскивала одну бумажку. Когда наличности было немного, она ограничивалась пятью афгани или вообще ничего не брала, а когда кошелек был туго набит, позволяла себе взять десятку или двадцатку (иногда даже две двадцатки). Деньги она прятала в потайной карман в подкладке своего зимнего пальто. Следующей весной (и уж никак не позже лета) Лейла собиралась пуститься в бега. Вот накопит тысячу афгани (а пусть и побольше) — пятисот должно хватить на автобус до Пешавара. Еще, когда подойдет срок, можно продать обручальное кольцо и драгоценности, которые Рашид подарил, пока она была в его глазах «царицей».

— Ладно... — произнес Рашид, поглаживая себя по животу. — Обижаться тебе не на что. Я ведь тебе все-таки муж. А мужу многое интересно. Только... ему повезло, что он умер. Если бы он был сейчас где-то неподалеку, уж я бы с ним потолковал.

— Разве можно говорить дурно о мертвых?

— Не таких уж и мертвых, как я погляжу, — пробурчал в ответ Рашид.

Дня через два Лейла проснулась поутру и обнаружила на полу возле своей двери целую кипу детских вещей. Там были чепчики с вышитыми розовыми рыбками, голубое шерстяное платице в цветочек с носочками и крошечными перчатками в тон, желтая пижама в оранжевый горошек, зеленые штанишки с кружавчиками и много чего еще.

— Ходят слухи, — сказал за ужином Рашид, не обратив ни малейшего внимания на Азизу в новом наряде, — что Достум вознамерился принять сторону Хекматьяра. Эта парочка задаст перцу Масуду. Да тут еще хазарейцы. — Рашид набил рот маринованными баклажанами, которых Мариам много заготовила в то лето. — Остается надеяться, что это только

сплетня. А то теперешняя война по сравнению с тем, что будет, покажется нам увеселительной поездкой в Пагман^[45].

Насытившись, Рашид, как был, взгромоздился на жену и запыхтел, только штаны спустил до колен. Сделав дело, он скатился на кровать и через минуту уже спал.

Лейла выскользнула из спальни. Мариам, сидя на корточках в кухне, чистила форель. Горшок с уже замоченным рисом стоял рядом. Пахло дымом, тмином, жареным луком и рыбой.

— Спасибо, — поблагодарила Лейла, присаживаясь в уголке и поджимая колени.

Мариам, будто и не заметив ее, порезала на кусочки первую рыбину и принялась за вторую. Зубчатым ножом она обрезала плавники, перевернула рыбу, быстрым ловким движением вскрыла ей брюшко от хвоста до жабер, затем засунула палец форели в рот и одним махом вырвала жабры вместе с внутренностями.

— Вещи такие миленькие.

— Они все равно валялись без проку, — пробормотала Мариам. — Не все ли равно, твоя дочь их износит или моль съест?

— Где это ты научилась так разделывать рыбу?

— В детстве я жила у горной речки и сама рыбачила.

— А я никогда в жизни не рыбачила.

— Это несложно. Главное, уметь ждать.

Лейла не отрывала глаз от ее ловких рук.

— Ты сама их шила?

Мариам кивнула.

— Когда?

Мариам переложила куски форели в миску с водой.

— Когда была беременна в первый раз. А может, во второй? Восемнадцать, не то девятнадцать лет назад. В общем, давным-давно. Только носить их так и так некому.

— Ты хорошая портниха. Научи меня как-нибудь.

Старательно прополоскав рыбу, Мариам положила ее в чистую миску, стряхнула воду с рук, подняла голову и посмотрела на Лейлу. Впервые за все время.

— В ту ночь, когда он... За меня никогда никто не заступался.

Лейла во все глаза глядела на обвисшие щеки, на морщинки в уголках глаз, на глубокие складки вокруг рта, говорящие сейчас... нет, не о враждебности — но о невысказанных печалях, неразделенных тяготах, нелегких испытаниях. Если бы Лейла столько прожила здесь, она бы,

наверное, тоже была такая.

— Я не могла допустить. Просто дикость. В доме, где я выросла, никто себе такого не позволял.

— Твой дом теперь здесь. Ничего, привыкнешь.

— К побоям? Никогда!

— Он и на тебя руку поднимет, дай срок. — Мариам вытерла тряпкой руки. — Ты ведь ему дочку родила. Значит, кругом виновата.

Лейла поднялась на ноги.

— На улице, правда, свежо. Но почему бы двум виноватым не попить чайку во дворе?

Вид у Мариам был донельзя удивленный.

— Не могу. Мне еще фасоль надо перебрать и промыть.

— Я тебе утром помогу.

— И прибраться.

— Мы вдвоем быстро справимся. По-моему, еще немного халвы осталось. С чаем ужасно вкусно.

Мариам положила тряпку на стол, накинула хиджаб, заправила выбившуюся прядь волос.

— Китайцы говорят, что лучше ничего не есть три дня, чем один день не пить чая.

— Хорошо сказано, — чуть заметно усмехнулась Мариам.

— Лучше некуда.

— Только времени у меня почти нет.

— Одну чашечку.

Они уселись во дворе и быстренько уплели халву, беря ее пальцами из одной миски. Потом настала очередь второй чашечки, да и третья оказалась совсем не лишняя. Когда в горах завязалась перестрелка, им светила из-за облаков луна и последние светляки выписывали полукружья в воздухе.

Заплакала проснувшаяся Азиза, Рашид свирепым голосом позвал жену, чтобы утихомирила плаксу.

Лейла и Мариам переглянулись. В их глазах больше не было вражды.

С этого вечера всю работу по дому Мариам и Лейла делали вместе. Сидя в кухне, они раскатывали тесто, резали лук, давили чеснок. Азиза ползала рядом, колотила ложкой о ложку, играла с морковками. Когда они стирали белье во дворе, Азиза лежала в плетеной колыбельке, по зимнему времени закутанная по самые глаза, в толстом шарфе, и Лейла то и дело посматривала в ее сторону.

Мариам потихоньку отвыкала от одиночества. Каждый вечер они с Лейлой выпивали во дворе свои три чашки чая, будто так повелось с незапамятных времен. По утрам Мариам не могла дождаться, когда же Лейлины домашние туфли без каблуков простучат по лестнице, когда раздастся смех Азизы, когда девочка улыбнется ей, показывая все свои восемь зубиков. Если Лейла с дочкой спали дольше обычного, Мариам места себе не находила: мыла и без того чистые тарелки, перекладывала подушки в гостиную, вытирала пыль с чистых подоконников — в общем, старалась чем-то себя занять.

А у Азизы при виде Мариам глаза широко распахивались, девочка хныкала, вертелась у мамы на руках, тянулась к Мариам с выражением нетерпения и откровенной любви.

— Ну что ты устраиваешь, — говорила Лейла, опуская дочку на пол (Азиза сразу что есть духу ползла к своей любимице), — прямо представление! Успокойся. Хала Мариам никуда от тебя не денется. Вот она, твоя тетушка, вот. Убедилась? Так что прекрати лучше.

Азиза забиралась к Мариам на руки, цеплялась за большой палец и всем телом прижималась к ней, положив голову на плечо.

Мариам невольно морщила губы в улыбке — наполовину благодарной, наполовину недоумевающей. За что крошка так ее полюбила, откуда такое искреннее, бескорыстное чувство? У Мариам слезы на глаза наворачивались.

— Ну что ты так привязалась ко мне, противной старой ведьме, — шептала Мариам малышке на ушко. — А? Ведь я темная деревенщина, разве ты не видишь? Что от меня пользы?

Но Азиза только радостно что-то лепетала и прижималась еще крепче.

Мариам млела, сердце у нее колотилось как сумасшедшее. После стольких лет, когда все привязанности забылись, когда все вокруг превратилось в фальшь и обман, крошечный человечек вдруг одарил ее подлинным чувством.

В самом начале 1994 года, в январе, Достум окончательно порвал с Масудом, перешел на сторону Гульбеддина Хекматъяра и занял позиции неподалеку от Бала-Гиссар, древней крепости, нависающей над городом со стороны хребта Ширдарваза. Силы, подчиненные Масуду и Раббани, занимающие здание Министерства обороны, Президентский дворец, подверглись ожесточенному артиллерийскому обстрелу. Раббани с Масудом не остались в долгу. Пальба поднялась по обоим берегам реки Кабул. На улицах, усеянных битым стеклом и осколками снарядов и ракет, валялись трупы. Убийства, изнасилования, мародерство расцвели пышным цветом — ведь и население надо запугать, и ополченцев вознаградить. До Мариам доходили слухи о женщинах, которые из страха перед насилием убивали себя, о мужчинах, предававших смерти своих опозоренных жен и дочерей, дабы сохранить честь семьи.

Когда бухали минометы, Азиза вскрикивала и принималась плакать. Чтобы отвлечь ее, Мариам из риса выкладывала на полу домики, петухов, звезды и давала крохе стереть рисунок. Еще она рисовала слоников, не отрывая карандаша от бумаги, как в детстве научил ее Джалиль.

Рашид говорил, что жертвы среди мирного населения исчисляются сотнями и тысячами. По госпиталям и складам медикаментов ведется прицельный огонь. Грузовики с продовольствием не пропускают в город, обстреливают, грабят.

«Интересно, а в Герате тоже такие бои? — думала Мариам. — И как там мулла Фатхулла, если он еще жив, как Биби-джо со всеми своими сыновьями, невестками и внуками? А Джалиль? Есть ему где укрыться или он забрал жен и детей и бежал из страны? Дай-то Господь».

Бои достигли такого накала, что даже Рашид целую неделю просидел дома, не смея носа на улицу высунуть. Он наглухо запер калитку, поставил во дворе капканы, замкнул входную дверь, придвинул к ней диван, чтобы было не открыть, и все чистил свой револьвер, расхаживая по дому и поглядывая в окна. Он даже дважды стрелял в направлении улицы: якобы кто-то пытался перелезть через забор.

— Моджахеды силой загоняют мальчишек в свои ряды, — говорил он. — Хватают прямо на улицах, автомат к голове — и вперед. А если враждебная группировка поймает такого новобранца, его мучают, истязают.

Раздавливают яйца плоскогубцами, пытаются электрическим током. Молодой парень показывает им, где живет, и они врываются к нему в дом, убивают отца, насиляют мать и сестер.

Рашид взмахнул револьвером:

— Пусть только попробуют вломиться в мой дом. Я им яйца-то отстрелю! Я им головы посшибаю. Вам повезло: вашему мужу сам шайтан не страшен.

Тут Рашид заметил подкрадшуюся к нему Азизу.

— Убирайся! Пошла вон! Нечего ко мне приставать. Даже не проси, все равно на руки не возьму. Лучше проваливай, пока на тебя не наступили.

Азиза скуksилась и отползла к Мариам. Вид у девочки был обиженный и озадаченный. Оказавшись на руках у Мариам, она сунула большой палец в рот и хмуро посмотрела на Рашида.

Мариам хотелось ее утешить. Да нечем было.

Что ж, отцов не выбирают.

У Мариам камень с души свалился, когда бои стихли. Жить взаперти вместе с Рашидом было невыносимо. Его дурное настроение, казалось, заражало весь дом. Да еще трясет заряженным револьвером под носом у Азизы, тут и до беды недалеко.

Лейла вызвалась заплести Мариам косички.

Мариам сидела неподвижно и наблюдала в зеркале, как ловко движутся пальцы Лейлы, какое сосредоточенно-напряженное у нее лицо. Азиза свернулась клубочком на полу и мирно спала, прижав к себе куклу, которую ей сделала Мариам — набила фасолью, сшила платье из подкрашенной чаем тряпочки, смастерила ожерелье из пустых катушек.

Во сне Азиза пукнула. Лейла засмеялась, Мариам вслед за ней. Так они и смеялись отражениям друг друга, пока слезы не выступили на глазах. И до того стало хорошо и беззаботно на душе, что Мариам ни с того ни с сего принялась рассказывать про Джалиля, про Нану и про джинна. Руки Лейлы замерли, она глаз не сводила с лица Мариам в зеркале. А та захлебывалась словами. Перед Лейлой предстали Биби-джо, мулла Фатхулла, Джалиль и унижение, которое Мариам испытала у дверей его дома, Нана и ее самоубийство, краткая *ника* с Рашидом, отъезд в Кабул, беременности, надежда, чередующаяся с отчаянием, первые мужнины побои...

Потом Лейла села на пол у ног Мариам, убрала случайную ниточку из волос Азизы. Стало тихо.

— Мне надо тебе что-то сказать, — негромко произнесла Лейла.

В ту ночь Мариам не спалось — она сидела на кровати и смотрела на падающие снежинки.

Сменялись времена года, президентов в Кабуле приводили к присяге и убивали, рушились империи, заканчивались старые войны и разгорались новые. И все это катилось мимо Мариам, не оставляя за собой ничего, кроме пустоты. Душа ее была теперь словно высохшее бесплодное поле: ни желаний, ни мечтаний, ни надежд. И никакого будущего. Только горький опыт: любовь — опасное заблуждение, а ее сестра, надежда, — обманчивая химера. И стоит этим двум ядовитым цветкам чуть укорениться, как их надо немедленно выколоть и выкинуть вон. Пока не распустились.

Но каким-то чудом за последние пару месяцев Лейла и Азиза — девочка, как выяснилось, была *харами*, как и сама Мариам, — стали будто частью ее самой, и прежняя жизнь, на которую Мариам никогда не жаловалась, сделалась вдруг невыносимой.

Этой весной мы уезжаем, я и Азиза. Едем с нами, Мариам.

Прожитые годы были к ней безжалостны. Только вдруг Господь смиростивится над ней и грядущее даст ей счастье, которого, по словам покойной Наны, *харами* вроде нее никогда не видать? Нежданно-негаданно два цветка проклюнулись в ее жизни, и, глядя, как падает снег, Мариам представила себе муллу Фатхулла — он перебирал четки и, наклонившись к ней, говорил своим старческим, надтреснутым голосом: «Это Господь посадил эти цветы, Мариам-джо. И он послал их тебе. Такова его воля, девочка моя».

*Лейла**1994 год. Весна*

Раннее утро. Светает. Лейла пробуждается от короткого беспокойного сна в полной уверенности, что Рашид все знает. Вот сейчас он грубо разбудит ее и язвительно скажет, что он вовсе не такой осел, как ей представляется, и давно обо всем догадался...

Но отзвучал азан, выглянуло солнышко, запели петухи... и ничего чрезвычайного не произошло. Рашид побрился в ванной, напился чаю, позвякал ключами, вывел из сарая свой велосипед, оседлал его и покатил на работу. На хромированном руле сверкало солнце.

— Лейла?

В дверях появляется Мариам. По ней видно, что она тоже не спала ночь.

— Через полчаса отправляемся, — говорит Лейла.

Расположившись на заднем сиденье такси, они не разговаривают. Азиза, прижав к себе куклу, сидит на руках у Мариам и широко раскрытыми глазами глядит в окно.

— Майам! — восклицает девочка, указывая на стайку девчонок, прыгающих через скакалку. — Ига!

А Лейле всюду мерещится Рашид. Вот он выходит из парикмахерской, вот появляется на пороге лавки, торгующей битой птицей, вот выныривает из-за старых автомобильных покрышек, прикрывающих разбитую витрину...

Лейла съеживается и пригибается.

Мариам бормочет молитвы. Обе они в бурках, лиц не видно. Правда, блеск глаз заметен даже за сеткой из конского волоса.

Впервые за много недель Лейла вышла из дома — не считая вчерашнего дня, когда она отнесла скупщику свое обручальное кольцо. В лавке, как и сейчас, ее не покидало ужасное чувство непоправимости происходящего. Обратной дороги нет.

Последствия недавних боев, грохот которых был так отчетливо слышен у них в доме, обступают их со всех сторон: кучи битого кирпича и

щебня, изрытые осколками стены, обгоревшие остовы автомобилей, нередко взгроможденные друг на друга. К мечети направляются похоронные процессии, облаченные в черное женщины рвут на себе волосы. Такси проезжает мимо кладбища, успевшие выцвести флажки на могилах шахидов трепещут на ветру.

Лейла тянется к Азизе и гладит дочку по руке.

На автобусной станции «Лахорские Ворота» у мечети Пол-Махмуд-Хан в Восточном Кабуле автобусы стоят длинной вереницей. На крышах громоздятся чемоданы, мужчины в чалмах увязывают багаж веревками. В здании у окошка кассы длинная очередь — тоже из одних мужчин. Закутанные в бурки женщины стоят кучками, поклажа сложена у ног, дети рядом — им строго-настрого запрещено отходить далеко.

Всюду полно моджахедов при полном параде: паколь, пропыленный камуфляж, высокие армейские ботинки. И ясное дело, у каждого — автомат Калашникова.

Лейла настороженно осматривается, стараясь ни с кем не встречаться глазами, ей кажется, все вокруг глядят на них осуждающе.

— Видишь кого-нибудь? — спрашивает Лейла у Мариам.

У Мариам Азиза на руках.

— Смотрю.

Вот оно, первое скользкое место в их плане: найти мужчину, которого можно будет выдать за родственника. Ведь та свобода, что имела у женщин прежде, давно в прошлом. Лейла помнила слова, сказанные Баби, когда у власти находились коммунисты: «Сейчас женщинам в Афганистане открыты все пути, Лейла». После того как власть в апреле 1992 года перешла к моджахедам, страна стала именоваться Исламское Государство Афганистан. Верховный суд, возглавляемый Раббани, заполнили консервативные неуступчивые муллы, которые вмиг отменили законы, введенные в отношении женщин коммунистами, и обратились к овеянному веками шариату: женщинам кутаться от посторонних глаз, отправляться в путь исключительно в сопровождении родственника-мужчины, за супружескую измену женщин следует побивать камнями. Правда, пока древние законы соблюдались не слишком строго. «Им просто не до нас, — сказала как-то Лейла, — если бы не война друг с другом, уж они бы за нас взялись».

Второе скользкое место было связано с тем, как им, собственно, попасть в Пакистан. Приняв уже почти два миллиона беженцев, Пакистан в январе этого года закрыл для афганцев свои границы. Как говорили, теперь

туда пускали только по визам. Но границы не были закрыты наглухо (впрочем, они никогда не были на крепком замке), и тысячи афганцев продолжали просачиваться в Пакистан — по гуманитарным каналам, за взятки или наняв проводника.

«Нам главное попасть на место, а там способ найдется», — говорила Лейла.

— Как тебе этот? — спрашивает Мариам.

— Вид у него какой-то... не внушающий доверия.

— А вот он?

— Слишком стар. К тому же с ним еще двое мужчин.

Наконец Лейла находит нужного человека.

Он сидит на скамейке у входа в парк, рядом с ним женщина в бурке, на руках — маленький мальчик в тубетейке, наверное, ровесник Азизы. На надежном мужчине рубашка с расстегнутым воротником и скромный серый плащ, нескольких пуговиц нет.

— Подожди меня здесь, — велит Лейла.

Мариам снова принимается за молитвы.

Лейла подходит к молодому человеку, тот чуть привстает, закрываясь рукой от солнца.

— Извини меня, брат, вы едете в Пешавар?

— Да, — щурит глаза тот.

— Не мог бы ты нам помочь? Окажи нам услугу.

Мужчина передает мальчика женщине и вместе с Лейлой отходит на пару шагов в сторону.

— Чем могу служить, хамшира?

У него доброе лицо и кроткие глаза.

Лейла рассказывает ему сочиненную заранее историю. Она — вдова. Никого из родственников у них с матерью и дочкой в Кабуле не осталось, и они решили перебраться к дяде в Пешавар.

— И ты хочешь ехать с моей семьей, — подхватывает молодой человек.

— Знаю, мы будем тебе в тягость. Но ты с виду такой отзывчивый, и я...

— Хамшира, не тревожься зря. Я понимаю. Я все сделаю. Позволь, я пойду и куплю тебе билеты.

— Спасибо, брат. Это доброе дело в глазах Господа, *саваб*.

Лейла достает из-под бурки конверт и протягивает своему спасителю. В конверте тысяча сто афгани — примерно половина всех имеющихся при ней денег. Сколько-то скопила, сколько-то получила за кольцо.

Мужчина прячет конверт в карман брюк.

— Подожди меня здесь.

На глазах у Лейлы молодой человек входит в здание. Возвращается через полчаса.

— Пусть лучше твои билеты побудут пока у меня. Автобус отъезжает через час, ровно в одиннадцать. Сядем в автобус все вместе. Меня зовут Вакиль. Если спросят — не должны, вообще-то, — я им скажу, что ты мне — двоюродная сестра.

— Я — Лейла. Мою мать зовут Мариам, дочку — Азиза.

— Я запомню. Не отходите от нас далеко.

Они располагаются на соседней скамейке. Утро солнечное и теплое, далеко над холмами два-три белых пушистых облачка. Мариам кормит Азизу печеньем, которое она предусмотрительно захватила с собой из дома, и предлагает Лейле.

— Да мне куска не проглотить, — смеется Лейла. — Меня всю трясет.

— И меня тоже.

— Спасибо тебе, Мариам.

— За что?

— За печенье. За то, что отправилась с нами. Мне бы одной ни за что не справиться.

— Это тебе-то?

— У нас все получится, ведь правда?

Мариам берет ее за руку.

— Коран говорит: «Аллаху принадлежит и восток и запад; и куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха. Поистине, Аллах объемлющ, ведущий!»

— Би! — Азиза тычет пальцем в автобус. — Майам, би!

— Вижу, вижу, Азиза-джо. Би. Мы скоро все поедem на би. Ой, сколько нового ты увидишь!

Лейла улыбается. Плотник в мастерской напротив пилит доски, на землю летят опилки. Мимо проезжают машины с запыленными, закопченными стеклами, поодаль рычат моторами автобусы с наклепанными на боках павлинами, львами, солнцами и сверкающими мечами.

На утреннем солнышке у Лейлы кружится голова, восторг, упоение собственной храбростью пронизывает ее всю. Махая хвостом, подходит уличная собака, и Лейла гладит ее по спине.

Без нескольких минут одиннадцать человек с мегафоном объявляет посадку на Пешавар. Дверь автобуса с шипением открывается. К ней, расталкивая остальных, бросается толпа пассажиров.

Вакиль подхватывает на руки сына и делает Лейле знак.

— Мы идем, — говорит Лейла.

Вакиль шагает впереди. В автобусе уже полно народу, люди машут на прощанье руками, выкрикивают добрые пожелания.

У входа молодой солдат-ополченец проверяет билеты.

— Би! — кричит Азиза.

Вакиль передает солдату билеты, тот рвет их пополам и возвращает. Вакиль пропускает вперед жену, переглядывается с контролером, вскакивает на первую ступеньку, наклоняется и шепчет что-то ополченцу на ухо. Тот кивает.

Душа у Лейлы уходит в пятки.

— Вы двое, с ребенком, отойдите-ка в сторону, — приказывает контролер.

Лейла делает вид, что не слышит, и становится на ступеньку. Контролер хватает ее за руку и выдергивает из очереди.

— Ты тоже, — поворачивается он к Мариам. — Живее! Очередь задерживаешь.

— В чем дело, брат? — трясущимися губами спрашивает Лейла. — У нас есть билеты. Разве наш родственник не передал их тебе?

Контролер прижимает палец к губам и что-то тихо говорит другому охраннику, круглолицему малому со шрамом через всю правую щеку.

— Следуй за мной, — приказывает круглолицый Лейле.

— Нам на этот автобус, — кричит Лейла дребезжащим голосом. — У нас есть билеты. Почему вы нас не пускаете?

— Никуда вы не поедете, зарубите на носу. Следуйте за мной. Или хотите, чтобы вас на глазах у девочки поволокли силой?

Их ведут к грузовику.

На полпути Лейла оглядывается и видит за стеклом автобуса ребенка Вакиля. Мальчик радостно машет им рукой.

В полицейском участке «Перекресток Торабаз-Хан» их сажают в разных концах длинного, набитого людьми коридора. Между ними оказывается стол. За ним сидит мужчина, курит и время от времени ударяет по клавишам пишущей машинки. Проходит три часа. Азиза топает туда-сюда, проводит то Лейлу, то Мариам, вертит в руках скрепку, которую ей дал поиграть мужчина, доедает печенье и, наконец, засыпает у Мариам на руках.

Около трех Лейлу вызывают в комнату для допросов. Мариам остается ждать в коридоре.

Мужчине в штатском — черный костюм, галстук, туфли, — сидящему по ту сторону стола, за тридцать. У него аккуратно подстриженная борода, короткая прическа, сросшиеся брови. Он смотрит на Лейлу и постукивает карандашом по столу.

— Мы знаем, — говорит он, откашлявшись, — что ты, хамшира, сегодня уже раз солгала. Молодой человек на автостанции никакой тебе не родственник. Это он нам сам сказал. Вопрос в том, будешь ли ты еще лгать. Лично я не советую.

— Мы ехали к моему дяде, — говорит Лейла. — Это правда.

Полицейский кивает:

— Женщина в коридоре — твоя мать?

— Да.

— У нее гератский выговор. У тебя — нет.

— Она выросла в Герате. А я родилась в Кабуле.

— Ну разумеется. Ты вдова? Ты ведь сказала, что вдова. Мои соболезнования. А этот твой дядя, твой *Кэка*, он где живет?

— В Пешаваре.

— Это ты уже сказала. — Он вертикально ставит карандаш на чистый лист бумаги. — Где именно в Пешаваре? В каком районе? Название улицы, номер квартала?

Лейла изо всех сил старается подавить охвативший ее ужас.

— Улица Джамруд. — Это название звучало в разговоре на званом ужине, который дала мама в честь вступления моджахедов в Кабул.

— Ага. На этой же улице находится гостиница «Континенталь-Жемчужина». Дядя не упоминал про нее?

— А как же, упоминал, — хватается за соломинку Лейла.

— Ах да, «Континенталь» ведь на улице Хайбер.

Из коридора доносится плач Азизы.

— Моя дочь чего-то испугалась. Разреши мне взять ее, брат.

— Я при исполнении. Обращайся ко мне «господин полицейский». Скоро дочка будет с тобой. А номер телефона дяди у тебя есть?

— Есть. То есть был. — Даже через бурку Лейла чувствует его испытующий взгляд. — Ой, кажется, я его забыла. Я такая рассеянная последнее время.

Он вздыхает. Спрашивает, как зовут дядю. А его жену? А сколько у них детей? Их как зовут? Где дядя работает? Сколько ему лет? Простые вопросы ставят Лейлу в тупик.

Полицейский откладывает карандаш, сплетает пальцы и наклоняется к Лейле, словно родитель, отчитывающий шалунью.

— Сама понимаешь, хамшира, если женщина пустилась в бега, это преступление. Их перед нами много проходит. Едут куда-нибудь одни и говорят, что муж умер. Иногда правду говорят, но по большей части лгут. За побег тебя могут посадить в тюрьму. Да ты и без меня это знаешь.

— Отпустите нас, господин... — к лацкану пришпилен значок с именем полицейского, — господин Рахман. Ведь ваше имя означает «честь». Смилуйтесь над нами. Ну что вам стоит отпустить двух несчастных женщин? Какой от нас вред? Мы же не закоренелые преступницы.

— Не могу.

— Умоляю вас.

— Я исполняю закон, хамшира, — значительно произносит Рахман. — Мой долг поддерживать порядок.

Лейлу разбирает смех, хоть она и в отчаянии. О каком порядке речь, когда моджахеды такое творят, когда вокруг сплошь грабежи, убийства, изнасилования, пытки, казни, обстрелы, тысячи невинных жертв? *Порядок.* Постыдился бы.

Но вслух Лейла говорит другое:

— Если вы отправите нас домой, он с нами такое сделает... словами не опишешь.

Полицейский старается не отводить глаз.

— Каждый — хозяин у себя в доме.

— А как же тогда закон, господин Рахман? — Из глаз у Лейлы текут слезы ярости. — И где будете вы со своим порядком?

— Полиция не вмешивается в семейные дела, хамшира.

— Еще бы вы вмешивались. Когда речь идет о мужчине, вы целиком на его стороне.

Полицейский поднимается на ноги.

— Допрос окончен. Должен сказать, ты сама виновата во всех своих бедах. А теперь подожди в коридоре и пригласи эту... вторую, кем бы она тебе ни приходилась.

Лейла возражает. Потом кричит. Появляются еще двое полицейских, которые выволакивают ее из кабинета.

Допрос Мариам продолжается не больше пяти минут. К Лейле она выходит с трясущимися руками.

— Он задал столько вопросов. Прости, Лейла-джо. Я не такая смышленная, как ты. Я не знала, что ответить. Прости.

— Ты тут ни при чем, — обессиленно произносит Лейла. — Это я во всем виновата. Только я.

В седьмом часу вечера полицейская машина останавливается у их калитки. Лейле и Мариам велят оставаться в машине под охраной солдата-моджахеда. Шофер хлопает дверцей, стучит в калитку, разговаривает с Рашидом. Показывает женщинам, чтоб выходили.

— Вот вы и дома. Добро пожаловать, — ухмыляется охранник, закуривая.

— Ты, — говорит Рашид Мариам. Голос у него хриплый, срывающийся. — Ты подожди тут.

Мариам молча садится на диван.

— А ты с плаксой марш наверх.

Он хватается Лейлу за локоть и толкает к лестнице. На ногах у него ботинки, а не домашние шлепанцы, на руке часы, пальто валяется на полу. Наверное, и часа не прошло, как пришел с работы. Бегал небось по всему дому, хлопал дверями, не в силах поверить собственным глазам, ругался.

Наверху Лейла поворачивается к Рашиду:

— Она не хотела. Это я ее заставила.

Самого удара Лейла не видит. Мгновение — и она уже на четвереньках. Вдохнуть не получается. Лицо наливается кровью, глаза вылезают из орбит. Такое впечатление, что ее на полной скорости сбила машина. Лейла слышит крик Азизы и с трудом понимает, что уронила девочку. Дыхание никак не восстанавливается. Рот сводит судорога.

Рашид хватается жену за волосы и куда-то тащит. В другой руке у него Азиза. Девочка дрыгает ногами, сандалии с нее слетают. Он распахивает дверь в комнату Мариам и швыряет Азизу на кровать, потом ослабляет хватку и со всей силы пинает Лейлу в зад. Та не кричит — взвизгивает от боли. Дверь захлопывается, ключ в замочной скважине поворачивается.

Азиза заходится в крике. Лейла, скорчившись, лежит на полу и хватается ртом воздух, потом собирается с силами, подползает к кровати и протягивает дочке руку.

Снизу доносятся звуки ударов. Ни ругательств, ни криков, ни мольбы о помощи, только привычное методичное бух, бух, бух, словно боксер тренируется с грушей. Словно так и надо.

Слышны глухие быстрые шаги (погоня?), звон стекла, шум передвигаемой мебели...

Лейла берет Азизу на руки. Девочка вся мокрая.

Внизу уже больше не топают. Только бьют. Колотят. Колошматят.

Наконец все стихает. Хлопает входная дверь.

Лейла опускает дочку на пол и проскальзывает к окну.

Рашид, ухватив Мариам сзади за шею, вытаскивает ее во двор. Мариам согнулась пополам, ноги ее босы. Руки у Рашида в крови, лицо у Мариам — тоже. Платье на ней располосовано надвое.

— Прости, Мариам, — кричит Лейла в закрытое окно.

Рашид вталкивает Мариам в сарай, сам входит вслед за ней и тут же появляется на пороге. В руках у него молоток и несколько досок. Он задвигает засов, запирает замок, вытаскивает из-за сарая лестницу и приставляет к стене дома.

И вот его голова появляется в окне, изо рта торчат гвозди, волосы растрепаны, лоб вымазан в крови. Азиза вскрикивает и прячет лицо у Лейлы на груди.

Рашид принимается заколачивать окно. Доска за доской.

Непроницаемая тьма, ни лучика, ни блесточки. Щели между досками Рашид замазал, дверь чем-то загородил, замочную скважину заткнул.

От глаз никакого проку. Остаются только уши. Одно слышит хорошо. Азан и петушиное пение возвещают утро, звяканье тарелок внизу в кухне, голос диктора по радио — вечер.

— Кусать, — лепечет Азиза. — Хотю кусать.

— Потерпи. Уже скоро. — Лейла пытается поцеловать дочку в лоб, а получается в макушку. — Молочко уже спешит к тебе. Потерпи еще немножко, и я тебя покормлю.

И Лейла мурлычет песенку.

Азан слышен уже во второй раз. У них ни еды, ни воды. А жара стоит страшная. В комнате как в духовке. Лейла проводит по пересохшим губам языком, напрасно стараясь отогнать мысли о колодце во дворе, о свежей холодной воде. Азиза все время плачет, и Лейла с ужасом замечает, что щеки у дочки — сухие. Она раздевает девочку, обмахивает, дует, пока у самой не начинает кружиться голова. Скоро Азиза перестает шевелиться и впадает в какую-то странную дремоту.

Лейла стучит кулаками в стену, кричит изо всех сил, зовет на помощь. Но никто из соседей не отзывается, а крики только пугают Азизу, и она опять плачет слабеньким голоском. Лейла сползает на пол. Ее мучает совесть. Ужасно жалко Мариам. Каково ей, избитой и окровавленной, в такую жару в сарае?

В какой-то миг Лейла забывается. Ей снится, что они с Азизой на забитой людьми улице внезапно сталкиваются с Тариком. Он сидит на корточках под навесом у портновской мастерской, в руках — корзинка с

инжиром. «Это твой отец, — говорит Лейла. — Твой настоящий папа. Вот он, видишь?» Но шум улицы заглушает ее слова, и Тарик ее не замечает.

Свист ракет над головой будит ее. Доносятся автоматные очереди, длинные и яростные. Лейла закрывает глаза. Снизу слышны тяжелые шаги Рашида. Лейла подползает к двери и стучит.

— Хоть стаканчик воды, Рашид. Не мне, ей. Ради нее. Кровь невинного ребенка падет на тебя.

Он не обращает внимания.

Лейла просит. Лейла заклиняет, молит о прощении. Лейла осыпает мужа ругательствами.

Дверь внизу хлопает. Он включает приемник.

Опять муэдзин выкликает азан. Жара не спадает. Азиза совсем вялая. Она уже не плачет и почти не шевелится.

Время от времени Лейла прислоняет ухо ко рту дочки. Слава Господу, дышит. Голова у Лейлы кружится от малейшего движения. Она опять засыпает и не помнит, что снится. Просыпаясь, она кидается к Азизе, касается ее пересохших губ. Вот шея, пульс есть? Пока есть.

Видно, им суждено здесь умереть. Как ужасно, что Лейла переживет дочь, ведь Азиза такая слабенькая, хрупкая. Сколько она еще протянет? А потом ее тельце остынет. И придет черед Лейлы.

Сон. Пробуждение. Сон. Граница между явью и забытьем потихоньку стирается.

На этот раз ее будит не азан и не петухи. От двери с грохотом отодвигают что-то тяжелое. В комнату врывается свет. Лейла поднимает голову. В глазах невыносимая резь. Перед ней сгущается огромная расплывчатая фигура. Она движется, склоняется над Лейлой, что-то говорит. Слов поначалу не разобрать. А потом Лейла постигает смысл.

— Только попробуй еще раз. Я тебя везде найду, клянусь именем Пророка. И тогда ни один суд в этой проклятой стране не спасет вас. Сперва я убью Мариам, потом плаксу и напоследок тебя. И все будет происходить у тебя на глазах. Поняла? *Я заставлю тебя смотреть.*

И Рашид удаляется. Только пинает жену в бок. Да так, что она потом несколько дней мочится кровью.

Прошло два с половиной года.

Утром двадцать седьмого сентября Мариам проснулась от шума на улице. Кричала и свистела толпа, разрывались фейерверки, громко играла музыка.

Мариам помчалась в гостиную.

Лейла уже стояла у окна. Азиза пристроилась у нее на закорках.

Повернувшись, Лейла улыбнулась:

— Талибы входят в город.

Впервые о движении «Талибан»^[46] Мариам услышала в октябре 1994 года — Рашид принес домой весть, что талибы разгромили моджахедов под Кандагаром и взяли город. Они партизаны, сказал тогда Рашид, молодые пуштуны, чьи семьи бежали в Пакистан во время войны с Советами. Они выросли — а некоторые даже родились — в лагерях беженцев в Пакистане, изучали шариат в пакистанских медресе. Руководит ими таинственный мулла Омар. Он, говорят, неграмотный.

— У этих ребят нет никаких корней, это правда, — продолжал Рашид, ни к кому конкретно не обращаясь.

После неудавшегося побега и Лейла, и Мариам превратились в его глазах как бы в одно презренное существо, годное лишь на то, чтобы срывать на нем злость. Когда он заговаривал в их присутствии, казалось, он обращается к какому-то невидимке, куда более достойному собеседнику, чем жены.

— У них нет прошлого. — Рашид закурил и уставился в потолок. — Они ничего не знают ни о своей стране, ни о мире. Это так. По сравнению с ними Мариам — прямо университетский профессор. Но что мы видим вокруг? Продажные, жадные командиры моджахедов, торгующие героином и вооруженные до зубов, объявляют друг другу джихад и убивают всех, кто стоит у них на пути. Талибы, по крайней мере, чисты и неподкупны. И они

настоящие мусульмане. Уж они-то принесут с собой мир и наведут порядок. Положат конец смертоубийству. А то ведь носа на улицу не высунуть. Покончат с обстрелами. Тут есть над чем подумать.

Уже в течение двух лет талибы неуклонно продвигались к Кабулу, отбирая у моджахедов город за городом. Там, где талибы приходили к власти, война между группировками заканчивалась. Талибы изловили и казнили хазарейского командира Абдула Али Мазари. Уже несколько месяцев, как они окопались в южных пригородах Кабула, откуда вели огонь по частям Ахмада Шах-Масуда. В начале сентября им удалось захватить города Джелалабад и Сароби.

— У талибов есть то, чего нет у моджахедов, — сказал Рашид. — Они действуют единым фронтом. Пусть приходят. Я первый осыплю их лепестками роз.

На следующий день все вчетвером они вышли на улицу, чтобы вместе со всеми приветствовать новую жизнь, новых вождей. Человеческие тени возникали из развалин, из груд битого кирпича и присоединялись к радостным толпам. Какая-то старуха пригоршнями швыряла в прохожих рис, беззубо улыбаясь. Мужчины обнимались, хлопали друг друга по спине, мальчишки пускали с крыш фейерверки. Гудели клаксонами машины, отовсюду неслись звуки национального гимна.

— Смотри, Майам! — показала Азиза.

По улице Джаде Майванд бежали мальчишки, волоча за собой связки ржавых консервных банок, поднимали вверх кулаки, кричали, что Масуд и Раббани выбиты из города.

В толпе только и слышалось: «Аллах Акбар!»

Кто-то вывесил из окна простыню с нарисованными словами: *Зенда Баад Талибан!* Да здравствует «Талибан»!

Эти три слова попадались на каждом шагу — на окнах, на дверях, на флажках, свисающих с антенн машин.

Первых талибов они в тот день увидели на площади Пуштунистана, запруженной народом. Люди тянули шеи, подпрыгивали, забирались на бездействующий фонтан посередине площади. Все смотрели на старый ресторан «Хайбер».

Огромный Рашид быстро пробился через толпу поближе к человеку с мегафоном, женщины за ним.

Разглядев, что там происходит, Азиза взвизгнула и спрятала лицо на груди у Мариам.

Щуплый бородатый человечек в черной чалме кричал в рупор, стоя перед рестораном на чем-то вроде строительных лесов и размахивая «стингером». На светофорах за его спиной болтались на веревках два трупа. Одежда на мертвецах была изодрана, лица — синие, распухшие.

— Я его знаю, — пробормотала Мариам. — Того, кто слева.

Молодая женщина перед ними оглянулась.

— Да это же Наджибулла, — сказала она. — А рядом висит его брат.

Портреты круглолицего человека с усами при Советах были повсюду.

Позже им рассказали, что талибы вытащили Наджибуллу из здания представительства ООН, где ему в свое время было предоставлено убежище, долго пытали, потом привязали за ноги к машине и проволокли по улицам Кабула.

— Он убил многих мусульман! — кричал молодой талиб в черной чалме сначала на фарси, потом на пуштунском, тыча «стингером» в трупы. — Его преступления известны всем. Он был коммунист и предатель! Вот что мы делаем с неверными, совершившими преступления против ислама.

На губах у Рашида застыла усмешка.

Азиза на руках у Мариам расплакалась.

На следующий день Кабул наводнили грузовики. Красные «тойоты», забитые вооруженными бородачами в черных чалмах, разъезжали по улицам Хаир-Хана, Шаринау, Карте-Парвана, Вазир-Акбар-Хана, установленные на машинах динамики возглашали новые законы. О том же кричали громкоговорители у мечетей, о том же вещало радио, ныне известное как «Голос Шариата». Ветер носил по городу тысячи листовок. Мариам подобрала одну во дворе — все о том же.

Наше государство отныне именуется Исламский Эмират Афганистан. Вступают в силу следующие законы, обязательные ко всеобщему исполнению.

Все граждане обязаны молиться пять раз в день. Пойманному за другим занятием, когда настало время вознести молитву, полагается телесное наказание.

Все мужчины обязаны отрастить бороду длиной не меньше прижатого к подбородку кулака. За неисполнение — телесное наказание.

Все мальчики обязаны носить чалму: с первого по шестой класс — черную, выше шестого — белую. Все мальчики обязаны носить исламскую одежду. Рубахи должны быть застегнуты доверху.

Распевать песни запрещается.

Танцевать запрещается.

Играть в карты, в шахматы, в азартные игры, запускать воздушных змеев запрещается.

Писать книги, смотреть фильмы, рисовать картины запрещается.

Держать попугаев запрещается. Попугаи подлежат уничтожению. За неисполнение — телесное наказание.

Пойманным на воровстве следует отрубить кисть руки. За повторное воровство отрубается нога.

Немусульманам запрещается молиться на виду у мусульман. За неисполнение — телесное наказание и тюремное заключение. За попытку обратить мусульманина в чужую веру — смертная казнь.

Женщины!

Вам не следует покидать своих домов. Не подобает женщине бесцельно разгуливать по улицам. Выходить можно только в сопровождении родственника-мужчины. За неисполнение — телесное наказание и принудительная отправка домой.

Ни при каких обстоятельствах вам не следует показывать свое лицо. Выходить без бурки запрещается. За неисполнение — суровое телесное наказание.

Пользоваться косметикой запрещается.

Носить драгоценности запрещается.

Носить пышные наряды запрещается.

Говорить можно, только когда к вам обращаются.

Смотреть мужчинам в глаза запрещается.

Смеяться на людях запрещается. За неисполнение — телесное наказание.

Красить ногти запрещается. За неисполнение — телесное наказание.

Девочкам запрещается ходить в школу. Все школы для девочек немедленно закрываются.

Женщинам запрещается работать.

Виновные в супружеской измене побиваются камнями до смерти.

Слушайте. Слушайте внимательно. Соблюдайте закон. Аллах Акбар.

Примерно через неделю после того, как они видели мертвого Наджибуллу, вся семья ужинала в гостинной.

— Не могут же они заставить половину населения сидеть дома и не работать, — возмутилась Лейла.

Рашид выключил приемник.

— Почему бы нет?

Единственный раз в жизни Мариам про себя согласилась с мужем. Заставил же он их с Лейлой. Как миленьких.

— Здесь ведь не деревня, а *Кабул*. Здесь есть женщины-юристы, женщины-врачи. Женщины работали в правительстве.

Рашид осклабился:

— Сразу видно, что твой отец учился в университете. Очень уж ты нахальная. Таджичка, да еще городская, что возьмешь. А ты когда-нибудь уезжала из столицы, цветочек мой? Была в глубинке, на юге, на востоке, у границы с Пакистаном, видела *настоящий* Афганистан? Нет? А я видел. И могу тебе сказать: наша страна в основном так и живет. Или почти так. А ты не знала?

— Не могу поверить. Это все несерьезно.

— На мой вкус, то, что талибы сделали с Наджибуллой, куда как серьезно. Или ты не согласна?

— Он был коммунист! И шеф тайной полиции.

Рашид рассмеялся.

В его смехе читался ответ: в глазах талибов коммунист и палач, конечно, достоин презрения. Но его грехи *едва-едва* перевесят грехи женщины, нарушившей закон.

Когда талибы всерьез взялись за дело, Лейле не раз приходила в голову жестокая мысль, что Баби вовремя умер. Происходящее раздавило бы его.

Люди с мотыгами ворвались в полуразрушенный кабульский музей и расколотили на куски доисламские статуи — те, которые не успели украсть моджахеды. Университет был закрыт, студенты распущены по домам. Картины срывали со стен и резали штыками, телевизоры разбивали. Все книги, кроме Корана, сжигали, книжные лавки были закрыты. Поэмы Халили, Пажвака, Ансари^[47], Хаджи Дехкана, Ашраки, Бейтаба, Хафиза, Джами, Низами, Руми, Хайяма, Бедия^[48] обращались в дым.

До Лейлы доходили слухи, что людей, пропустивших намаз, волокли по улицам и силой вталкивали в мечети. В бывшем ресторане «Марко Поло» на Куриной улице теперь проводились допросы — из-за замазанных черной краской окон слышны были крики истязаемых. Специальные патрули разъезжали по городу на красных пикапах, высматривая, кто бреет бороду, и чиня расправу.

Кинотеатры тоже были закрыты — «Парк», «Ариана», «Ариуб»; будки киномехаников выпотрошены, ленты сожжены. Лейла хорошо помнила фильмы, которые они с Тариком смотрели в этих кинозалах, обычно это были индийские картины о разлученных судьбой влюбленных, он уехал в дальние края, ее насильно выдали замуж, проливаются обильные слезы, поются умильные песни, цветут поля, а любящим сердцам все никак не встретиться. Если Лейле на таком фильме вдруг приходила охота всплакнуть, Тарик всегда ее высмеивал.

— Интересно, что они сделали с кинотеатром моего отца? — сказала как-то Мариам Лейле. — Если от него, конечно, что-нибудь осталось. И если он не сменил хозяина.

Харабат, подлинный заповедник традиционной музыки в Кабуле, затих. Музыкантов избили, бросили в тюрьмы, их инструменты растоптали. Талибы наведались на могилу любимого певца Тарика Ахмада Захира^[49] и несколько раз выстрелили в землю.

— Он мертв уже почти двадцать лет, — недоумевала Лейла. — Или они хотят убить его во второй раз?

Забот у Рашида в связи с предписаниями талибов почти не прибавилось. Велено отращивать бороду — он отрастил. Велено регулярно посещать мечеть — он посещал. Надо так надо. К талибам Рашид относился снисходительно, словно к сумасброду-родственнику, скорому как на веселье, так и на расправу.

По средам, когда зачитывались списки приговоренных к различного рода наказаниям, Рашид слушал «Голос Шариата», по пятницам ходил на стадион «Гази», где покупал себе «пепси» и глазел на публичные казни и экзекуции. Вечером в постели он с непонятной радостью расписывал Лейле, как несчастных хлестали кнутом, как рубили руки и головы, как вешали.

— Сегодня я видел, как один человек перерезал глотку убийце своего брата, — заливался Рашид, окутываясь клубами табачного дыма.

— Дикость какая, — содрогалась Лейла.

— Ты так думаешь? Это смотря с чем сравнивать. Советы убили миллион человек. Знаешь, сколько людей пало жертвой моджахедов за все эти годы в одном только Кабуле? Пятьдесят тысяч. *Пятьдесят тысяч*. Что перед этим несколько отрубленных рук воров? Око за око, зуб за зуб. Так говорит Коран. И скажи-ка, если кто-нибудь убьет Азизу и этого человека поймут, неужели ты не воспользуешься случаем и не отомстишь?

Лейла посмотрела на него с отвращением.

— Это я просто для примера, — ничуть не смутился Рашид.

— Ты такой же, как они.

— А интересный у нее цвет глаз, у Азизы-то. А? У тебя глаза не такие. И у меня тоже.

Рашид поскреб бедро жены своим корявым ногтем.

— Я вот что тебе скажу. Если мне придет охота — может, и не придет, но как знать, как знать? — я легко смогу вышвырнуть Азизу вон. Как тебе это понравится? А то отправлюсь к талибам и объявлю, что у меня имеются подозрения на твой счет. Этого будет достаточно. Как ты считаешь, кому они поверят? И что с тобой сделают?

Лейла отодвинулась в сторону.

— Хотя вряд ли я на это пойду. Не стоит, пожалуй. Но ты меня знаешь.

— Ты достоин презрения, — сорвалось у Лейлы.

— Как ты любишь швыряться словами! Терпеть не могу. Даже когда сопливой девчонкой носилась по улицам со своим калеккой, все равно нос задирала. «Я такая умная, я столько книг прочла». И где он теперь, твой ум? Сильно тебе помог? Это я тебя спас от панели, а не твои книжки. И

после этого я достоин презрения? А как ты думаешь, многие женщины в этом городе на все бы пошли, только бы заполучить такого мужа, как я? Да добрая половина. *Убили бы, если надо.*

Рашид перекатился на спину и выдохнул дым в потолок.

— Тебе нравятся громкие слова? Вот тебе одно такое: перспектива. Я изо всех сил стараюсь, чтобы ты «не потеряла перспективу», как пишут в газетах.

И он был совершенно прав. Вот что внушало Лейле наибольшее отвращение. До тошноты.

Лейлу тошнило всю ночь.

И наутро тоже.

И несколько последующих дней подряд. Она даже привыкла.

Холодный, пасмурный день. Лейла лежит в ванной на полу. Мариам дремлет вместе с Азизой у себя в комнате.

В руках у Лейлы велосипедная спица. С помощью клещей она выкрутила ее из брошенного колеса, которое нашла в том тупичке, где они с Тариком когда-то целовались. Ноги у Лейлы расставлены, она тяжело дышит.

Азизу она обожала с самой первой минуты, как только почувствовала в себе биение новой жизни, никакие сомнения ее не мучили. А сейчас мучают. Как ни чудовищно, Лейла боится, что не сможет заставить себя полюбить будущего ребенка. Ведь его отец Рашид, не Тарик.

И вот в руках у нее спица.

Но что-то ее останавливает, не дает совершить непоправимое.

Минуты бегут.

Нет. Она не смеет.

Спица падает на пол.

И дело тут не в том, что она боится истечь кровью или согрешить. Да, между ней и Рашидом идет война. Но оказывается, даже на войне не все средства хороши. Это моджахедам наплевать на невинные жертвы. А Лейла не может позволить, чтобы на нее пала кровь невинного.

Ведь сколько ее уже пролито.

— Больница больше не обслуживает женщин! — рывкнул охранник, холодно глядя с верхней ступеньки лестницы на толпу, собравшуюся перед госпиталем «Малалай».

Толпа громко застонала.

— Но ведь это женская клиника! — под одобрительные возгласы выкрикнула женщина за спиной у Мариам.

Мариам пересадила Азизу с руки на руку и покрепче обхватила стонущую Лейлу. С другой стороны молодой жене подставлял свою шею Рашид.

— Теперь уже нет! — прокричал талиб.

— Моя жена вот-вот разрешится от бремени! — громко пожаловался плотный мужчина. — Брат, неужели ей прямо на улице рожать?

В январе объявили (Мариам сама слышала), что у женщин и мужчин больницы теперь будут отдельные и что весь женский персонал из кабульских госпиталей уволят и соберут в одно место. Тогда никто особо не поверил, да и талибы вроде не слишком усердствовали в проведении нового постановления в жизнь.

И вот вам пожалуйста.

— А госпиталь «Али Абад»? — крикнул другой мужчина.

Охранник покачал головой.

— А «Вазир-Акбар-Хан»?

— Только для мужчин.

— И что же нам делать?

— Ступайте в «Рабиа Балхи».

Из толпы выскочила молодая женщина:

— Я только что оттуда. Там ничего нет — ни чистой воды, ни кислорода, ни лекарств, ни света.

— Вот туда и отправляйтесь, — отрезал охранник.

Люди загомонили. Посыпались оскорбления. В воздухе просвистел камень.

Талиб вскинул автомат и дал очередь в воздух. Его напарник взмахнул хлыстом.

Толпа быстро рассеялась.

В приемной «Раба Балхи», насквозь провонявшей потом, мочой, табаком и карболкой, было полно женщин в бурках и детей. Лопасты потолочного вентилятора не двигались. Духота стояла страшная.

Мариам усадила стонущую Лейлу у облезлой стены.

Лейла, обхватив живот обеими руками, раскачивалась взад-вперед.

— Тебя осмострят, Лейла-джо. Уж я добыюсь.

— Живее, — поторопил Рашид.

Перед окошком регистрации переругивалась и толкалась очередь, многие с детьми на руках. У двойных дверей в процедурную тоже теснился народ. Талиб-охранник никого не пускал.

Мариам тараном врзалась в толпу, вовсю работая локтями. Ее пихали, пинали, обзывали и даже пытались схватить за лицо. Мариам отмахивалась, выворачивалась, напирала и неудержимо продвигалась вперед.

«Вот на что приходится идти матерям, — думала Мариам, раздавая толчки направо-налево. — Какие уж тут приличия».

Ей вспомнилась мать. Какая бы Нана ни была, она не избавилась от ребенка, приняла на себя позор, выносила и родила харами — и воспитала неблагодарную дочь. А та предпочла Джалилю. Дурочка была, не понимала, что такое мать.

Внезапно перед Мариам выросла медсестра в грязно-серой бурке до пят. К ней обращалась молодая женщина, чья накидка была насквозь пропитана кровью.

— У моей дочери воды давно отошли, а ребеночек все не появляется, — накинулась на медсестру Мариам.

— Я с ней говорю, — прорыдала окровавленная. — Дождись своей очереди.

Вся толпа всколыхнулась, словно трава под ветром.

— Моя дочь упала с дерева и сломала локоть, — надрывался кто-то у Мариам за спиной.

— А у моей дочки кровавый понос, — подхватила другая женщина.

— Температура у нее есть? — спросила медсестра. Мариам не сразу поняла, что обращаются к ней.

— Нет.

— Кровь идет?

— Нет.

— Где она?

Мариам поверх голов указала на место, где сидела рядом с Рашидом Лейла.

— Мы ею займемся, — пообещала медсестра.

— Когда?

— Не знаю. У нас всего двое врачей, и обе сейчас на операции.

— У дочки боли, — настаивала Мариам.

— У меня тоже! — завопила окровавленная. — Жди своей очереди!

Мариам оттеснили в сторону. Перед ней теперь были только затылки и спины.

— Погуляйте пока, — прокричала медсестра Мариам. — И ждите.

Уже стемнело, когда медсестра позвала их. В родовой палате было восемь коек, между ними ни ширм, ни занавесей. Зато персонал укутан с головы до ног. Две женщины рожали. Лейлу уложили на кровать у самого окна, замазанного черной краской. Из стены торчала треснутая раковина, над ней свисали с веревки перемазанные кровью хирургические перчатки. Вода из крана не шла. Посреди комнаты большой алюминиевый стол, верхняя часть прикрыта одеялом, нижняя пуста.

— Живых кладут наверх, — устало сказала Мариам женщина с соседней койки, заметив ее недоумевающий взгляд.

Докторша — маленькая, похожая в своей темно-синей бурке на птичку без клюва — говорила резко и отрывисто:

— Первый ребенок?

— Второй, — сказала Мариам.

Лейла вскрикнула, выгнулась дугой и вцепилась Мариам в руку.

— Были сложности с первыми родами?

— Нет.

— Вы ее мать?

— Да, — соврала Мариам.

Докторша приподняла накидку, вытащила странный металлический инструмент в форме конуса и, откинув бурку Лейлы, прижала ей к животу. Сначала одним концом, послушала минуту, потом другим.

— Сейчас я должна пощупать ребенка, хамшира.

Она сдернула с веревки перчатку, надела, положила одну руку Лейле на живот, а другую глубоко засунула внутрь. Та всхлипнула. Закончив свое дело, докторша передала перчатку медсестре, которая сполоснула ее водой из чашки и опять повесила на веревку.

— Вашей дочери необходимо сделать кесарево сечение. Знаете, что это такое? Мы разрежем ей утробу и извлечем ребенка. У него тазовое предлежание.

— Не понимаю.

— Ребенок не так лежит. Она не сможет родить его обычным путем. К тому же прошло слишком много времени. Ее надо немедленно в операционную.

Лейла, сморщившись, закивала и уронила голову набок.

— Только мне надо кое-что вам сказать. — Докторша как-то смущенно зашептала Мариам на ухо.

— Что она говорит? — простонала Лейла. — С ребенком что-то не так?

— Да как же она выдержит? — вырвалось у Мариам.

Видимо, докторше послышались в ее голосе обвинительные интонации.

— Думаете, я нарочно? Я просто в безвыходном положении. Из того, что мне нужно, они мне ничего не дают. У меня нет рентгена, нет отсосов, нет кислорода, нет даже простых антибиотиков. Когда благотворители готовы дать средства, талибы стараются, чтобы деньги пошли на что-то другое. Или все забирают себе.

— Доктор-сагиб, может, я что могу для нее сделать? — спросила Мариам.

— Да что происходит? — прорыдала Лейла.

— Можете сами купить лекарство, только...

— Пишите название, — потребовала Мариам. — И дайте бумажку мне.

Судя по движению под буркой, докторша покачала головой.

— У вас не будет на это времени. Во-первых, ни в одной из близлежащих аптек его все равно нет. Вам придется бегать по всему городу, и кто знает, отыщете ли вы его. Уже почти половина девятого, вас еще арестуют за нарушение комендантского часа. И вряд ли это лекарство окажется вам по карману, даже если вы его найдете. А операцию надо делать немедленно.

— Скажите же наконец, в чем дело? — жалобно спросила Лейла, приподнимаясь на локтях.

Докторша тяжело вздохнула и призналась Лейле, что в больнице нет никаких обезболивающих.

— Но если мы еще промедлим, вы можете потерять ребенка.

— Режьте. — Лейла откинулась назад и подогнула колени. —

Вытащите его и дайте мне в руки.

Лейла лежала на столе в старой операционной с обшарпанными стенами. Докторша тщательно мыла руки в тазу. Сестра протирала Лейле живот тампоном, смоченным желто-коричневой жидкостью. При каждом прикосновении Лейлу пробирала дрожь. Вторая сестра, слегка приоткрыв дверь, зачем-то выглядывала в коридор.

Сейчас докторша была без бурки, и глазам Мариам предстали тяжелые веки, седая прядь, усталые складки у рта.

— Они требуют, чтобы мы оперировали в накидках. — Докторша мотнула головой в сторону медсестры у двери: — Вот наш часовой. Увидит кого, даст знать, и я успею закутаться.

Она говорила деловым, почти равнодушным тоном, и Мариам поняла: женщина перед ней давно уже перегорела и рада уже тому, что ее не выгнали с работы. Ибо у человека всегда есть что еще отнять.

С каждой стороны стола вверх торчало по металлическому стержню. Сестра, которая мазала Лейле живот, прищепками прицепила к ним кусок ткани — занавесь между ней и хирургом.

Мариам встала у Лейлы за головой и нагнулась пониже. Их щеки соприкоснулись. Слышно было, как стучат у Лейлы зубы. Мариам взяла подругу за руку.

За занавесью двигались тени докторши и сестры, одна слева, другая справа. Рот у Лейлы стал похож на щель, зубы сжались, на губах показались пузырьки слюны, дыхание участилось.

— Мужайся, сестренка, — сказала докторша и склонилась над Лейлой.

Глаза у Лейлы широко распахнулись. Рот раскрылся. Жилы на шее напряглись. Лицо сделалось мокрое от пота. Пальцы сжались.

Но закричала она не сразу, чем и восхитила Мариам.

*Лейла**Осень 1999*

Выкопать яму пришло в голову Мариам.

— Вот здесь, — сказала она, зайдя за сарай. — В самый раз будет.

Они попеременно долбили лопатой спекшуюся землю, выгребали сухие комки. На первый взгляд работы было не так уж много, ведь яма им требовалась небольшая и неглубокая. Только грунт был словно каменный. Уже второй год стояла опустошительная засуха. Снега зимой выпадало мало, а весенних дождей и вовсе не было. По всей стране крестьяне бросали свои участки, распродавали имущество, скитались от деревни к деревне в поисках воды, уходили в Пакистан, в Иран, оседали в Кабуле. Но мелкие колодцы и в столице все высохли, так низко опустились грунтовые воды. Лейла и Мариам часами стояли в очередях за водой. Река Кабул пересохла, русло ее обратилось в городскую помойку, полную всякой дряни.

Мариам стукнуло сорок. В волосах у нее появилась седина, под глазами набрякли мешки, она лишилась двух передних зубов — один выпал сам, а второй выбил Рашид, когда Мариам случайно уронила Залмая. От постоянного пребывания во дворе на солнце кожа у нее загорела и покрылась вечным загаром.

Женщины передохнули, поглядели, как Залмай гоняется за Азизой, и опять принялись копать.

Углубление стало заметнее.

— Сойдет, — заключила Мариам.

Залмаю исполнилось два года. Он был пухленький, с густыми кудрявыми волосами, карими глазами и постоянным румянцем на щеках — совсем как у Рашида. Лоб у него тоже был как у отца — очень низкий.

Оставаясь вдвоем с Лейлой, Залмай был очаровательный малыш, веселый и резвый. Он обожал, чтобы его носили на закорках, частенько играл в прятки с матерью и сестрой, когда уставал, охотно сидел у Лейлы на коленках и слушал, как она ему пела. Его любимой песней была «Мулла

Мохаммад-джан» — слышав ее, он сучил ножками, смеялся и подпевал, когда дело доходило до припева.

*Поедем в Мазари-Шариф, мулла Мохаммад-джан,
В полях тюльпаны там цветут,
мой спутник дорогой.*

Лейла млела от его влажных поцелуев, умилялась ямочкам на локотках, розовым пяточкам, любила щекотать малыша, строила ему туннели из подушек и одеял, в которые он с восторгом залезал, радовалась, когда он засыпал у нее на руках, ухватив маму за ухо. Стоило Лейле вспомнить тот день, когда она лежала на полу в ванной, сжимая в руке велосипедную спицу, как у нее внутри все сжималось. Еще немного — и произошло бы непоправимое. И как только ей в голову взбрело! Сыночек был для нее истинным благословением. Все ее страхи оказались пустыми, она обожала Залмая. Так же как Азизу.

А Залмай души не чаял в отце. Когда Рашид приходил домой, ребенка было не узнать — становился непослушным, дерзким, легко обижался, долго дулся, назло маме проказничал.

Рашид разрешал ему все.

«Смекалистый какой», — только и скажет, бывало, глядя, как дурно ведет себя сын. На глазах у отца Залмай безнаказанно совал в рот и выплевывал мраморные шарики, зажигал спички, жевал сигареты.

Поначалу Залмай спал в одной постели с отцом и матерью. Потом Рашид купил ему кроватку с намалеванными на боках львами и леопардами, купил новые пеленки, погремушки, бутылочки (хотя и денег не хватало, и старые вещи Азизы были еще в полном порядке), купил игрушку на батарейках в виде цветка подсолнуха с сидящими на нем шмелями, которые жужжали и пищали под незатейливую мелодию. Подсолнух Рашид повесил над кроваткой.

— По-моему, ты говорил, заказов мало, — недовольно проворчала Лейла.

— Ничего, займу у друзей, — ответил Рашид.

— Так ведь отдавать придется.

— Все переменится к лучшему. После темной полосы всегда идет светлая. Смотри-ка, ему нравится.

Последнее время Лейла не так уж часто видела сына. Рашид забирал его с собой в мастерскую, где мальчик сидел под столом и играл обрезками

кожи и резины, пока отец тачал обувь. Если Залмай валил на пол стойку с туфлями, отец мягко выговаривал ему; если история повторялась, Рашид откладывал молоток, сажал сына на стол и долго увещевал.

Его долготерпение было подобно глубокому, никогда не пересыхающему колодцу.

По вечерам отец с сыном возвращались домой — Залмай у Рашида на плече, — пахнувшие клеем и кожей, таинственно улыбаясь, словно весь день только и делали, что плели заговоры. Пока Мариам, Лейла и Азиза расставляли тарелки, Залмай сидел рядом с Рашидом, увлеченный игрой, понятной только им двоим. Они тыкали друг друга в грудь, хихикали, кидались хлебными крошками, шептались о чем-то. Если Лейла заговаривала с ними, на лице Рашида изображалось недовольство, словно им помешал незваный гость. Если она хотела взять сына на руки или — еще хуже — Залмай сам тянулся к ней, Рашид прямо наливался злобой.

И Лейла отходила в сторону, неприятно задетая.

Однажды вечером — Залмаю совсем недавно исполнилось два — Рашид принес домой телевизор и видеомагнитофон. День выдался жаркий, но к ночи посвежело. Стало даже зябко.

Рашид уселся в гостиной и сказал, что купил все на черном рынке.

— Опять взял деньги в долг? — спросила Лейла.

— Это «Магнавокс».

Вошла Азиза и кинулась к телевизору.

— Осторожнее, Азиза-джо, — предупредила Мариам. — Пожалуйста, не трогай.

Волосы у Азизы сделались почти такими же светлыми, как у Лейлы, на щеках были точно такие же ямочки. Спокойная, задумчивая, девочка казалась не по возрасту рассудительной, а по речи, манере говорить, интонации ей никак нельзя было дать ее шесть лет. Лейла с легким сердцем поручала ей будить по утрам Залмая, одевать мальчика, кормить, расчесывать ему волосы. Азиза баюкала брата, успокаивала, когда тот слишком уж расходился. Как покачает сердито головой — ну точно взрослая!

Азиза нажала кнопку включения телевизора. Насупившийся Рашид схватил ее за руку и грубо отпихнул:

— Это вещь Залмая.

Азиза подошла к Мариам и забралась к ней на колени. Парочка была неразлучна. Мариам, с одобрения Лейлы, стала учить Азизу стихам из Корана. Азиза уже знала наизусть суру «Аль-Ихлас»^[50], суру «Аль-

Фатиха»^[51] и четыре *рюката* из утренней молитвы.

«Это все, что я могу ей дать, — сказала Мариам Лейле. — Я ведь ничего не знаю, кроме молитв. У меня больше ничего нет за душой».

В комнату вкатился Залмай. Такими глазами, как Рашид на сына, зрители обычно смотрят на уличных фокусников. Залмай подергал телевизор за шнур, пощелкал кнопками, пошлепал ладошками по пустому экрану, так что на стекле остались мокрые следы. Когда следы высохли, Залмай опять повозил руками по кинескопу. Судя по всему, Рашид преисполнился гордости за сына.

Талибы телевизоры запретили. Видеокассеты публично давили, ленты рвали и обматывали ими заборные столбы, спутниковыми антеннами украшали фонари. Но запретный плод сладок.

— Завтра попробую раздобыть какие-нибудь мультики, — посулил Рашид. — На толкучке все есть.

— Ты бы лучше нам новый колодец, что ли, купил, — кисло сказала Лейла.

Ответом ей был презрительный взгляд.

После ужина — пустой рис, и без чая (засуха!) — Рашид закурил и объявил Лейле свое решение.

— Нет! — твердо сказала Лейла.

— Я твоего мнения не спрашиваю.

— А я — твоего.

— Если бы ты знала все обстоятельства, по-другому бы заговорила.

Оказалось, Рашид залез в долги, на оплату даже части которых доходов от его мастерской заведомо не хватит.

— Я раньше не говорил, не хотел тебя расстраивать. И потом, ты будешь удивлена, сколько они зарабатывают за день.

— Нет! — отрезала Лейла.

Они были одни в гостиной. Мариам мыла в кухне посуду, дети находились вместе с ней. Слышался залиvistый смех Залмая и ровный голос Азизы, которая что-то рассказывала Мариам.

— Там полно детей и помладше ее. Теперь все кабульцы занялись этим.

— Меня совершенно не интересует, что другие вытворяют со своими детьми.

— Я глаз с нее не спущу. — В голосе Рашида уже звучало раздражение. — Да там мечеть через дорогу!

— Я не позволю тебе сделать из моей дочери уличную попрошайку!

Пощечина была хлесткой, звук разнесся по всему дому. Голова у

Лейлы дернулась. Голоса в кухне смолкли, стало очень тихо. Потом из передней послышался топот, в комнату влетела Мариам с детьми.

Вот тут-то Лейла и дала сдачи.

Впервые в жизни ей довелось ударить человека. Детские потасовки, толчки и шлепки, которыми они обменивались с Тариком, не в счет. А сейчас она со всей силы въехала Рашиду кулаком в лицо. Он даже пошатнулся, сделал два шага назад.

Послышался вздох.

Кто-то взвизгнул.

Кто-то закричал.

Какое-то мгновение Лейла стояла в полном обалдении, не в силах понять, что совершила. А когда поняла, на губах у нее показалась улыбка. Точнее, ухмылка.

Рашид тихо вышел из комнаты.

Лейле вдруг показалось, что вместе с ударом выплеснулись все тяготы их жизни — того, что выпало на долю ей, Азизе и Мариам, — и ради одного мгновения ликующего торжества, которое — конечно же! — положит конец всем мукам и унижениям, стоило пройти через страдания.

Она и не заметила, как Рашид вернулся. Пока он не схватил ее за горло и не прижал к стене.

Его багровое морщинистое лицо — какое огромное! — было совсем близко. Он так и не произнес ни звука.

Да и к чему слова, если твой револьвер нацелен прямо в рот молодой жене?

А яму они рыли из-за повальных налетов-обысков. Такие налеты проходили когда раз в месяц, когда раз в неделю, а последнее время чуть ли не ежедневно. Обычно талибы что-то конфисковывали да щедро раздавали пинки и подзатыльники. Но можно было нарваться и на публичную порку.

— Осторожно, — прошептала Мариам, опускаясь на колени. Они прятали в яму завернутый в полиэтилен телевизор. — В самый раз будет.

Они закидали яму землей и притоптали.

— Теперь порядок. — Мариам вытерла руки о подол.

Они условились, что, когда проверки прекратятся (через месяц-другой, а хоть бы и через полгода, не вечно же они продлятся, в конце концов), телевизор вернется в дом.

Во сне Лейла видела, как они с Мариам опять роют яму за сараем. Только на этот раз они закапывали Азизу. Пленка, в которую девочка была

завернута, вся запотела от ее дыхания, она сжимала и разжимала кулаки, за прозрачным пластиком белели обезумевшие глаза. Азиза беззвучно молила о пощаде. А Лейла говорила: *Это ненадолго, девочка моя. Совсем ненадолго. Вот закончатся проверки, и мама с Халой Мариам тебя выруют. Обещаю. Тогда и наиграемся. Во что только захочешь.* Лейла скинула вниз полную лопату земли и проснулась.

Но она четко слышала, как комья с шорохом ударились о пленку. И во рту у нее был неприятный привкус, словно она наелась земли.

В 2000 году засуха продолжилась. Это был страшный год.

В Гильменде, Заболе, Кандагаре^[52] целые деревни с овцами, козами и коровами снимались с обжитых мест и пускались на поиски воды и зеленых пастбищ. Когда люди не находили ничего и скотина издыхала, они подавались в Кабул. На склонах горы Карт-и-Ариана возникло целое поселение, по пятнадцать-двадцать человек в хижине.

Гремел фильм «Титаник». Мариам и Азиза устраивали целые шуточные потасовки из-за него. Азиза хотела быть только Джеком.

— Да тише ты, Азиза-джо!

— Джек! Ну-ка, скажи, как меня зовут, Хала Мариам? Меня зовут Джек!

— Отца разбудишь. Вот рассердится-то.

— Все равно, я — Джек! А ты — Роза.

Поверженная на обе лопатки Мариам соглашалась на Розу.

— Только тебе, Джек, суждено умереть молодым, — пыхтела она. — А я доживу до глубокой старости.

— Но я героически погибну, — весело возражала Азиза, — а ты, Роза, всю свою долгую, жалкую жизнь будешь по мне тосковать. — И, встав с Мариам, объявляла: — А теперь поцелуемся!

Мариам мотала головой из стороны в сторону, а Азиза, в восторге от собственного возмутительного поведения, чмокала ее в губы.

На пороге комнаты появлялся Залмай:

— А я кто буду?

— А ты будешь айсберг!

Весь Кабул млел от «Титаника». Пиратские копии фильма проносили через границу с Пакистаном, припрятав в самых укромных местах. Комендантский час — двери закрываются, свет вырубается, звук приглушен, — и люди садятся перед телевизором и проливают слезы над судьбой Джека и Розы, да и всех пассажиров обреченного судна. Если электричество не отключали, Мариам, Лейла и дети тоже не отрывали глаз от экрана. Уже раз двенадцать они извлекали телевизор из укрывища и ночью, при занавешенных окнах, водружали на стол.

Пересохшее русло реки Кабул обратилось в базар. Очень скоро на толкучке стали продавать с тележек ковры «Титаник», скатерти «Титаник», появился дезодорант «Титаник», зубная паста «Титаник», *накора*^[53] «Титаник» и даже бурки «Титаник». Какой-то особо смекалистый нищий назвал «Титаником» себя самого.

Родился град Титаник.

— *Это песня*, — говорили люди.

— *Нет, это море. Это роскошь. Это корабль.*

— *Это секс*, — шептали люди.

— *Это Лео*, — застенчиво говорила Азиза. — *Это все про Лео.*

— Всем нужен Джек, — сказала Лейла Мариам. — Джек придет и всех спасет. Только его уж не вернешь. Джек умер.

Тем же летом торговец тканями задремал с непотушенной сигаретой. Он пережил пожар, но огонь уничтожил склад, лавку с поношенной одеждой, мебельный магазин и пекарню.

Рашиду потом сказали, что если бы ветер дул с запада, а не с востока, его мастерская, может, и уцелела бы. Она ведь находилась в угловой части здания.

Они продали все.

Сперва ушли вещи Мариам, потом Лейлы. Продали детские вещи Азизы, ее немногочисленные игрушки, которые Рашид в свое время купил после долгих упрашиваний. Уплыли часы Рашида, его старый транзисторный приемник, его ботинки, галстуки и обручальное кольцо. В деньгах были обращены диван, стол, ковер и стулья. Когда Рашид продал телевизор, Залмай устроил целый скандал.

После пожара Рашид целыми днями торчал дома, награждал тумками Мариам, шлепал Азизу, швырялся чем ни попадя, придирался к Лейле (и одевается-то она не так, и пахнет не так, и зубы у нее желтеют).

— Да что с тобой случилось? Я женился на пери, а теперь передо мной какая-то карга. Ты стала совсем как Мариам.

Он устроился было в кебабную у площади Хаджи Якуб, но с этой работы его скоро выгнали из-за скандала с посетителем. Клиент пожаловался, что ему грубо швырнули хлеб. Рашид вскипел и обозвал гостя «узбекской обезьяной». Клиент, недолго думая, выхватил револьвер. В руках у Рашида оказался шампур. Рашид потом уверял, что он, как полагается, принес к столу шампур с кебабами, больше ничего, но у Мариам на этот счет были большие сомнения.

— Самое время опять залечь в постель, — съязвила Лейла.

— Не зли его, — встрепенулась Мариам.

— Предупреждаю тебя, женщина, — прорычал Рашид.

— Или покурить.

— Клянусь Господом...

— Горбатого могила исправит.

И тут он на нее набросился.

Удар. Еще удар. В грудь, в голову, в живот. Лейла отлетела к стене. Азиза и Залмай с криком схватили Рашида за рубашку, стараясь оттащить от матери. Какое там. Он повалил Лейлу и принялся бить ногами. Мариам кинулась на землю, прямо ему под ноги. Тут крепко досталось и ей.

Изо рта у Рашида текли слюни, глаза сверкали злобой, и он бил. Бил. Бил.

Бил, пока не выдохся.

— Клянусь, Лейла, ты меня доведешь, — прохрипел он, задыхаясь. — Однажды я тебя убью.

Хлопнул калиткой и был таков.

Когда все деньги вышли, явился голод. Мариам сама удивлялась, как скоро борьба с голодом стала основным содержанием их жизни.

Пустой белый рис без соуса и мяса сделался редким лакомством. А вот сидеть без обеда и ужина приходилось постоянно. Ну разве Рашид принесет баночку сардин, пару ломтей черствого хлеба, по вкусу напоминающего опилки, или притащит мешок ворованных яблок (а ведь за воровство отрубали руку!). А то прихватит в бакалейной лавке жестянку равиоли, которые они потом делили на пятерых (львиная доля доставалась Залмаю). Ели они и сырую репу с солью, и увядшие листья салата, и почерневшие бананы.

Призрак голодной смерти встал во весь рост. До Мариам дошли слухи, что одна вдова, живущая по соседству, щедро посыпала хлеб крысиным ядом и накормила семерых своих детей. Про себя вдова тоже не забыла.

Азиза сделалась кожа да кости, щеки у нее ввалились, ноги стали как палочки, а лицо приобрело оттенок слабо заваренного чая. Залмай постоянно пребывал в каком-то полусне, капризничал, но засыпал редко и ненадолго. У Мариам перед глазами плавали белые точки, кружилась голова, звенело в ушах. Ей вспоминались слова муллы Фатхуллы, которые тот часто повторял, когда начинался Рамадан: «Даже укушенный змеей обретет сон, но голодный — нет».

— Мои дети умрут, — в отчаянии сказала Лейла. — Прямо у меня на

глазах.

— Не умрут, — решительно произнесла Мариам. — Я не позволю. Все будет хорошо, Лейла-джо. Уж я знаю, что делать.

Душным днем Мариам надела свою бурку и вместе с Рашидом двинулась к гостинице «Интерконтиненталь». Автобус был для них непозволительной роскошью, и Мариам очень устала, пока взбиралась по крутому склону. Дважды ей становилось дурно, и приходилось останавливаться и пережидать.

У входа в отель Рашид обнялся с одним из швейцаров в темно-красном костюме и фуражке, и между мужчинами завязался дружеский разговор — Рашид придерживал приятеля за локоток. Потом он махнул рукой Мариам, и оба посмотрели в ее сторону.

Лицо этого швейцара показалось Мариам знакомым.

Человек в фуражке вошел в гостиницу, а Рашид и Мариам остались ждать. С этой точки открывался прекрасный вид на Политехнический институт, на старый район Хаир-Хана и на шоссе в Мазари-Шариф. К югу расположились корпуса хлебозавода «Сило», давно заброшенного, с испещренными следами от пуль и осколков стенами. Поодаль зияли пустыми оконными проемами развалины дворца Даруламан — когда-то в незапамятные времена они с Рашидом ездили туда на пикник. Сейчас Мариам казалось, что все это было не с ней.

Озирая окрестности, она постаралась сосредоточиться на воспоминаниях. Главное — не думать о том, что ей предстоит, и не растерять храбрости.

Каждые несколько минут к гостинице подкатывали джипы и такси и швейцар приветствовал гостей — вооруженных бородатых мужчин в чалмах, пышущих самоуверенностью. Смутное ощущение опасности исходило от них. Слышались обрывки разговоров на пуштунском и фарси. А также на арабском и урду.

— Полубуйся на наших *настоящих* хозяев, — чуть слышно прошептал Рашид, — пакистанских и арабских исламистов. Талибы — просто марионетки у них в руках. Вот — подлинные игроки, и ставки у них в Афганистане велики. Говорят, талибы разрешили им организовать по всей стране лагеря для подготовки террористов-смертников и воинов джихада.

— Что это он так долго? — удивилась Мариам.

Рашид сплюнул и растер ногой плевок.

Где-то через час швейцар пригласил их войти. В вестибюле гостиницы их овевала приятная прохлада. Посреди холла в креслах сидели двое,

автоматы отставлены в сторону, на кофейном столике две чашки дымящегося чаю и тарелка с пирожными *джелаби* — посыпанными сахарной пудрой колечками из теста. Азиза обожает джелаби, подумала Мариам и отвела глаза в сторону.

Вслед за швейцаром Рашид и Мариам вышли на балкон. Приятель Рашида вынул из кармана небольшой черный телефон и клочок бумаги с нацарапанными на нем цифрами.

— Это спутниковый телефон моего начальника. У вас пять минут. Не больше.

— Ташакор, — поблагодарил Рашид. — Я тебе обязан.

Швейцар кивнул и удалился. Рашид набрал номер и передал телефон Мариам.

Слушая гудки, Мариам думала о далекой весне 1987 года, когда ей в последний раз довелось увидеть Джалиля. Опираясь на трость, он стоял на их улице рядом со своим синим «мерседесом» с гератскими номерами и смотрел на окна их дома. Джалиль простоял так несколько часов, окликая Мариам по имени, как *она* в свое время звала *его* возле его дома в Герате. Мариам на мгновение раздвинула занавески и бросила быстрый взгляд на отца. Джалиль поседел, ссутулился. Очки на носу, неизменный треугольник носового платка из нагрудного кармана. И как он похудел — костюм висит мешком, брюки болтаются!

Джалиль тоже ее заметил. Глаза их на секундочку встретились, совсем как когда-то, только теперь *она* пряталась за занавесками. Мариам быстро задернула шторы, опустилась на кровать и стала ждать, когда Джалиль уедет.

Через некоторое время он и вправду уехал. И оставил письмо у двери. Много дней она прятала бумажку под подушкой, часто вынимала, вертела в руках. А потом порвала, не разворачивая.

И вот она, после стольких лет, звонит ему.

Мариам ругала себя сейчас за свою вздорную, девчоночью гордость. Надо было пустить Джалиля в дом. Пусть бы сел рядом с ней, сказал, ради чего приехал, путь-то неблизкий. В конце концов, он был отец ей. Дурной, недостойный, но отец. Да и такая ли уж страшная вина лежала на нем? Взять вот, к примеру, Рашида. Да и вокруг все эти годы творилось такое...

Мариам ужасно жалела, что уничтожила письмо.

— Вы звоните в городскую управу Герата, — сообщил Мариам низкий мужской голос в трубке.

Мариам откашлялась.

— Салам, брат. Я разыскиваю одного человека, который живет в

Герате. Точнее, жил, много лет тому назад. Его зовут Джалиль-хан. Он жил в районе Шаринау, и у него был свой кинотеатр. Не мог бы ты сказать, что с ним и где он сейчас.

В мужском голосе зазвучало раздражение:

— И ради этого ты звонишь в городскую управу?

— А куда еще? Прости, брат, я понимаю, ты очень занят, но речь идет о жизни и смерти.

— Я не знаю такого. Кино уже много лет как закрыто.

— Может, найдется человек, который его знает? Хоть кто-нибудь...

— Да кто?

Мариам зажмурилась.

— Прошу тебя, брат. У меня маленькие дети.

В трубке протяжно вздохнули.

— Неужели никого рядом...

— Сторож разве. По-моему, он прожил в Герате всю жизнь.

— Спроси его, пожалуйста.

— Перезвони завтра.

— Не могу. Мне дали телефон только на пять минут.

Трубка щелкнула. Мариам испугалась, что ее собеседник разъединился. Однако из телефона донеслись шаги, голоса, гудок автомобиля, шум вентилятора. Она приложила трубку к другому уху и опять закрыла глаза.

И увидела отца. Он с улыбкой доставал что-то из кармана.

— Ну да. Конечно. Тянуть больше не будем.

Это кулон-листик со свисающими кругляшками вроде монеток с выбитыми на них звездами и полумесяцами.

— Примерь, Мариам-джо.

— Что скажешь?

— Ты прямо как царица.

Прошло несколько минут.

Опять шаги. Щелчок.

— Он его знает.

— Да что ты!

— Он так говорит.

— Где он? — воскликнула Мариам. — Этот человек знает, где сейчас Джалиль-хан?

Неловкое молчание.

— Он говорит, тот, кого ты ищешь, давно умер. Еще в 1987 году.

Значит, ему тогда недолго оставалось. Он приехал из Герата

попрощаться.

Мариам подошла к перилам балкона. Отсюда виден некогда знаменитый плавательный бассейн, ныне пустой и запакощенный, с отвалившимся местами кафелем. И запущенный теннисный корт, сетка колбасой валяется посередине, словно сброшенная змеей кожа.

— Мне пора идти, — произнес телефон.

— Извини за беспокойство, — выдавила Мариам, роняя слезы.

Джалиль махал ей рукой, переходя горную речку, прыгая с камня на камень. Сколько раз она молила Господа, чтобы он подольше не разлучал их с отцом! «Спасибо», — хотела еще сказать Мариам, но тот, в Герате, уже повесил трубку.

Муж ел ее глазами. Мариам покачала головой.

— Все без толку! — Рашид выхватил у нее телефон. — Что дочка, что отец, никакого толку.

В вестибюле Рашид подскочил к опустевшим креслам, схватил с тарелки последнее оставшееся колечко, посыпанное сахарной пудрой, и быстро сунул в карман.

Дома пирожное съел Залмай.

Лейла

Холодным апрельским утром Азиза уложила в бумажный пакет свою блузку в цветочек, единственную пару носков, непарные шерстяные перчатки, коричневое одеяло в кометах и звездах, пластмассовую чашку с трещинкой, банан и игральные кости.

Стояла весна 2001 года — скоро Лейле исполнится двадцать три года. Было ясно и ветрено.

Всего несколько дней назад Лейла слышала, что Ахмад Шах-Масуд прибыл во Францию и выступил перед Европейским парламентом. Масуд стоял теперь во главе Северного Альянса — единственных противников талибов, кто не сложил оружия.

За месяц до этого до Лейлы дошли слухи, что талибы взорвали гигантские статуи Будд в Бамиане — как воплощение идолопоклонства и греха. Весь мир, от Китая до Соединенных Штатов, исторг вопль возмущения. Правительства, историки и археологи со всего земного шара писали обращения, умоляя талибов не трогать величайшие памятники истории в Афганистане. Но талибы остались глухи к увещаниям и действовали последовательно — сначала заминировали древние двухтысячелетние реликвии, а потом произвели серию взрывов, восклицая *Аллах Акбар* всякий раз, когда очередная часть колоссов обращалась в пыль. Лейле припомнилось, как они в далеком 1987 году вместе с Баби и Тариком забрались на макушку того Будды, что был побольше. Только сейчас весть об уничтожении скульптур ее почти не тронула. Ее собственная жизнь рушилась — что перед этим судьба каких-то мертвых истуканов?

Пока Рашид не сказал, что пора идти, Лейла с каменным лицом молча сидела на полу в углу гостиной. Ей не хватало воздуха — хоть она и старалась дышать полной грудью.

Они направлялись в Карте-Се. Рашид нес Залмая, Азиза держала за руку Мариам и старалась поспевать за отцом. Дул сильный ветер. Личико у Азизы с каждым шагом мрачнело — похоже, она начинала понимать, что ее обманывают. Лейла была просто не в силах поведать ей правду. Азизе было

сказано, что ее отдадут в особенную школу, откуда детей не забирают домой, где они не только учатся, но также едят и спят. Уже который день Азиза задавала матери одни и те же вопросы. Ученики спят по разным комнатам или в одной большой? Будет ли ей с кем дружить? А учителя там добрые и хорошие?

Один вопрос повторялся чаще других. *А сколько я пробуду в этой школе?*

Они остановились за два дома от приземистого, похожего на казарму здания.

— Мы с Залмаем подождем вас здесь, — сказал Рашид. — И вот еще что, пока не забыл...

Он выудил из кармана пластинку жевательной резинки и протянул Азизе, напустив на себя вид великодушного добряка, который не может расстаться с дочкой, не подарив что-нибудь ценное на память.

— Большое спасибо, — вежливо пробормотала Азиза.

Сердце у Лейлы сжалось, на глаза навернулись слезы.

Какая маленькая, а сколько в ней такта, какое у нее незлобивое сердце! Подумать только, сегодня вечером она не заснет у матери на плече, ее ровное дыхание не согреет Лейле душу! Да разве это возможно?

Залмай завертелся у отца на руках, закричал вслед сестре: «Зиза! Зиза!» — и стал вырываться из объятий Рашида. Хорошо, его отвлек шарманщик с мартышкой на другой стороне улицы.

Так что дальше они шагали втроем, Мариам, Лейла и Азиза. Стены приюта были в следах от пуль, крыша просела, некоторые окна забиты досками, за ветхой калиткой скрипят качели.

У калитки-то они и остановились, и Лейла еще раз проэкзаменовала Азизу, как следует отвечать на вопросы.

— Если тебя спросят про папу, что ты скажешь?

— Его моджахеды убили, — ответила дочка, как учили.

— Правильно. Ты все поняла?

— Это такая особенная школа. — Теперь, когда оказалось, что особенная школа существует на самом деле — вот она, — на Азизу было жалко смотреть. Губы так и прыгали, но девочка изо всех сил сдерживала слезы. — Если я скажу правду, — выговорила она тонким, дрожащим голосом, — меня не примут. Хочу домой.

— Я буду часто навещать тебя, — выдавила Лейла. — Обещаю.

— И я, — поддержала ее Мариам. — Мы будем проводить тебя, Азиза-джо, будем вместе играть, как всегда играли. Папа найдет работу, и мы тебя заберем.

— Тут кормят, — чуть не плакала Лейла, радуясь, что под буркой не видно лица. — Тебе тут не будет голодно. У них есть рис, хлеб и вода и, может быть, даже фрукты.

— Но ты будешь далеко. И Хала Мариам тоже.

— Я буду приходить к тебе, — повторила Лейла. — Каждый день. Посмотри на меня. Я твоя мать. Я буду приходить к тебе, чего бы это ни стоило.

Директор приюта, плешивый сутулый человек с добрым лицом, носил тубетейку и глядел на мир через очки с треснувшим стеклышком. Звали его Заман.

По дороге в кабинет он спросил у женщин, как их зовут, как имя дочки, сколько ей лет. В коридоре было темно, грязные босоногие дети расступались перед ними. Головы у большинства были бритые. Свитера с обтерханнами рукавами, продранные на коленях штаны, заклеенные изолентой куртки, запах хозяйственного мыла и талька, мочи и испражнений...

Лейле стало страшно за Азизу.

А у той наконец полились слезы.

Промелькнул за окном заросший сорняками двор: шаткие скрипучие качели, старые автомобильные покрышки, сдувшийся мяч под кривобокой баскетбольной корзиной без сетки. Они шли мимо комнат без мебели, с окнами, занавешенными пластиковыми полотнищами. Крошечный мальчишка вывернул из толпы, вцепился в Лейлу, попробовал забраться к ней на руки. Уборщик, вытиравший с пола лужу, отложил в сторону щетку и подхватил малыша.

С сиротами Заман был мягок и прост. Одного потреплет по плечу, погладит по голове, другому скажет ласковое словечко. Дети так и ластились к нему.

Директор провел посетителей в свой кабинет. Заваленный бумагами допотопный письменный стол и три складных стула — вот и вся обстановка.

— У вас гератский выговор, — сказал Заман Мариам. — Мой двоюродный брат когда-то жил в Герате.

Глубокая усталость чувствовалась в его скупых движениях, слабая улыбка не скрывала постоянной уязвленности и горечи.

— Он был стеклодувом, — продолжал Заман, — изготавливал замечательных нефритово-зеленых лебедей. На солнце стекло мерцало, словно внутри были вплавлены драгоценные камни. Давно вы из Герата?

— Очень давно, — отозвалась Мариам.

— Я-то сам из Кандагара. Бывали когда-нибудь в Кандагаре, хамшира? Нет? Как там красиво, какие сады! А виноград! При одном воспоминании слюнки текут.

Дети толпились у дверей кабинета, заглядывали внутрь. Заман мягко шикнул на них.

— Я и сам люблю Герат. Город художников и писателей, суфиев и мистиков. Знаете старую шутку: тут шагу нельзя ступить, чтобы ненароком не пнуть в зад какого-нибудь поэта.

Азиза, стоящая рядом с Лейлой, всхлипнула.

Заман сделал круглые глаза:

— Ты что это вдруг? Плакать не надо. Тебе у нас будет весело, малышка. Тяжело кажется только поначалу. Улыбнись-ка. Ну вот. А то я уж думал, придется кукарекать или кричать по-ослиному, чтобы тебя рассмешить. Вон ты какая миленькая.

Он позвал уборщика и велел присмотреть пока за Азизой. Девочка уцепилась за Мариам.

— Мы собираемся поговорить, — сказала Лейла. — Я сейчас приду. Ладно?

— Давай-ка выйдем на минутку, Азиза-джо, — мягко произнесла Мариам. — У мамы будет разговор с Кэкой Заманом. Идем-ка.

Оставшись с Лейлой наедине, Заман спросил, в каком году девочка родилась, чем болела, кто ее отец. Странное чувство охватило Лейлу при ответе на последний вопрос: ведь ее ложь на самом деле была правдой.

По лицу Замана было не понять, верит он ей или нет.

— Мы в нашем детском доме всегда принимаем слова матерей за чистую монету, — сказал он, — и не унижаемся до проверок. Если женщина говорит: муж умер и мне нечем кормить детей, — значит, так оно и есть.

Лейла разрыдалась.

Директор бросил ручку на стол.

— Мне так стыдно, — пролепетала Лейла, прижимая кулачок ко рту.

— Посмотрите на меня.

Лейла подняла глаза.

— Вы тут ни при чем. Слышите? Тут нет вашей вины. Вся ответственность падает на этих дикарей. Мне стыдно за то, что я тоже пуштун. Они опозорили мой народ. Вы не одна такая, сестра. К нам все время приходят матери вроде вас, все время, и жалуются, что им нечем кормить детей, потому что талибы запретили им выходить из дома и не

разрешают работать. Так что не вините себя. — Заман наклонился к ней поближе: — Я все понимаю.

Лейла вытерла глаза краешком бурки.

— Что касается моего детского дома, — вздохнул Заман, — сами видите, в каком он состоянии. Денег ни на что не хватает, и мы вынуждены вечно изворачиваться. От талибов мы не получаем почти ничего. Но делаем, что можем. Аллах милостив, милосерден, и питает, кого пожелает, без счета. Азиза будет сыта и одета. Это я вам обещаю.

Лейла закивала.

— Вот и ладно, — дружески улыбнулся Заман. — Только не надо плакать. Не годится, чтобы она видела вас в слезах.

— Да благословит вас Господь, брат, — всхлипнула Лейла.

Но когда пришла пора прощаться, все пошло насмарку. Этого-то Лейла и опасалась.

Азиза впала в отчаяние.

Ее пронзительные крики долго еще слышались Лейле, страшные картины так и маячили перед глазами. Вот Азиза вырывается из тонких мозолистых рук Замана и вцепляется в мать, да так, что не оторвешь, вот Заман хватается Азизу в охапку и быстро уносит за угол, вот Лейла с опущенной головой бежит по коридору к выходу, пытаясь сдержать рыдания...

— Я чувствую ее запах, — призналась Лейла Мариам, когда они уже пришли домой. — Она так пахнет, когда спит. А ты не чувствуешь?

— Ой, Лейла-джо, — тяжело вздохнула Мариам, — лучше перестань. Не надо думать об этом. Хорошего-то все равно ничего не придумаешь.

Поначалу Рашид провожал их — Лейлу, Мариам и Залмая — до приюта и обратно. Конечно, своим мрачным видом и ворчанием он изо всех сил старался дать понять, какое одолжение делает.

— Я уже немолод, — гудел он, — у меня ноги больные. Тебе, Лейла, дай волю, ты бы меня в землю втоптала. Только не выйдет у тебя. Выкуси.

За два дома до приюта Рашид останавливался и предупреждал, что ждет не больше пятнадцати минут.

— На минуту опоздаете — пойдете назад одни.

Как Лейла ни настаивала, ни упрашивала, ни увещевала, Рашид стоял на своем. Свидания получались — короче некуда.

Мариам тоже очень скучала по Азизе, только, по обыкновению, не жаловалась, помалкивала. А вот Залмай спрашивал про сестру каждый

день и молчать не собирался. Такой скандал закатит, такой рев поднимет — только держись.

Порой Рашид останавливался на полпути, ссылаясь на боль в ноге и поворачивал домой. Никакой хромоты при этом заметно не было. А то его ни с того ни с сего начинала одолевать одышка.

— У меня точно что-то с легкими, Лейла, — говорил он, закуривая. — Сегодня мне не дойти. Может, завтра полегчает.

Лейла чуть не плакала от возмущения и бессильной ярости.

И вот в один прекрасный день Рашид объявил Лейле, что больше с ней никуда не пойдет.

— Я и так день-деньской ношусь по городу в поисках работы. Устаю ужасно.

— Тогда я пойду одна, — взорвалась Лейла. — Тебе меня не удержать. Слышишь? Можешь меня побить, но Азизу я не брошу.

— Делай как знаешь. Только мимо талибов тебе не прошмыгнуть. Я тебя предупредил.

— Я с тобой, — вызвалась Мариам.

Но Лейла была против:

— Сиди лучше дома с Залмаем. Если нас втроем остановят... Не хочу, чтобы он видел.

Теперь Лейлу больше всего занимало, как пробраться к Азизе незамеченной. Поди, попробуй. Начнешь переходить улицу — а талибы тут как тут. «Как зовут? Куда идешь? Почему одна? А муж где? А ну поворачивай оглобли!» Если дело ограничивалось головомойкой или пинком под зад, считай, повезло. А то ведь всякое бывало. Дубинки, розги, кнуты. Или просто кулаки.

Однажды молодой талиб отлупил Лейлу антенной от радиоприемника. И присовокупил:

— Попадешься мне еще раз, бить буду, пока молоко матери из костей не выступит!

Дома пришлось лежать на животе и шипеть от боли, пока Мариам делала примочки, — вся спина и бедра оказались исполосованы. Но обычно Лейла так легко не сдавалась. Сделает вид, что направилась домой, а сама улучит минутку — и в переулок. Случалось, ее ловили и допрашивали по три-четыре раза на дню. Случалось, в ход вновь и вновь шли кнуты и антенны. И несолоно хлебавши — домой.

Жизнь научила: отправляясь теперь к дочке, Лейла старалась натянуть на себя побольше, даже в жару. Два-три свитера под бурку — и уже не так больно.

Но игра стоила свеч. Если получалось ускользнуть от талибов, Лейла проводила с Азизой целые часы. Они усаживались во дворе рядом с качелями (вокруг гомонили другие ребята, к кому пришли мамы) и разговаривали. Азиза рассказывала, что они последнее время проходили.

Оказывается, Кэка Заман каждый день обязательно давал им уроки, в основном чтения и письма. Но иногда это была география, иногда — природоведение, иногда — что-то еще.

— Только нам приходится задерживать занавески, чтобы талибы не увидели. У Кэки Замана уже заранее приготовлены спицы и клубки шерсти. Мы тогда прячем книжки — и за вязание.

Однажды во дворе приюта Лейла увидела женщину средних лет с неприкрытым лицом — накидка была поднята, — у которой в приюте было трое мальчиков и девочка. Лейла сразу узнала резкие черты и густые брови — правда, голова седая совсем и рот запал, — и перед глазами встали черная юбка, цветной платок, иссиня-черные волосы, туго стянутые на затылке в узел. Эта самая женщина запрещала ученицам закрывать лицо: ведь мужчины и женщины равны, и если мужчины не носят накидок, то и женщинам это ни к чему.

Почувствовав на себе взгляд, Хала Рангмааль подняла глаза на Лейлу — но не узнала.

Или не подала виду.

— В земной коре есть трещины, — важно произносит Азиза. — Они называются разломами.

Июнь 2001 года. Пятница. Жаркий день. Они вчетвером — Лейла, Залмай, Мариам и Азиза — сидят на заднем дворе приюта. Сегодня Рашид их сопровождал (что случалось ой как нечасто) и ждет у автобусной остановки.

Вокруг, пиная мячик, носятся босоногие дети.

— И каждый такой разлом проходит через каменный массив. Из таких массивов состоит земная кора, — продолжает Азиза.

Кто-то не пожалел своего времени, расчесал девочке волосы и тщательно заплел в косички.

Азиза трет ладошку о ладошку, наглядно показывая, что такое разлом.

— Они называются... кектонические плиты, вот!

— Тектонические, — поправляет Лейла.

Говорить ей больно. Горло горит огнем, спина и шея болят, на месте нижнего резца во рту пустое место. Зуб ей выбил Рашид два дня тому назад. Пока были живы мама и Баби, Лейла и не догадывалась, что можно

переносить такие частые и жестокие побои и не слечь.

— Ну да. И когда такие пласты движутся и цепляются один за другой, высвобождается энергия, которая достигает поверхности, и происходят землетрясения.

— Какая ты умненькая, — умиляется Мариам. — Куда умнее своей тупой тетки.

Лицо у Азизы пылает.

— И вовсе ты не тупая, Хала Мариам. А Кэка Заман говорит, что иногда перемещения плит происходят ужасно глубоко, так что на поверхности ощущается только легкая дрожь. Какими бы могучими ни были силы, которые заставляют их двигаться, только легкая дрожь.

Прошлый раз она рассказывала про атомы кислорода в атмосфере, что окрашивают небо в голубой цвет. «Если бы не атмосфера, — тараторила тогда Азиза, — небо было бы все черное, а солнце было бы еще одной большой звездой, горящей во мраке».

— Азиза сегодня пойдет с нами домой? — интересуется Залмай.

— Не сегодня, — устало говорит Лейла. — Потерпи еще немного.

Залмай направляется к качелям — походка совсем как у отца, вперевалочку, носками внутрь, — пихает пустое сиденье, шлепается на бетон и выдергивает из трещины травинки.

— Вода испаряется из листьев — представляешь, мама? — совсем как из мокрого белья, сохнущего на веревке. А дерево высасывает воду из почвы, и она идет через корни, через ствол, через ветки — к листьям. Это называется испарение.

Интересно, что талибы сделают с Кэкой Заманом, если его тайные уроки откроются, думает Лейла.

При ней Азиза, что называется, трещала без умолку, голосок ее звенел, руки ходили ходуном. Какая-то она стала дерганая, словно бы и не она совсем. И этот ее новый смех... деланный какой-то, подобострастный.

Были и еще перемены. Под ногтями у Азизы завелась грязь — и девочка, чтобы мать не заметила, стала прятать руки под себя. Когда рядом кто-нибудь принимался плакать или в поле зрения появлялся маленький приютский ребенок с голым задом и масляной от грязи головой, Азиза отводила в сторону глаза и громко заговаривала — все равно о чем. Прямо как хозяйка, старающаяся отвлечь внимание гостей от беспорядка в доме и замурзанных детей.

Ответы на все вопросы были расплывчатые, но веселые.

У меня все хорошо, Хала. Не волнуйся за меня.

А другие дети тебя не обижают?

Нет, мама. Они хорошие.

Ты хорошо ешь? Нормально спишь?

Ем. Сплю. Вчера мы ели баранину. Нет, кажется, на прошлой неделе.

Когда Азиза принималась изъясняться в такой уклончивой манере, она здорово напоминала Лейле Мариам.

И еще Азиза стала заикаться. Первая обратила внимание Мариам. Заикание было легкое, но отчетливое, особенно на словах, начинающихся с «т».

Лейла кинулась к Заману.

Директор нахмурился и сказал: наверное, она всегда такая была.

Они уходят из приюта и берут с собой Азизу. Ее отпустили на побывку. Рашид поджидает их на остановке. При виде отца Залмай издает вопль и весь извивается у Лейлы на руках. Азиза приветствует Рашида куда более сдержанно.

— Поторопитесь, — ворчит Рашид, — мне через два часа на работу.

Его только что взяли в «Интерконтиненталь» швейцаром. С двенадцати до восьми, шесть дней в неделю Рашид распахивает двери в машинах, подносит багаж, затирает шваброй грязные следы. Бывает, в конце рабочего дня повар ресторана разрешает Рашиду забрать с собой кое-какие остатки — только молчок насчет этого! — холодные фрикадельки, засохшие крылышки цыплят, слипшийся комкастый рис. Рашид заверил Лейлу, что, как только они поднакопят денег, Азиза вернется домой.

На Рашиде форма швейцара — темно-красный костюм из синтетики, белая рубашка, галстук на резинке; из-под фуражки с козырьком выбиваются седые волосы. В непривычном наряде у Рашида на удивление благостный, незлобивый вид. Такой и мухи не обидит. Ну просто тихий, кроткий человек, который безропотно сносит удары судьбы.

Они садятся на автобус, едут в град Титаник, ходят по базару, раскинувшемуся в высохшем русле реки. На ферме моста болтается повешенный: босой, с отрезанными ушами, со свернутой набок шеей. Базар заполняет толпа: торговцы, менялы, продавцы сигарет, женщины в бурках суют всем под нос фальшивые рецепты на антибиотики и вымаливают подаяние, жующие насвар^[54] талибы с хлыстами в руках высматривают в толпе, кто не так засмеялся, раскрыл лицо или еще как-то нарушил порядок...

В ларьке с игрушками Залмай хватает резиновый мячик в желто-синих разводах.

— И ты себе что-нибудь выбери, — благосклонно предлагает Рашид Азизе.

У той разбегаются глаза.

— Живее, через час мне надо быть на службе.

Азиза останавливает свой выбор на забавной игрушке, вроде крошечного автомата по продаже жевательной резинки. Сунешь в щель монетку, выкатится шарик жвачки, потом откроется крышечка снизу — и монетка опять у тебя в руках.

Узнав цену, Рашид высоко поднимает брови. Следует яростный торг.

Мячик остается у Залмая.

Рашид сердит.

— Ну-ка, положи на место, — говорит он Азизе таким тоном, будто она в чем-то перед ним провинилась. — Слишком дорого.

По пути в приют Азиза мрачнеет на глазах, уже не размахивает руками, не щебечет птичкой. Так происходит всякий раз перед расставанием. Теперь Лейла изображает оживание, нервно смеется, старается говорить о веселом. А когда ей не хватает слов, вступает Мариам.

Настает минута прощания. Рашид садится в автобус и уезжает на работу. Азиза машет рукой и понуро бредет вдоль стены приюта. У Лейлы из головы не идет дочкино заикание. Что она там говорила про перемещения тектонических плит?

Они происходят так ужасно глубоко, что на поверхности ощущается только легкая дрожь.

— Убирайся, уходи! — кричит Залмай.

— Тише, — успокаивает его Мариам. — На кого это ты кричишь?

Залмай показывает пальцем:

— Вон на того мужчину.

У их калитки стоит какой-то человек и смотрит на них. Вот он отрывается от стены и ковыляет навстречу им. Вот он расставляет руки.

Лейла замирает на месте.

Из горла у нее вырывается клокотание. Ноги подкашиваются. Опереться на Мариам... да где она? Нет, не надо шевелиться. И дышать не надо. И моргать. А то вдруг возникший перед ней образ пропадет. Развеется. Исчезнет.

Оцепеневшая Лейла смотрит на Тарика. И боится вдохнуть. И не может насмотреться.

Проходит целая вечность.

Лейла зажмуривается. Открывает глаза.

Вот он, Тарик, никуда не делся.

Лейла осторожно делает шаг к нему. Еще один. И еще.

А потом срывается с места и бежит навстречу.

Наверху, в комнате у Мариам, Залмай начинает капризничать. Сначала он кидает мячик в пол, в стены, пока Мариам не делает ему замечание. Дерзко глядя ей в глаза (ты, мол, для меня не указ), мальчишка не унимается. Потом они перекатывают друг другу по полу игрушечную «скорую помощь» с надписью красными буквами на боку. От Мариам — к Залмаю, от Залмая — к Мариам.

Мимо Тарика Залмай прошмыгнул, прижав к груди мячик и засунув большой палец в рот — верный знак, что он в тревоге. На Тарика он глядел с величайшим подозрением.

— Кто этот человек? — снова и снова спрашивает он у Мариам. — Он мне не нравится.

Мариам начинает было объяснять, что мама и этот дядя выросли вместе, но Залмай даже не слушает — возится со «скорой помощью», поворачивает ее задом наперед и вдруг заговаривает про мячик.

— Где он? Где мячик, который мне купил Баба-джан? Где-где-где? Хочу мячик! Хочу! — Голос его срывается на визг.

— Да где-то здесь, — пытается успокоить его Мариам.

— Нет, он пропал! — истошно кричит Залмай. — Я знаю, он исчез! Где он? Где мой мячик?

— Вот он! — Мариам выуживает вожденную игрушку из-под шкафа.

— Нет, не он! — в голос рыдает Залмай, сжав кулачки. — Это не тот! Дай мне настоящий! Где настоящий? Где-где-где?

Входит Лейла, берет сына на руки, вытирает ему мокрые щеки, гладит по кудрявой голове, шепчет на ушко ласковые слова.

Мариам выходит из комнаты и останавливается у лестницы. Сверху ей видны только вытянутые длинные ноги сидящего на полу Тарика, настоящая и протез, в штанах цвета хаки.

А в гостиной даже ковра нет, какой позор!

Постойте! А ведь этот швейцар, которого они встретили в «Интерконтинентале», когда звонили в Герат, ей и вправду знаком! Только тогда на нем была тубетейка и темные очки, вот она его сразу и не

признала! Да и давненько это было, целых девять лет прошло. Он еще все вытирал лоб носовым платком и просил пить...

Вот оно что, оказывается! А таблетки он глотал тоже только для виду? И кто из них сочинил всю эту историю, да с такими убедительными подробностями? И сколько Рашид заплатил Абдулу Шарифу — или как там его на самом деле зовут — за представление, разыгранное перед Лейлой, за весть о смерти Тарика?

— Я сидел в одной камере с парнем, двоюродный брат которого подвергся публичной порке за то, что рисовал фламинго, — рассказывал Тарик. — Он просто свихнулся на этих фламинго. Целые альбомы, десятки картин маслом с изображениями этих птиц. Они у него стояли в воде, грелись на солнышке, взлетали на фоне закатного неба.

— Фламинго, ну надо же, — произнесла Лейла.

Она тоже сидела на полу у стены, не сводя глаз со здоровой ноги Тарика, согнутой в колене, и ей ужасно хотелось опять припасть к нему, обхватить за шею, снова и снова назвать по имени, прижаться к широкой груди, как давеча у калитки. Но она не смела. И так уже осрамилась дальше некуда.

Но хоть прикоснуться-то к нему можно, убедиться еще раз, что Тарик — настоящий, живой, не призрак и не выходец с того света?

— Точно, — подтвердил Тарик. — Фламинго. Когда талибы нашли картины, больше всего их разозлили длинные голые птичьи ноги, — продолжал он. — Они связали двоюродному брату ноги, всыпали палками по пяткам и сказали: либо ты придашь картинам приличный вид, либо мы их уничтожим. И несчастный художник взялся за кисть и пририсовал каждой птице штаны. Вот так на свет появились угодные исламу фламинго.

Лейла фыркнула, но постаралась сразу подавить смех. Ей было стыдно за свою щербатую улыбку, за желтые зубы, за распухшую губу, за ранние морщины. Неумытая, непричесанная — в каком виде она предстала перед Тариком?

— Но все-таки последним посмеялся он, художник. Штаны-то он намалевал акварельными красками. И когда талибы ушли, он просто смыл акварель.

Тарик улыбнулся — Лейла отметила про себя, что у него тоже нет переднего зуба, — и зачем-то посмотрел на свои руки.

— Точно.

На нем был паколь, тяжелые высокие ботинки и черный шерстяной свитер, заправленный в брюки. А ведь раньше он был куда веселее, не делал пальцы домиком, не повторял «точно». Неужели то, что он теперь

взрослый человек, так пугает ее? И эти его неторопливые движения, эта утомленность... Да ведь ему целых двадцать пять лет! Высокий, гибкий, бородатый. Лицо обветренное, загорелое (и какое красивое!), руки покрыты мозолями, вены набухли. Лысеть начал. И карие глаза словно выцвели. Или, может, в комнате просто мало света?

Лейле вспомнилась мама Тарика, ее выгоревший парик, неторопливые манеры, мудрая улыбка. И его отец — с лукавыми глазами и неизменной шутливостью. Еще у калитки, захлебываясь слезами, Лейла поведала, какие вести дошли до нее о судьбе Тарика и его родителей. Он только головой покачал. И сейчас она желала знать, что с ними случилось на самом деле.

— Родители умерли, — печально произнес Тарик.

— Ой, извини. Мои соболезнования.

— Вот так. Не будем об этом. — Он вытащил из кармана сверток и протянул ей: — Держи. Это тебе от Алены с наилучшими пожеланиями.

Внутри оказался кусок сыра, обернутый в пластик.

— Алена. Красивое имя. — Лейла постаралась, чтобы голос не дрожал. — Твоя жена?

— Моя коза. — Он выжидательно улыбнулся: вспомнит или нет?

И Лейла вспомнила.

Ну конечно. Так звали дочку капитана, влюбленную в первого помощника, в том советском фильме, который они с Тариком смотрели в день окончательного вывода советских танков и военной техники из Кабула. На Тарике еще была смешная меховая шапка с ушами.

— Мне пришлось вбить в землю кол и привязать ее. И поставить вокруг изгородь. От волков. У подножия гор, где я живу, совсем рядом (и полукилометра не будет) лесок. Ели, пихты, немножко кедра. Вообще-то они из лесу носа не высовывают, волки-то. Но представь себе, пасется коза, блеет, охраны никакой... Искушение для хищников. Пришлось принимать меры.

— У подножия каких гор ты живешь?

— Пир Панжал^[55], Пакистан. Городок, где я живу, называется Мури. Это летний курорт, час езды от Исламабада. Зеленые холмы, горный воздух, летом прохладно. Рай для туристов. Его построили еще британские колонизаторы при королеве Виктории, чтобы было где спастись от жары. С давних времен там сохранилась чайная, несколько коттеджей, говорят, типично английских. А главная улица называется Мэлл. На этой улице почта, базар, рестораны, лавки, которые впихивают туристам цветное стекло и ручной работы ковры по завышенным ценам. Что забавно, движение там одностороннее. Представляешь, одну неделю все едут в одну

сторону, а другую — в противоположную. Местные говорят, в Ирландии кое-где до сих пор такое движение. Не знаю. Жизнь там течет спокойно, неторопливо, и мне это нравится. Мне по душе Мури.

— И твоей козе тоже? Алене-то?

Своей шуткой Лейла хотела перевести разговор немного в другую плоскость, ей было крайне интересно, кто еще, кроме Тарика, очень не хочет, чтобы козу съели волки.

Но Тарик лишь кивнул в ответ. Молча.

— Твои родители тоже... Сочувствую.

— Значит, ты слышал.

— Я тут поговорил с соседями... — Тарик вдруг осекся. (Что они ему такое сказали?) — Знакомых никого не осталось. Все новые лица.

— Все уехали. Из старожилов точно никого нет.

— Не узнаю Кабул.

— И я не узнаю. Хоть никуда отсюда и не уезжала.

— А у мамы новый друг, — объявил Залмай после ужина. Тарик давно ушел. — Мужчина.

— Да что ты? — оживился Рашид. — Ну-ка, ну-ка...

Тарик попросил разрешения закурить.

— Некоторое время мы жили в лагере беженцев Насир Бах. — Тарик стряхнул пепел в блюдце. — Когда мы туда прибыли, в лагере уже проживало шестьдесят тысяч афганцев. Нам повезло, лагерь, был далеко не самый плохой. Во времена холодной войны, наверное, считался образцовым. Запад всегда мог сказать: мы не только поставляем Афганистану оружие, смотрите, как мы обустроили несчастных.

Но Советы ушли, интерес к нам пропал, Маргарет Тэтчер больше не приезжала, финансирование сократилось. Потом советская империя рухнула, и мы стали Западу не нужны. Насир Бах сейчас — это палатки, пыль и выгребные ямы. Нам выдали палку и кусок брезента: стройте себе шатер.

Мне кажется, там все было коричневое. Палатки. Люди. Собаки. Овсяная каша. И дерево без листьев, на которое я забирался каждый день. Целый муравейник открывался передо мной. Старики грели на солнышке свои язвы. Дети тащили канистры с водой, мешки с мукой (хлеб из нее почему-то не выпекался), собирали собачьи какашки на растопку, вырезали из дерева АК-47. Ветер трепал брезент, нес мусор, сухую траву, в воздух взмывали воздушные змеи.

Дети умирали сплошь и рядом. От дизентерии, от туберкулеза, просто от голода. Если бы ты знала, Лейла, сколько детей похоронили на моих глазах! Ничего ужаснее и представить себе нельзя.

Тарик смолк. Пошевелился. Поджал под себя ногу.

— Отец умер в первую же зиму. Во сне. Без страданий. Той же зимой мама заболела воспалением легких и чуть не отправилась вслед за отцом. Температурила, кашляла, харкала кровью. Если бы не лагерный доктор... Он принимал больных в обычном фургоне, и к нему стояла жуткая очередь. Люди тряслись в ознобе, стонали, у некоторых дерьмо стекало по ногам, некоторые и говорить-то не могли, так им было плохо. И он выходил маму. К весне она поправилась.

А я поступил низко, позорно: напал на мальчишку лет двенадцати. Приставил осколок бутылки к горлу и отнял одеяло. Матери отнес.

Когда мать выздоровела, я поклялся, что буду работать, скоплю денег и мы снимем квартиру в Пешаваре. С отоплением и чистой водой. И я стал искать работу. Иногда по утрам в лагерь приезжал грузовик. Нужны были крепкие парни — расчищать поля от камней, собирать яблоки. Деньгами, правда, платили редко. Одеяло или пара ботинок — вот и вся оплата. Только меня никогда не брали. Посмотрят на мою ногу — и возьмут другого.

Можно было наняться копать канавы, строить хижины из самана, носить воду, чистить нужники. Желающих было предостаточно. А от меня отказывались.

И вот однажды, осенью 1993 года, мною заинтересовался один лавочник. Надо отвезти кожаное пальто в Лахор, говорит. Хорошо заплачу. (Хватило бы, чтобы снять квартиру на месяц-другой.) Вот тебе адрес моего друга. Это прямо у вокзала.

Конечно, я знал, в чем тут дело. Знал почти наверняка. Но деньги... кто бы мне предложил такую сумму? А зима была не за горами.

Я даже в автобус не успел сесть. Быстро меня вычислили. А может, подставили. Чуть полицейские подкладку надрезали, гашиш и разлетелся по всей улице.

Тарик издал дребезжащий смешок. В детстве он тоже так смеялся, чтобы скрыть смущение, когда набедокурит и все откроется.

— Он был хромой, — поделился Залмай.

— Это тот, о ком я думаю?

— Он просто заглянул на огонек, — вмешалась Мариам.

— А ты заткнись! — Рашид поднял кверху палец и повернулся к

Лейле: — Что я вижу! Лейли и Меджнун снова вместе! Как в старые добрые времена. — Лицо у него словно окаменело. — И ты впустила его. Сюда. В мой дом. Он был здесь с моим сыном.

— Ты обманул меня. Ты лгал мне, — выговорила Лейла сквозь зубы. — Ты подослал того человека. Если бы я знала, что *он* жив, я бы ни за что не осталась у тебя.

— А ТЫ МНЕ НЕ ВРАЛА, ЧТО ЛИ? — взревел Рашид. — Думаешь, я ничего не понял? Насчет тебя и твоей харамии? Совсем за дурачка меня держишь, шлюха?

Чем больше Тарик говорил, тем страшнее казалась Лейле та минута, когда он остановится и настанет ее черед рассказывать, что, когда и почему. Стоило Тарику ненадолго прерваться, как Лейле делалось плохо. Она избегала смотреть ему в глаза и сидела, уставившись на свои руки с пробивающимися черными волосками.

Про годы, проведенные в тюрьме, Тарик почти не упоминал. Сказал только, что научился там говорить на урду. На вопросы лишь головой качал. Этого было достаточно, чтобы перед Лейлой так и встали ржавые решетки, битком набитая камера, заплесневелые потолки. Через что довелось пройти Тарику! Жестокость, унижения, отчаяние...

— После моего ареста мама трижды приезжала ко мне, но мы так и не свиделись. Я ей написал письмо, потом еще. Не знаю, получила она их. Сомневаюсь. И тебе я тоже писал.

— Писал?

— Целые тома навалял. Твоему другу Руми за мной не угнаться. — Тарик опять засмеялся.

Наверху белугой заревел Залмай.

— Как в старые добрые времена, — повторил Рашид. — Влюбленная парочка. И ты, конечно, открыла перед ним лицо.

— Открыла, — подтвердил Залмай. — Ведь правда, мама? Я сам видел.

— Не очень-то я по душе твоему сыну, — посетовал Тарик, когда Лейла опять спустилась вниз.

— Извини. Не в этом дело. Просто... Да ладно, не обращай внимания.

Лейлу охватил стыд за Залмая. Ничего не поделаешь, малыш ревнует. И ведь до того обожает отца, что все другие мужчины в его глазах достойны лишь презрения.

Она постаралась сменить тему.

Я тебе писал.

Целые тома.

Тома.

— Сколько ты уже живешь в Мури?

— Меньше года. В тюрьме я познакомился с одним пакистанцем, бывшим хоккеистом, Салим зовут. Он уже в годах и в кутузке не новичок. В эту ходку ему дали десять лет за то, что ударил ножом переодетого полицейского. В каждой камере есть свой пахан типа Салима, хитрый, коварный, со связями. Именно через него я узнал, что мама умерла от солнечного удара.

У меня срок был — семь лет. Мне еще повезло. Говорили, у судьи, который рассматривал мое дело, брат женат на афганке. Вот он и проявил милосердие. Не знаю, правда это или нет.

Я освободился в начале зимы двухтысячного года. Салим дал мне адрес и телефон своего брата, Саида. Сказал, у брата гостиница на двадцать номеров с маленьким ресторанчиком. Велел передать, что я от него.

Мури я полюбил с первого взгляда. Вышел из автобуса, увидел заснеженные ели, деревянные коттеджи, дымок из труб, вдохнул горный воздух — и был покорен. Все зло, все беды и несчастья оказались так далеко. Будто совсем в другой мир попал. Саид взял меня на работу дворником и разнорабочим. За месячный испытательный срок заплатил половину нормального жалованья.

Лейла живо представила себе Саида: узкоглазый, краснолицый, он стоял у окна и смотрел, как Тарик расчищает снег; заложив руки за спину, наблюдал, как Тарик разбирает сифон под раковиной; склонившись над конторкой, проверял бухгалтерские документы...

— Поселили меня в сторожке рядом с домиком поварихи, пожилой вдовы по имени Адиба. До гостиницы надо идти через парк, мимо миндальных деревьев, мимо фонтана в форме пирамиды (летом работает круглые сутки).

Через месяц Саид начал мне платить полный оклад, предоставил бесплатный обед, выдал шерстяное пальто и даже купил новый протез. До слез меня растрогал своим добрым отношением. С первой получки я поехал в город и купил Алену. Шерсть у нее совершенно белая. Проснешься снежным утром — а козы словно и нет. Только нос чернеет и глаза.

Тарик смолк. Сверху доносились глухие удары — Залмай швырял мячик в стену.

— Я думала, ты умер, — выдавила Лейла.

— Знаю. Ты мне сказала.

У Лейлы перехватило горло.

— Этот человек... — вымолвила она, откашлявшись, — ну, который принес весточку о вас... у него был такой честный вид. Я ему поверила. Я была одна на всем белом свете, и мне было так страшно. Вот я и пошла за Рашида. Иначе...

— Не надо, — мягко сказал Тарик. Ни тени упрека не чувствовалось в его словах. Будто и не было ничего.

— Надо, Тарик. Ведь была и еще причина. О ней ты ничего не знаешь. Я обязана тебе сказать.

— Ты тоже сидел и говорил с ним? — спросил Рашид у Залмая.

Мальчик замялся. Как бы не сболтнуть опять лишнего. А то вон оно как все обернулось.

— Сын, я задал тебе вопрос.

Залмай сглотнул.

— Я был наверху, играл с Мариам.

— А мама?

Залмай умоляюще-виновато поглядел на Лейлу. Глаза его были полны слез.

— Все хорошо, Залмай, — ровно сказала Лейла. — Говори правду.

— Мама была внизу. Говорила с этим мужчиной.

Голосок тонкий-тонкий.

— Понятно, — сказал Рашид. — На пару бабы орудовали.

— Хочу встретиться с ней, — прошептал Тарик. — Хочу ее видеть.

— Обязательно, — сказала Лейла. — Уж я постараюсь.

— Азиза, Азиза, — с улыбкой повторил Тарик, как бы пробуя слово на вкус. — Какое красивое имя.

— И девочка красивая. Сам увидишь.

— Просто не могу дождаться.

Почти десять лет прошло. Как они встречались в тупичке, как целовались тайком! А какая она теперь в его глазах? По-прежнему красивая? Или он видит в ней постаревшую, опустившуюся, пугливую женщину, растерявшую за эти годы все свое очарование? На какое-то мгновение Лейле померещилось, что этих десяти лет не было и они расстались с Тариком вчера. Не было смерти родителей, замужества, обстрелов, убийств, не было талибов, избиений, голодухи... Детей и тех не

было.

Лицо у Тарика вдруг омрачилось, ожесточилось. Лейле было хорошо знакомо это выражение. Именно с таким лицом Тарик когда-то отстегнул протез и кинулся на Хадима.

Тарик осторожно прикоснулся к ее распухшей губе. Сказал холодно:

— Это он.

Перед Лейлой в мельчайших подробностях встал тот безумный день, когда они зачали Азизу, сплетение тел, его горячее дыхание, его страсть...

— Мне надо было увезти тебя, — произнес Тарик совсем тихо.

Лейла опустила глаза, сдерживая рыдание.

— Ты сейчас замужняя женщина и мать. И вот перед тобой предстаю я. За эти годы столько всего случилось. Наверное, мне не надо было приезжать. Но я не мог иначе. Ах, Лейла, лучше бы я никуда не уезжал и не расставался с тобой.

— Прекрати, — всхлипнула Лейла.

— Мне надо было настоять на своем, чего бы это ни стоило. Надо было жениться на тебе, пока была такая возможность. Тогда все пошло бы по-другому.

— Не надо. Не говори так. Прошу тебя. Не сыпь соль на рану.

Тарик шагнул было к ней и замер на полдороге.

— Не хочу притворяться. И не хочу ломать тебе жизнь. Если будет лучше, чтоб я исчез, только скажи. И я уеду обратно в Пакистан. И не причиню никаких неприятностей. Только скажи.

— Нет! — выкрикнула Лейла, хватая его за руку и сразу бросая. — Ни за что. Не уезжай. Умоляю тебя, останься.

Тарик помедлил. Кивнул.

— Он работает с двенадцати до восьми. Приходи завтра днем. Мы с тобой навестим Азизу.

— Я его не боюсь, ты ведь знаешь.

— Знаю. Приходи завтра днем.

— А потом?

— Потом... Я должна подумать. Все так...

— Да уж. Я понимаю. Прости меня за все. Я виноват перед тобой.

— Мне не за что тебя прощать. Ты придешь, ты обещал. Ты вернулся.

— Как я рад, что повидал тебя, — растроганно сказал Тарик.

Дрожа, она смотрела ему вслед. *Целые тома писем...* Лейлу затрясло сильнее. На душе у нее было невыразимо грустно. Но мрак вокруг немножко просветлел.

Слабый лучик надежды — ведь вот он?

Мариам

— Я был наверху, играл с Мариам.

— А мама?

— Мама была внизу. Говорила с этим мужчиной.

— Понятно, — сказал Рашид. — На пару бабы орудовали.

Черты лица у него смягчились, складки на лбу разгладились, подозрительность и недоверчивость куда-то пропали. Рашид сел прямо. Вид у него был... пожалуй, задумчивый. Словно у капитана корабля, которому только что доложили о мятеже на борту, и надо решать, какие шаги предпринять.

И вот решение принято.

Мариам открыла было рот, но Рашид, не глядя на жену, движением руки остановил ее:

— Поздно, Мариам.

Холодно сказал Залмаю:

— Отправляйся наверх, сынок.

На лице Залмая был написан ужас. Расширенными глазами он обвел лица взрослых. Вот ведь что вышло из его болтовни — он и думать не думал.

Ой, что будет?

— Живо! — приказал Рашид.

Взял сына за локоть и повел вверх по лестнице.

Залмай не сопротивлялся.

Мариам и Лейла молчали. Съежились, уставившись в пол, будто посмотреть друг на друга значило принять точку зрения Рашида. «Пока я тут открываю гостям двери и надрываюсь с чемоданами, у меня за спиной, в моем собственном доме, творится разврат и безобразие. Да еще в присутствии сына». Было очень тихо, только сверху доносились шаги — тяжелые, зловещие — и мелкий топоток на их фоне. Потом наверху заговорили — слов не разобрать — и резко смолкли. Хлопнула дверь, скрежетнул ключ в замочной скважине. Топот шагов по лестнице.

Одной рукой Рашид прятал в карман ключ, в другой сжимал ремень. Пряжка с размеренным стуком волочилась за ним по ступенькам.

Мариам кинулась ему наперерез — отлетела в сторону. Свистнул в воздухе ремень. Лейла даже пошевелиться не успела. Удар пришелся ей по голове. Лейла провела рукой по виску, посмотрела на окровавленные пальцы, на Рашида, словно не веря своим глазам. Недоумение сменила ненависть.

Рашид замахнулся еще раз — Лейла подставила руку и ухватилась за ремень. Какое там! Муж вырвал его одним быстрым движением. Ремень просвистел в воздухе. На этот раз Лейле удалось увернуться. Подскочив к Рашиду, она изо всех сил двинула его в ухо. Тот выругался и бросился на нее, загородив дорогу. Лейла метнулась в сторону, но бежать уже было некуда. Рашид прижал жену к стене и принялся охаживать ремнем, только кровь брызгала из-под пряжки.

По груди! По лицу! По пальцам! По плечам! Мариам потеряла счет ударам, потеряла счет своим мольбам, своим пустопорожним попыткам удержать его. Расплывчатый клубок из тел, скрежещущих зубов, сжатых кулаков, яростных хлестких ударов вертелся у нее перед глазами. И вот из красной мути проступила четкая картина: чьи-то обломанные ногти впились Рашиду в щеки, вцепились в волосы, царапают лоб... «Да это же я задаю ему жару, я», — не сразу поняла Мариам, и дикий восторг обуял ее.

Рашид оставил Лейлу и повернулся к ней. Поначалу он словно не видел Мариам, потом сощурился, взгляд сделался сосредоточенным, тяжелым, гневным. Мариам вспомнила свадебную церемонию, Джалиля рядом, зеркало, где они с будущим мужем впервые встретились глазами... Казалось, само равнодушие глядит на нее из стеклянной зыби. А она беззвучно молила чужого, постороннего человека о снисхождении.

О снисхождении.

И вот перед ней те же глаза. Жестокие. Немилостивые.

А почему?

Разве она была ему дурной женой? Изменяла? Грубила? Плохо кормила его и его друзей? В чем она перед ним провинилась? За что он постоянно мучил ее?

Разве она не отдала этому человеку свою молодость?

Ремень со стуком упал.

Значит, Рашид решил действовать голыми руками.

Лейла быстрым движением подняла что-то с пола. Сверкнуло доньшко разбитого стакана с острыми, зазубренными краями.

По щеке Рашида из глубокой раны ручьем полилась кровь, пятная рубаху.

Рашид крутанулся на каблуках и рванулся к Лейле. Та упала.

Мгновение — и муж рухнул на нее, ухватил за горло. Лейла захрипела.

Мариам клещом вцепилась ему в плечи и попыталась оттащить. Потом попробовала разжать пальцы. Потом укусила за руку. Бесполезно. Хватка только усиливалась.

«Он задушит ее, — сообразила Мариам. — Нам с ним не справиться. Спасения нет».

Она выскочила из комнаты. Залмай наверху молотил кулачками по закрытой двери.

Мариам пулей вылетела во двор.

Лопата стояла на привычном месте у сарая.

Рашид не заметил, что Мариам вернулась.

Лицо у Лейлы посинело, глаза вышли из орбит. Она уже не сопротивлялась.

Сколько всего он отнял у Мариам за двадцать семь лет? Сейчас заберет и Лейлу.

Мариам подняла лопату.

— Рашид!

Он обернулся.

Лопата угодила ему в висок.

Удар свалил Рашида на бок, заставил разжать пальцы, схватиться за окровавленную голову. В лице его уже не было ни ярости, ни ожесточения. «Он понял, что я не дам ему спуска, — мелькнуло в голове Мариам. — А может, в нем проснулась совесть».

Она заглянула Рашиду в глаза.

В них не было ничего, кроме лютой злобы.

Губы его бешено искривились.

«Если я с ним сейчас не расправлюсь, — поняла Мариам, — он вытащит свой револьвер. И убьет не только меня, я и защищаться бы не стала. Лейлу тоже убьет».

Мариам размахнулась изо всех сил, повернула лопату острием вниз и обрушила на Рашида.

Вся ее несчастливая жизнь уместилась в этот удар.

Лейла

Над Лейлой нависло лицо: зубы оскалены, глаза выпучены. От запаха табака перехватывает дыхание. Мариам мельтешит где-то рядом. А выше только потолок, и череда пятен сырости на нем, и трещина в штукатурке, похожая на равнодушную ухмылку или на недовольно искривленный рот — с какой стороны комнаты глядеть. Сколько раз Лейла смахивала с потолка пыль и паутину, обмотав палку тряпкой. Трижды они с Мариам закрашивали трещину. И вот ее нет, она превратилась в ехидный взгляд, да и тот уходит дальше и дальше. И потолок за ним. Маленький такой стал, не больше почтовой марки, вон как горит во мраке. И вспыхивает еще ярче, и разлетается в разные стороны, и опять сливается в одно, и снова разбрызгивается. Дождь светляков изливается на Лейлу и гаснет, гаснет, гаснет...

Откуда-то издалека слышны неясные голоса, сын и дочь кружатся перед Лейлой, в их лицах озабоченность, тревога, тайна. Залмай нетерпеливо-обожаяще глядит на отца.

Вот и все, мелькает в голове у Лейлы.

Какая презренная смерть.

И вдруг мрак редет.

Лейла словно возносится, зависает в воздухе.

Потолок возвращается на законное место, гладкий и просторный. Вон она, трещинка, улыбается себе безмятежно.

Лейлу кто-то трясет.

— Ты жива? Пришла в себя? — слышит она встревоженный голос.

Над Лейлой склоняется Мариам. Как близко, каждую морщинку видно.

Лейла пытается сделать вдох. Горло горит огнем. Лейла пробует еще раз. Огонь проникает глубоко в грудь. Лейла хрипит, давится, кашляет. Но дышит.

В том ухе, которое слышит, оглушительно звенит.

Лейла поднимается и видит Рашида. Он неподвижно лежит на спине, невидяще уставившись перед собой. Рот у него чуть приоткрыт, по щеке

стекает розовая струйка, штаны мокрые.

А лоб-то, лоб!

Лопата? Зачем она здесь?

Лейла глухо стонет.

— Боже... — Голос у нее дрожит и пресекается. — Как же это, Мариам?

Стиснув руки, Лейла мечется по комнате.

Мариам неподвижно сидит на полу рядом с телом. Молчит.

Лейлу бьет дрожь. Она что-то говорит, запинаясь, старается не смотреть на покойника, на его приоткрытый рот и застывшие глаза.

Смеркается, сгущаются тени. В неверном свете лицо у Мариам такое старое. Но ни тревоги, ни страха в нем нет, оно спокойно и сосредоточенно. Мариам так ушла в себя, что не замечает, как ей на подбородок садится муха.

— Сядь, Лейла-джо, — наконец говорит она.

Лейла послушно садится.

— Нам надо вытащить его во двор. Не годится, чтобы Залмай видел тело.

Мариам вынимает у Рашида из кармана ключ от спальни. Они заворачивают мертвеца в покрывало. Лейла держит труп за ноги, Мариам подхватывает под мышки. Но им его не поднять — слишком тяжел. Приходится волочить волоком. Нога покойного цепляется за порог входной двери и выворачивается на сторону. Еще одна попытка. Наверху что-то с шумом обрушивается на пол. Ноги под Лейлой подгибаются, она выпускает тело из рук и оседает на землю, захлебываясь рыданиями.

— Возьми себя в руки, — строго говорит Мариам. — Сделанного не воротишь.

Через некоторое время Лейла поднимается. Вытирает лицо. Вдвоем они вытягивают труп во двор, доволакивают до сарая и укладывают рядом с верстаком, на котором лежат гвозди, молоток, пила и круглая деревяшка. Рашид все собирался вырезать из нее какую-нибудь игрушку Залмаю. Да так и не собрался.

Они возвращаются в дом. Мариам моет руки, приглаживает волосы, вздыхает.

— А теперь займемся твоими ранами, Лейла-джо.

— Дай мне время подумать, — просит Мариам. — Мне надо собраться

с мыслями и разработать план. Должен быть выход, и я найду его.

— Надо бежать. Нам нельзя здесь оставаться, — произносит Лейла надтреснутым голосом. Ей вдруг вспоминается звук, с каким лопата вошла в голову Рашиду, — оказывается, она его слышала, — и к горлу подступает тошнота.

Мариам терпеливо ждет, когда Лейле полегчает, кладет ее голову себе на колени, гладит по волосам.

— Мы уедем, милая. Всею компанией — я, ты, дети и Тарик. Мы уедем из этого дома, из этого жестокого города, из этой страны. Далеко-далеко, где нас никому не найти. Для нас начнется новая жизнь. Мы купим домик где-нибудь на окраине, в тени деревьев, в месте, о котором и не слыхали никогда. Дороги там узкие и незамощенные и до лугов рукой подать. Дети будут играть в высокой траве и купаться в чистом голубом озере, где водится форель и растет камыш. У нас будут свои овцы и куры, мы с тобой будем печь хлеб и учить детей читать. И все наши грехи останутся в прошлом, и никто нам будет не нужен, и жизнь у нас будет спокойная и счастливая. Мы ее заслужили.

— Конечно, — мечтательно бормочет Лейла, закрывая глаза.

Ласковый голос Мариам обволакивает и убаюкивает ее. К утру Мариам все придумает и устроит — она не бросает слов на ветер. У нее уже зреет план — вон она какая сосредоточенная, не то что Лейла, у которой все мысли разбежались в разные стороны, не собрать. У них все получится.

— Ведь правда?

Мариам тормошит Лейлу:

— Сходи к сыну. Как он там?

Потемки. Залмай свернулся на отцовской стороне тюфяка. Лейла ложится рядом и накрывает сына одеялом.

— Ты спишь?

— Нет. Как мне спать, если мы с Бабой-джаном не помолились. Страшный *Бабалу* возьмет да и придет.

— Давай ты сегодня помолишься со мной.

— Ты не умеешь.

Она сжимает ему ручку. Целует в шею.

— Я попробую.

— А где Баба-джан?

— Папа ушел. — Горло у Лейлы сжимается.

Вот она, первая страшная ложь. И лгать придется снова и снова. Без

счета. Ей вспомнилось, с какой нетерпеливой радостью встречал Залмай отца, когда тот возвращался с работы, как Рашид подхватывал сына на руки и кружил в воздухе и как потом Залмай хихикал, пошатываясь, точно пьяный. Ей вспомнились их шумные игры, их веселый смех, их напускная таинственность.

Сердце стиснуло от жалости.

— А куда он ушел?

— Не знаю, милый мой.

— А он скоро придет? Он подарит мне что-нибудь, когда вернется?

Лейла произносит слова молитвы. Двадцать один раз *Бисмилла-и-рахман-и-рахим* — семь пальцев, по три косточки на каждом. Залмай дует себе на ладошки, прижимает их тыльной стороной ко лбу, машет руками, будто отгоняет кого. Шепчет: уходи, Бабалу, не приставай к Залмаю, он не хочет тебя знать, уходи, Бабалу. В завершение ритуала оба троекратно возглашают *Аллах Акбар*.

Значительно позже, уже глухой ночью, задремавшую Лейлу будит тоненький голосок:

— Баба-джан ушел из-за меня? Из-за того, что я рассказал про тебя и про того дядю?

Лейла в ужасе прижимает сына к себе, желая сказать: «Нет, ты тут ни при чем, Залмай. Твоей вины тут нет».

Но мальчик уже спит, посапывая.

Когда Лейлу поутру будит призыв муэдзина, выясняется, что в голове у нее значительно просветлело. Не то что накануне вечером — ведь совсем ничего не соображала.

Лейла встает с постели и долго смотрит на Залмая. Тот спит, сунув кулачок под щеку. Лейла думает о Мариам — наверное, та приходила к ним ночью, глядела на спящего Залмая и обдумывала свой план.

У Лейлы болит все: шея, плечи, спина, руки, бедра, везде кровавосиние ссадины от пряжки Рашидова ремня. Морщась, Лейла тихо выходит из спальни.

В комнате у Мариам рассветные сумерки (час, когда роса опускается на траву и поют петухи). Сама она стоит на коленях в углу на молитвенном коврике. Лейла опускается рядом с ней.

— Ты должна съездить за Азизой. Прямо сейчас, — говорит Мариам.

— Ясно.

— Пешком не ходи. Сядь в автобус, смешайся с толпой. В такси ты будешь слишком на виду, да еще одна — точно остановят.

— Помнишь, что ты мне говорила вчера? Ты ведь просто так, чтобы меня успокоить...

— Нет. Я серьезно. Ты обретишь счастье, Лейла-джо.

— Я? Почему я? А как же ты?

Мариам печально улыбается и молчит.

— Пусть все будет, как ты говорила, Мариам. Мы уедем вместе — я, ты и дети. У Тарика в Пакистане есть работа и жилье. Мы спрячемся там, пока все не уляжется.

— Это невозможно, — отвечает Мариам. Терпеливо так, словно мать ребенка, которому подай луну с неба.

— Мы будем заботиться друг о друге, — давится словами Лейла. — Хотя нет. Это я буду ухаживать за тобой. Это для меня такая радость.

— О, Лейла-джо.

— Я буду готовить и убирать в доме. Тебе не придется делать ничего. Будешь отдыхать, спать, заниматься садом. Я все твои прихоти исполню. Не покидай нас, Мариам. Каково будет Азизе без тебя?

— За украденный кусок хлеба отрубают руку, — напоминает Мариам. — А что они сделают с двумя женами-беглянками, когда найдут тело мужа?

— Никто ж не знает. Нас не найдут.

— Найдут. Рано или поздно. Они хорошие ищeyки. — Слова Мариам в отличие от Лейлиных звучат убедительно, веско.

— Прошу тебя. Умоляю.

— Когда нас найдут, вина падет на всех. И на тебя, и на Тарика. Получится, я сломаю вам жизнь. В бегах приходится несладко. А поймают вас, что станется с детьми? Кто о них позаботится? Талибы? Ты же мать, Лейла-джо. Вот и рассуждай как мать.

— Не могу.

— Придется.

— Это нечестно. — По лицу у Лейлы текут слезы.

— Честнее не бывает. Иди ко мне. Приляг рядышком.

Лейла, совсем как давеча, кладет голову Мариам на колени. Сколько времени они провели вместе, расчесывая друг другу волосы и заплетая косички! Как внимательно, ласково, участливо выслушивала ее болтовню Мариам! Можно было подумать, для нее это честь.

— Это справедливо, — убежденно говорит Мариам. — Ведь я убила мужа, лишила детей отца. Мне нельзя бежать с вами. — Губы у нее дрожат. — Твой сын никогда меня не простит. Как мне смотреть ему в глаза? Да разве я осмелюсь?

Мариам расплетает Лейле тугую косичку.

— Я остаюсь здесь. Мне в жизни больше ничего не надо. Все, о чем я мечтала девчонкой, ты мне дала. С тобой и с твоими детьми я была счастлива. Вот и все, Лейла-джо. Только не грусти.

— А как же озеро, полное форели, деревья, луга? Как же куры и овцы? — в голос рыдает Лейла, прижимаясь к родным коленям. — Как мы будем без тебя?

Мариам дает Залмаю на обед кусок хлеба и несколько сушеных фиг. Пару фиг и печенье в форме зверюшек она укладывает в пакетик для Азизы.

— Поцелуй девочку за меня, — говорит Мариам. — Передай ей, что она светоч моих очей и повелитель моего сердца. Очень тебя прошу.

Лейла молча кивает.

— Садись в автобус, как я сказала. И держись поскромнее, понезаметнее.

— Когда мы теперь свидимся, Мариам? Я обязательно хочу дать показания. Я объясню им, как все произошло, растолкую, что у тебя не было другого выхода. Ведь они все поймут, правда? Они поймут.

Мариам мягко смотрит на нее, нагибается к Залмаю и целует в щеку. На мальчике красная майка, потрепанные зеленые штаны и поношенные ковбойские сапожки, купленные недавно Рашидом. В руках Залмай сжимает мячик.

— Веди себя хорошо, — напутствует Мариам. Залмай смотрит букой. — Не обижай маму. И прости меня за все.

Лейла берет сына за руку, и они идут по улице. На перекрестке Лейла оборачивается. Мариам стоит у калитки и смотрит им вслед. На ней белый платок (прядь седых волос выбилась наружу), темно-синяя кофта и белые шальвары. Мариам машет им рукой.

Лейла сворачивает за угол.

Мариам она видит последний раз в жизни.

Она будто опять очутилась в своей глинобитной хижине. После стольких-то лет.

Женская тюрьма Валаят расположена в Шаринау неподалеку от Куриной улицы. Серое квадратное строение со всех сторон окружают корпуса, предназначенные для мужчин. Всего пять камер — грязных, обшарпанных, — крошечные окна выходят во внутренний дворик. Стекол в них нет, одни решетки. А вот двери настежь, во двор можешь выйти когда заблагорассудится. Никаких занавесок — стражники-талибы толпятся под окнами, блудливо заглядывают в камеры, курят, скалят зубы, отпускают шуточки. Из-за этого большинство женщин целыми днями в бурках и снимают их только после захода солнца, когда главные ворота закрывают и талибы заступают на посты.

По ночам в камере, где, кроме Мариам, еще пять женщин и четверо детей, полнейший мрак. Но они приспособились. Под потолком тянутся два оголенных провода. Если электричество не отключено, женщины поднимают повыше Нахму — плоскогрудую коротышку с мелко вьющимися черными волосами, — и та голыми руками накручивает провода на цоколь лампочки.

Уборные размером со шкаф — просто квадратная дыра в полу безо всякой канализации. Вонь. Полно мух.

Двор прямоугольный, посередке колодец с тухлой водой. На веревках сушится белье. Здесь проходят свидания, здесь варится принесенный родственниками рис — в тюрьме не кормят. Здесь же резвятся босоногие дети. Многие родились в застенке и не представляют себе, что где-то есть другая жизнь, без пропитавшего все вокруг смрада, без покрытых струпьями стен, без решеток на окнах. И без охранников.

К Мариам никто не приходит. Это единственное, о чем она просила тюремное начальство. Никаких свиданий.

В камере Мариам нет серьезных преступниц — в основном сидят за «бегство из дома». К ней относятся с боязливым уважением, она — тюремная знаменитость. Ей все стараются угодить — то едой поделятся, то

лишнее одеяло дадут.

Нахма — та просто души в ней не чаёт, всюду ходит хвостом. Нахму хлебом не корми, только дай поговорить о превратностях судьбы — своей собственной и чужой. Отец собирался выдать ее за портного на целых тридцать лет старше ее.

— Пердун старый, у него зубов меньше, чем пальцев.

Она пыталась бежать в Гардез^[56] с молодым парнем, в которого была влюблена, сыном местного муллы. Поймали их еще в Кабуле. Сына муллы выпороли, он раскаялся и свалил всю вину на Нахму. Она, дескать, соблазнила его своими женскими прелестями, приворожила, околдовала. А сам он теперь вернется к праведной жизни и продолжит изучать Коран.

Парня отпустили. Нахмё дали пять лет. Родной папочка пообещал перерезать ей горло в первый же день, когда она выйдет на свободу.

Слушая Нахму, Мариам вспоминала ледяные звезды и чуть тронутые розовым облака над хребтом Сафедкох, когда Нана говорила ей: «Запомни хорошенько, дочка, у мужчины всегда виновата женщина. Во всем. Никогда не забывай об этом».

Суд над Мариам состоялся неделю назад. Ни адвоката, ни публики, ни судебного следствия, ни права на подачу апелляций. Представить свидетелей Мариам отказалась. Все слушание и пятнадцати минут не заняло.

Судья посередине, изможденный изжелта-бледный худой талиб с рыжей курчавой бородой, был главный. За стеклами очков его глаза с желтыми белками казались неестественно огромными.

«И как это такая тонкая шея не переломится под тяжестью такой большой чалмы?» — подумала Мариам.

— Ты признаешься, хамшира? — утомленно спросил главный.

— Да, — сказала Мариам.

Судья кивнул. А может, и нет. У него так тряслись руки и голова... хуже, чем у муллы Фатхуллы. Он даже чашку не мог взять в руки — чай ему подавал (прямо ко рту подносил!) плечистый мужчина, сидящий слева. А тот глаза прикроет в знак благодарности — и дальше ведет заседание.

Судья не метал в Мариам громы и молнии, говорил мягко, спокойно, даже улыбался.

Зато третий, самый молодой, что сидел справа... Важничал, кипятился, частил, злился, что Мариам не говорит по-пуштунски. И все свысока, презрительно так, словно выше его никого на свете нет.

— Ты вполне понимаешь, что говоришь?

— Да.

— Вот ведь что удивительно, — заговорил молодой. — Господь создал нас, мужчин, и вас, женщин, непохожими. Наши мозги различаются. Вы не способны думать полноценно, как мы. Западные доктора и их наука доказали это. Поэтому свидетельства двух женщин равнозначны одному мужскому.

— Брат, я ведь призналась. И если бы не я, он бы ее убил. Задушил до смерти.

— Это ты так говоришь. А женщины в чем только не клянутся.

— Истинная правда.

— Твои слова может кто-то подтвердить?

— Никто.

— Так, так, — ухмыльнулся молодой.

Заговорил главный:

— У меня есть знакомый доктор в Пешаваре, молодой пакистанец. Прекрасный врач. Мы виделись с ним на прошлой неделе. Скажи мне правду, попросил я. Мулла-сагиб, ответил он, вам осталось месяца три. От силы шесть. Впрочем, на все Господня воля.

Он кивнул плечистому, и тот напоил его чаем. Судья вытер губы тыльной стороной ладони.

— Я не боюсь покинуть этот мир, как покинул его пять лет назад мой единственный сын. Жизнь полна горестей, и я сгибаюсь под их тяжестью. Нет, я расстанусь с жизнью кротко. Я другого боюсь, хамшира. Настанет день, и Господь спросит меня: «Почему ты не слушался меня, мулла? Почему не исполнял моих предначертаний?» И как я оправдаюсь перед ним за то, что не исполнил его воли? На всех на нас лежит святая обязанность исполнять закон, установленный Господом. Чем ближе мой конец, тем с большей твердостью я готов воплощать его слово, как бы нелегко мне при этом ни приходилось.

Главный судья привстал и поморщился от боли. В его суровом взгляде вроде бы проблескивало сочувствие.

— Я верю твоим словам о необузданном характере мужа. Но меня до глубины души возмущает твое зверское преступление. Как же так: его маленький сын плачет наверху, а ты в это время убиваешь мужа?

Я скоро умру, и мне хочется проявить милосердие. Я бы простил тебя. Но когда Господь призовет меня и скажет: «Разве это твое дело — прощать, мулла?» — что я ему отвечу?

Два других судьи согласно закивали.

— Что-то говорит мне: ты не безнравственная женщина, хамшира. Но

деяние твое безнравственно. И ты должна за него поплатиться. Шариат не оставляет сомнений на этот счет. Он велит отправить тебя туда, где вскоре окажусь и я сам. Ты поняла?

— Да, — сказала Мариам, не поднимая глаз.

— Да простит тебя Аллах.

Приговор дали Мариам на подпись. Три талиба смотрели, как Мариам вписывает свое имя — *мим, ра, йа* и опять *мим*. Двадцать семь лет назад за столом Джалиля она тоже ставила свою подпись на документе — и тоже под пристальным взглядом муллы.

Десять дней прошло.

Мариам сидит у окошка камеры, смотрит на тюремную жизнь. Дует летний ветер, несет с собой мусор, бумажки, перемахивает через стену, крутит крошечные смерчи на тюремном дворе. Все — охранники, заключенные, дети — прикрывают глаза рукой, но от пыли так легко не отделаться, она лезет в нос, в уши, песок скрипит на зубах. Ветер стихает только в сумерки, а ночью дует легонько, неслышно, словно извиняясь за дневное буйство.

Нахма дает ей мандарин — сует прямо в руку и сжимает пальцы вокруг оранжевого плода.

Плачет:

— Ты моя лучшая подруга.

Мариам не встает со своего места возле окна. Во дворе кто-то готовит пищу, сильно пахнет тмином. Дети играют в жмурки. Две девочки поют песенку — не ту же ли самую, что пели когда-то они с Джалилем, сидя на камне у ручья?

*Лунку воробьи нашли
И купаются в пыли.
Рыбка в речке поскользнулась —
С головою окунулась.*

Прошлой ночью к Мариам пришли обрывочные сны. Она видела одиннадцать камешков, уложенных столбиком. Молодой улыбающийся Джалиль в пиджаке, наброшенном на плечо, приезжал за дочкой на своем блестящем черном «бьюике-роудмастере». Мулла Фатхулла шел с ней вдоль речки, перебирая четки, из травы выглядывали синие ирисы, только пахли почему-то гвоздикой. На пороге стояла Нана и слабым, далеким

голосом звала дочь обедать, а Мариам не хотелось двигаться с места: так хорошо было играть в прохладной зеленой траве, где ползали муравьи, жужжали жуки и скакали кузнечики. Блеяла одинокая овца на склоне горы. Скрипели колеса тележки.

Мариам сидит в кузове. Грузовик едет на стадион «Гази». Немилосердно трясет. Охранник с автоматом — молодой талиб с глубоко посаженными глазами и рябым лицом — сидит напротив нее, барабанит пальцами по борту машины.

— Ты не голодна, мамаша? — спрашивает он вдруг.

Мариам качает головой.

— У меня есть печенье. Вкусное. Если хочешь есть, я тебе дам. Не стесняйся.

— Нет. Спасибо, брат.

Охранник смотрит на нее добрыми глазами:

— Тебе страшно, мамаша?

У Мариам перехватывает горло.

— Страшно, — выдавливают она. — Очень страшно.

— У меня есть фотография моего брата, — говорит охранник. — Я не помню его. Он чинил велосипеды, вот и все, что я о нем знаю. Не помню ни его походки, ни смеха, ни голоса. Мама говорила, он был самый храбрый человек на свете. Просто лев. А когда коммунисты на рассвете пришли его арестовывать, он плакал, как ребенок. Я это к чему говорю? Страх — дело обычное. Все боятся. Тут нечего стыдиться, мамаша.

Тысячи глаз устремлены на нее. Люди на трибунах вытягивают шеи, чтобы получше рассмотреть происходящее на поле. Когда Мариам подадут руку, чтобы помочь сойти с машины, ропот пробегает по толпе. Громкоговоритель объявляет ее преступление. Наверное, публика качает головами, щелкает языками. Но Мариам смотрит себе под ноги и не видит, одобряют ее или осуждают. Да это и неважно.

Когда ее увозили из тюрьмы, она боялась, что опозорится, будет кричать, блевать, обмочится, — да мало ли что бывает с человеком в последние земные минуты. Но тело ее не подвело, она сама спустилась с грузовика на поле, и талибам не пришлось тащить ее волоком. Стоит ей подумать о Залмае-безотцовщине, как душу пронизывает жгучая боль и ноги сами перестают спотыкаться.

Человек с автоматом велит ей идти к южной стойке футбольных ворот. Толпа замирает в ожидании — Мариам чувствует это. Она смотрит себе

под ноги — на свою тень, за которой неотступно следует тень палача.

Жизнь не щадила ее — хотя были и счастливые минуты. Все равно хочется пожить еще, хоть раз повидать Лейлу, услышать ее смех, попить вместе чаю с халвой. Азиза! Мариам не суждено красить ей пальчики хной перед свадьбой (вот ведь красавица будет, когда вырастет), не суждено играть с ее детьми. И состариться Мариам не суждено.

У самой стойки ворот ей велят остановиться. Сквозь сетку бурки видна тень рук, сжимающая тень автомата.

Ах, как хочется жить!

Мариам закрывает глаза — и вдруг все печали оставляют ее, душу охватывает странное спокойствие, даже умиротворенность. Вот она появилась на свет — харами, нежеланный ребенок, досадное недоразумение, сорная трава. И вот земное существование кончено. Она любила, и ее любили, она была кому-то нужна, была подругой, защитницей, матерью. О ней останется память.

Все могло быть куда хуже.

Жизнь прошла не зря.

Мариам бормочет про себя слова Корана:

Он сотворил небеса и землю во истине. Он обвивает ночью день и днем обвивает ночь; он подчинил солнце и луну. Все течет до назначенного предела; Он — Великий, Прощающий!^[57]

— На колени, — произносит талиб.

Господи, смилуйся надо мной!

— Нагнись. Смотри вниз.

Мариам послушно исполняет приказание.

В последний раз.

Часть четвертая

Часть
четвертая

У Тарика случаются ужасные головные боли.

Бывает, Лейла проснется ночью, а Тарик катается по кровати, сжимается в комок, натягивает майку на голову. Голова у него начала болеть еще в лагере Насир Бах, а в тюрьме стало только хуже. Порой его рвет от боли, он слепнет на один глаз.

— Словно мясницкий нож вонзается в висок и проковыривает дыру в мозгу. Потом боль вроде отпускает и нож втыкается в другой висок. Во рту даже отдает железом.

Лейла встает, смачивает водой полотенце и кладет ему на лоб. Помогает. Белые пилюли, которые Тарику прописал доктор Саид, тоже помогают. Но случаются такие ночи, когда остается только схватиться за виски и стонать. Тогда Лейла садится рядом, гладит Тарика по голове, держит за руку, и обручальное кольцо холодит ей пальцы.

Они поженились в тот же день, когда прибыли в Мури. Саид был доволен: не пришлось давать кров неженатой паре. И никакой он оказался не краснолицый и не узкоглазый — зачесанные назад седеющие волосы, подкрученные усы, мягкие манеры, сдержанная речь. Саид пригласил на нику свидетеля и муллу, дал Тарику денег (чуть не силой всучил). Тарик сразу помчался на Мэлл и купил два простеньких тонких обручальных кольца. Церемония состоялась поздно вечером, когда дети уже спали. Мулла набросил на брачующихся зеленое покрывало, и взоры их встретились в зеркале. Не было ни слез, ни улыбок, ни обещаний вечной любви. Зеркало безжалостно показало все морщинки, все складочки на некогда таких юных лицах. Тарик открыл было рот, собираясь что-то сказать, но тут кто-то дернул за покрывало, и Лейла отвлеклась и не расслышала.

В ту ночь они впервые легли в постель как муж и жена. Дети посапывали на раскладушках. В годы юности Лейла и Тарик трещали не умолкая, то и дело перебивали друг друга, хохотали, взрывались восторгом. И вот — так много случилось за эти годы, кажется, есть о чем поговорить, а у Лейлы словно язык отнялся. Она будто потерялась перед значительностью события. Ведь Тарик, любимый, совсем рядом, их головы соприкасаются, их руки сплетены...

Когда Лейла встала ночью напиться, оказалось, что и во сне они держались за руки. Да так крепко, ну словно дети за веревочку воздушного

шарика.

Лейле нравится Мури — холодные туманные утра, прозрачные сумерки, мерцающие ночи, зеленые ели и коричневые белки, взлетающие по стволам деревьев, внезапные ливни, распугивающие торговцев с улицы Мэлл... Ей нравятся сувенирные лавки и многочисленные гостинички для туристов — вот ведь понастроили, пора и остановиться, ворчат местные жители. Лейле такое отношение кажется странным. В Кабуле люди только радовались бы каждой новой постройке.

Лейле нравится, что у них есть ванная — не нужник во дворе и жестяное корыто, а настоящая ванная, с горячей и холодной водой, с душем, с унитазом. Лейле нравятся потрясающе вкусные блюда, которые готовит ворчунья Адиба. Лейла любит, когда по утрам ее будит блеяние Алены.

Порой, когда Лейла смотрит на спящего Тарика, на разметавшихся во сне детей, ее охватывает такое счастье, такая благодарность, что горло перехватывает, а из глаз сами собой льются слезы.

По утрам Лейла вместе с Тариком обходит комнаты. На поясе у него связка ключей, из кармана торчит пластиковая бутылка с мылом для окон. В ведре, которое несет Лейла, тряпки, дезинфицирующие средства, щетка для туалета и полироль для мебели. У Азизы в одной руке швабра, в другой — набитая фасолью кукла, которую сделала для нее Мариам. Следом тащится мрачный Залмай.

Лейла пылесосит, заправляет постели, вытирает пыль. Тарик моет ванны и раковины, драит унитазы, протирает шваброй линолеум, меняет полотенца, раскладывает по полкам крошечные бутылочки с шампунем и куски пахнущего миндалем мыла. Азизе нравится мыть и вытирать окна. Кукла всегда при ней.

Лейла рассказала Азизе про Тарика через несколько дней после ники.

Удивительно, как между отцом и дочкой все сразу сложилось. Лейлу порой даже испуг брал. Азиза договаривала фразы за Тарика, а отец — за нее. Тарик только собирается попросить подать ему что-то, а Азиза уже тут как тут. За столом они таинственно улыбались друг другу, будто жили вместе с незапамятных времен.

Пока мать рассказывала, Азиза задумчиво разглядывала собственные руки.

— Мне он нравится, — вымолвила она, помолчав.

— Он любит тебя.

— Он так сказал?

— Ему и говорить не надо. И так ясно.
— Расскажи мне все, мама. Я хочу знать.
И Лейла поведала ей все.
— Твой отец хороший человек. Самый лучший.
— А если он уйдет от нас?
— Такого не случится никогда. Посмотри на меня. Отец никогда не обидит тебя и никогда нас не бросит.
Лицо Азизы осветилось такой радостью, что у Лейлы сжалось сердце.

Тарик купил Залмаю лошадку-качалку, сделал ему тележку. В тюрьме он научился вырезать из бумаги зверей и теперь сворачивал, перегибал и разрезал бесчисленные листы бумаги, из которых получались львы, кенгуру, скаковые жеребцы и сказочные птицы.

Но если только Залмаю казалось, что работа тянется слишком долго, он бесцеремонно вырывал надрезанный листок у Тарика из рук.

— Ты осел! — кричал ребенок. — Не нужны мне твои игрушки!
— Залмай, — укоризненно вздыхала Лейла.
— Ничего, — успокаивал жену Тарик. — Это ничего. Пусть его.
— Ты не мой Баба-джан! Мой настоящий Баба-джан уехал далеко, но он вернется и побьет тебя! А убежать ты не сможешь, ведь у отца две ноги, а у тебя только одна.

Перед сном Лейла крепко обнимает Залмая, и они вместе произносят молитву против Бабалу. На вопросы она неизменно отвечает, что Баба-джан уехал и неизвестно когда вернется. Лейла ненавидит себя за это. Но она знает: лгать придется долго. Залмай подрастет, научится сам завязывать шнурки на ботинках, пойдет в школу, а ложь никуда не денется. Правда, со временем сын все реже будет спрашивать про отца, перестанет кричать «Папа!» вслед пожилым сутулым прохожим, и в один прекрасный день, глядя на какой-нибудь заснеженный склон, с удивлением обнаружит, что боль утихла, рана зарубцевалась, образ Рашида затуманился, отошел на задний план, перестал терзать душу.

Лейле хорошо в Мури. Но счастье ее не безоблачно. За него приходится платить.

В выходные дни Тарик с Лейлой и детьми выбираются в город, они гуляют по улице Мэлл, где полно лавочек, торгующих всякими безделушками, и где расположена настоящая англиканская церковь, выстроенная в середине девятнадцатого века. Тарик покупает у уличных торговцев пряные кебабы *чапли*. Густая толпа заполняет улицу: местные

жители, европейцы со своими сотовыми телефонами и цифровыми камерами, пенджабцы, бежавшие в горы от жары.

Они садятся в автобус и едут в Кашмир-Пойнт, оттуда открывается прекрасный вид на долину реки Джелум, на поросшие елями склоны и на горы, покрытые густыми лесами, в которых, говорят, до сих пор водятся обезьяны. Бывают они и в Натиагали^[58], местечке километрах в тридцати от Мури. Держась за руки, гуляют по осененной кленами дороге, осматривают дворец губернатора, посещают старинное британское кладбище.

Лейла ловит себя на том, что, попав на оживленную улицу, частенько глядит в стекла витрин, высматривая отражения своих близких. Муж, жена, дочка и сын — на первый взгляд самая обычная семья. Какие тут могут быть тайны, горести и разочарования?

У Азизы по ночам бывают кошмары, от которых она с криком пробуждается. Лейла садится рядом, вытирает ей лицо, успокаивает, напевает песенку.

У Лейлы свои сны. В них она обязательно попадает в Кабул, в дом Рашида, проходит через переднюю, поднимается по лестнице. Лейла всегда одна, но из-за двери доносится шипение утюга, шуршание складываемого белья, женский голос мурлычет старинные гератские песни.

Лейла открывает дверь — а в комнате пусто.

Сны потрясают Лейлу, она просыпается, обливаясь слезами, с опустошенной душой.

Сентябрь. Воскресенье.

Лейла укладывает Залмая спать. Мальчик простудился, чихает и кашляет.

В дом врывается Тарик:

— Ты слышала? Убит Ахмад Шах-Масуд!

— Да ты что?

— У него брали интервью два журналиста, выдававшие себя за бельгийцев марокканского происхождения. Пока они беседовали, взорвалась спрятанная в видеокамере бомба. Масуда и одного из журналистов убило на месте. Второго застрелили при попытке к бегству. Говорят, убийц подослала Аль-Каида.

Лейле вспоминается плакат из маминой спальни. На нем у Масуда слегка приподнята бровь, лицо сосредоточенно, словно он кого-то внимательно слушает. Мама была благодарна Масуду за его молитву у могилы Ахмада и Ноора, рассказывала об этом всем и каждому. Даже когда разные группировки схватились между собой в жестоких боях, мама никогда не обвиняла Масуда. «Он хороший человек, — повторяла она. — Он хочет мира, хочет возродить Афганистан. Но ему не дают». Для мамы Масуд всегда оставался Львом Панджшера, вопреки всем ужасам войны и разрушениям, которые принесла междуусобица Кабулу.

У Лейлы свой счет. Кончина Масуда не доставила ей радости, но она слишком хорошо помнит, как взлетали на воздух соседские дома, как откапывали трупы из-под развалин, как оторванные руки и ноги погибших детей находили на крышах, на ветках деревьев уже после похорон, много дней спустя. Она помнит, как мама вздрагивала от ужаса при каждом очередном взрыве. Она рада была бы забыть окровавленный шмат мяса в обрывке футболки с изображениями башен — все, что осталось от Баби.

— Состоятся похороны, — говорит Тарик. — Это точно. Говорят, в Равалпинди^[59]. Вот народу-то соберется!

Уже почти уснувший Залмай садится и трет кулачками глаза.

Проходит два дня. Они прибираются в номере, когда слышат какой-то шум. Тарик отставляет в сторону швабру и поспешно выходит в коридор. Лейла за ним.

Шум доносится из вестибюля. Там, справа от стойки портье, стоит телевизор, перед ним несколько стульев и два кожаных дивана. Саид,

портье и парочка туристов не сводят глаз с экрана.

Идут новости Би-би-си. Из высоченной башни поднимается дым. Тарик спрашивает о чем-то Саида, тот начинает отвечать и замолкает на полуслове. Рядом со второй башней появляется самолет и на лету врезается в нее. Вспухает громадный шар огня. Из груди собравшихся исторгается крик.

Часа через два обе башни рушатся.

На устах у дикторов всех каналов теперь Афганистан, Талибан и Усама Бен Ладен.

— Слышала, что ответили талибы насчет Бен Ладена? — спрашивает Тарик.

Азиза сидит на кровати напротив него, сосредоточенно рассматривает шахматную доску (Тарик научил ее играть), хмурится и оттопыривает нижнюю губу. Совсем как Тарик, когда собирается сделать ход.

Лейла втирает Залмаю в грудь мазь от простуды. Мальчику немного легче.

— Я слышала.

Талибы объявили, что не выдадут Бен Ладена, он, дескать, их гость, по пуштунским законам гостеприимства особа неприкосновенная. Тарик горько смеется: надо же так извратить благородное правило.

Проходит несколько дней.

Опять вестибюль. Опять телевизор. Выступает Джордж Буш, за спиной у него американский флаг. В какую-то секунду он запинается, голос его нетверд.

Саид, знающий английский, объясняет, что президент США только что объявил войну.

— Кому? — спрашивает Тарик.

— Для начала вашей родной стране.

— Может, это не так и плохо, — говорит Тарик.

С любовными утехами на сегодня покончено. Тарик лежит рядом с Лейлой, положив голову ей на грудь. Поначалу у них ничего не получалось. Тарик смущенно извинялся, Лейла шептала ободряющие слова. Теперь сложности в прошлом. Правда, комната в сторожке маленькая и дети спят в двух шагах. Какое уж тут уединение. Приходится сдерживаться, соблюдать меры предосторожности, не раздеваться полностью, вздрагивать от скрипа пружины. Но они вместе — это главное. И никогда не расстанутся — теперь Лейла в этом уверена. Все ее страхи позади.

— Ты это о чем? — спрашивает она.

— О том, что творится дома. Может, все это к лучшему.

Дома опять падают бомбы — на этот раз американские, — каждый день по телевизору война и война. Американцы заручились помощью Северного Альянса против талибов и опять вооружили полевых командиров.

Возмущенная Лейла отпихивает Тарика от себя.

— К лучшему? Умирают люди — женщины, дети, старики. Опять дома взлетают на воздух. К лучшему?

— Тсс. Детей разбудишь.

— Как ты можешь говорить такое? А «случайная бомбардировка» деревни Карам? Сто невинных жертв! Сам же видел по телевизору!

— Постой. — Тарик опирается на локоть, смотрит на Лейлу. — Ты меня не так поняла. Я хотел сказать...

— Ты не видел всего этого своими глазами, — повышает голос Лейла. А ведь это ссора, их первая крупная размолвка. — Ты уехал еще до того, как началась самая страшная бойня. А я осталась. Война для меня не пустой звук. Я знаю, что это такое. Война убила моих родителей. Да как у тебя язык повернулся? К лучшему!

— Прости, Лейла. Прости меня. — Он гладит ее по лицу. — Ты совершенно права. Я только хотел сказать, есть надежда, что эта война закончится по-другому, не то что все предыдущие.

— Я не желаю больше говорить об этом, — фыркает Лейла, но уже не так громко.

И что это она так на него взъелась? «Я, я...» Ведь его родителей тоже унесла война. И когда Тарик крепко прижимает ее к себе, она не сопротивляется. И поцеловать себя в руку позволяет. И в лоб. Она понимает, что Тарик, наверное, прав. Мирным путем ничего бы не получилось. К тому же есть надежда, что бомбардировки скоро закончатся. Но как ему сказать, что в глубине души она с ним согласна? Это было бы просто нечестно с ее стороны. Перед вдовами. Перед сиротами. Перед мертвыми.

Ночью Залмай закашливается. Лейла не успевает даже пошевелиться. Тарик вскакивает с постели, пристегивает протез, берет Залмая на руки и начинает укачивать. Мальчик обнимает его за шею. Тень мужчины, прижимающего к груди ребенка, движется по комнате туда-сюда.

Когда Тарик опять ложится, Лейла молчит. Только гладит его по лицу.

Щеки у мужа мокрые.

Мури для Лейлы — тихая гавань. Работа ей не в тягость, а в выходные они с детьми поднимаются на подъемнике на гору Патриата или выбираются в Пинди Пойнт, откуда в ясный день открывается чудный вид на Исламабад и центр Равалпинди, расстилают покрывало и устраивают пикник на поросшем травой склоне, едят бутерброды с фрикадельками и огурцами, пьют холодный имбирный лимонад.

Спокойствие, размеренность по душе Лейле, именно о такой жизни она мечтала, когда у них с Рашидом все складывалось особенно неблагополучно. Дня не проходит, чтобы Лейла не вспоминала о том, как нелегко ей приходилось.

На дворе 2002-й. Июль. Жаркая ночь. Лейла и Тарик тихими голосами обсуждают перемены, происходящие на родине. А их много. Силы коалиции выбили талибов из всех крупных городов, прижали их к границе с Пакистаном и к горам на юге и востоке. В Кабул вошел международный военный контингент. У страны теперь временный президент, Хамид Карзай.

Лейла решает, что настало время поговорить с Тариком на очень важную тему.

Год назад она бы с готовностью дала отрубить себе руку, только бы убраться из Кабула подальше. А тут вдруг оказалось, что она скучает по городу, где прошло ее детство, ей часто вспоминаются Шор-Базар, сады Бабура^[60], Куриная улица, водоносы с бурдюками через плечо, продавцы дынь в Карте-Парване.

Но душевный непокой объясняется не только ностальгией. Каждый день приносит новости: строятся школы, благоустраиваются улицы, женщинам разрешено работать. А Лейла в сторонке. Да, здесь ей хорошо и спокойно... и не более того. Ей часто приходят на ум слова Баби: «Ты можешь стать кем только захочешь. И я знаю, что, когда война закончится, ты ой как пригодишься своей стране». И голос мамы звенит в ушах: «Я своими глазами увижу, как моя родина обретает свободу. А увижу я — увидят и мальчики».

Вот почему Лейлу так тянет в Кабул — хочется самой все увидеть.

Есть и еще причина. Мариам.

Неужели она погибла только ради того, чтобы Лейла жила-поживала и в ус не дула? Стоило ли жертвовать собой, чтобы лучшая подруга нашла

себе тепленькое местечко? Может, Мариам было бы и все равно, чем занимается Лейла, лишь бы ей и детям не грозила опасность. Зато не все равно самой Лейле. Чем дальше, тем беспокойнее у нее на душе.

— Хочу вернуться обратно, — говорит она Тарику.

Тот садится на кровати и молча смотрит на нее.

Лейла не устает поражаться его красоте — благородным линиям лба, мускулистым рукам, умным задумчивым глазам. Уже год прошел, а Лейле порой все не верится, что после стольких лет они обрели друг друга.

— Обратно? В Кабул?

— Но только вместе с тобой.

— Тебе здесь плохо? Мне казалось, ты такая счастливая. И дети тоже.

Лейла усаживается рядом с ним. Тарик подвигается, освобождая ей место.

— Я счастлива, — соглашается Лейла. — Иначе и быть не могло. Только... Тарик, сколько мы еще здесь пробудем? Все-таки мы на чужбине. Кабул — наш дом, а там столько всего сейчас происходит. Мне хочется поучаствовать в этом. Понимаешь?

Тарик кивает. И спрашивает:

— А ты уверена?

— Да. Больше скажу. У меня такое чувство, что я *обязана* поехать. Сидеть здесь сложа руки — как-то не по-людски.

Глаза у Тарика опущены. Он молчит.

— Но только — только, — если ты тоже поедешь.

Тарик улыбается, морщинка у него на лбу разглаживается, и на какое-то мгновение он становится похож на мальчишку из ее воспоминаний, у которого не бывает головных болей и который уверен, что, если в Сибири высморкаться, на мерзлую землю упадет зеленая сосулька. Этот мальчишка все чаще навевается к ней — пусть даже на секунду-другую.

— Я-то? — переспрашивает Тарик. — Да я за тобой пойду хоть на край света.

— Спасибо, — чуть краснеет Лейла.

— Значит, возвращаемся домой?

— Только сначала съездим в Герат.

— В Герат?

Лейла объясняет причины.

С детьми пришлось повозиться, к каждому найти свой подход. Азизе до сих пор снились кошмары. Когда на праздновавшейся поблизости свадьбе кому-то из гостей вздумалось вдруг пострелять в воздух, девочка от

страха расплакалась. Лейла растолковала ей, что талибов сейчас в Кабуле нет, боев тоже. Что ни у кого даже в мыслях нет снова отправлять ее в приют.

— Мы все будем жить вместе — твой отец, я и Залмай. Мы никогда не разлучимся — обещаю. Конечно, пока ты сама от нас не уйдешь. Настанет день, и ты полюбишь какого-нибудь юношу и захочешь выйти за него.

Когда пришла пора покидать Мури, Залмай был неутешен. Обхватил Алену за шею, не оторвешь.

— Мне с ним не справиться, — пожаловалась Азиза.

— Залмай! Мы не можем взять козу с собой в автобус, — вновь и вновь объясняла Лейла.

Пришлось Тарику пообещать, что в Кабуле они купят точно такую же козу, только тогда мальчик сменил гнев на милость.

Прощание с Саидом тоже не обошлось без слез. Он ведь стал им как родной. Саид подержал Коран у них над головами, Лейла, Тарик и дети трижды поцеловали священную книгу. Саид погрузил два чемодана в багажник своей машины, Саид отвез их на автобусную станцию, Саид стоял на тротуаре и махал рукой вслед отъезжающему автобусу.

Глядя в окно, Лейла вдруг засомневалась, а правильно ли они поступают, уезжая из Мури? Чем встретит их земля, где погибли два ее брата, где пыль от взрывов еще не успела толком осесть?

И тут откуда-то из темных глубин памяти всплывают две строчки, которыми Баби прощался с Кабулом:

*На крышах города не счесть зеркальных лун,
Сиянье тысяч солнц за стенами его укрыто.*

На глаза наворачиваются слезы.

Кабул ждет. Они нужны Кабулу.

Только им предстоит еще одно прощание.

Войны изуродовали афганские дороги между Кабулом, Гератом и Кандагаром. Теперь в Герат проще всего попасть через Иран, через город Мешхед. В Мешхеде Лейла с мужем и детьми ночуют в гостинице и пересаживаются на другой автобус.

Город — шумный, многолюдный. Лейла смотрит на мелькающие за окном парки, мечети, рестораны. Когда они проезжают мимо усыпальницы имама Резы — восьмого из шиитских имамов^[61], — Лейла привстает со

своего места, чтобы получше рассмотреть сверкающие изразцы, изящные минареты, золотой купол, любовно сохранные и отреставрированные. И вспоминает гигантские статуи Будд, которые афганцы не сумели сберечь. Ветер из долины Бамиана несет частички взорванных древних шедевров.

Езды до афгано-иранской границы почти десять часов. Чем ближе к границе, тем более безрадостным, диким, безлюдным делается пейзаж за окном.

По пути им попадается лагерь афганских беженцев — облако желтой пыли, черные палатки, жестяные постройки.

Лейла берет Тарика за руку.

В Герате большинство улиц замощены, обсажены душистыми елями, зеленеют парки, восстанавливаются здания, светофоры работают, перебоев с электричеством нет. Лейла слышала, что полевой командир Исмаил-хан [62], в чьей власти оказался Герат, значительную часть таможенных платежей, собранных на афгано-иранской границе, направляет на благоустройство города, вопреки распоряжениям из Кабула. Таксист, который везет их в гостиницу «Муваффах», отзывается о губернаторе с боязливым почтением.

За двухдневное пребывание в гостинице приходится заплатить чуть ли не пятую часть всех их сбережений. Но иначе не получается — долгая поездка из Мешхеда измучила детей. Пожилой портье, вручая Тарику ключи от номера, говорит, что в отеле живет много журналистов и работников благотворительных организаций.

— У нас как-то ночевал сам Бен Ладен, — хвастается вполголоса портье.

В номере две кровати, ванная, из крана течет холодная вода. На стене портрет поэта Абдаллаха Ансари. Из окна открывается вид на оживленную улицу внизу, на парк с замощенными кирпичом дорожками и ухоженными клумбами. Дети недовольны, что в комнате нет телевизора, — привыкли. Впрочем, они скоро засыпают, да и родители вслед за ними. Ночью Лейле снятся тревожные сны, она даже раз просыпается. А вот что снилось — не помнит.

На следующее утро они завтракают вареными яйцами, пьют чай со свежим хлебом и айвовым вареньем. Потом Тарик ловит ей такси.

— Ты точно хочешь ехать одна, без меня? — спрашивает Тарик.

Азиза держит отца за руку, Залмай жметя к его ноге.

— Точно.

— Я волнуюсь за тебя.

— Все будет хорошо. Обещаю. Сходи с детьми на базар. Купи им что-нибудь.

Когда такси отъезжает, Залмай, весь в слезах, тянется к Тарику. Это радует Лейлу. И рвет ей душу.

— Ты не из Герата, — заключает таксист.

У него темные волосы до плеч — теперь многие носят такие, как бы назло талибам, впрочем, изгнанным, — шрам над губой разрезает усы. На ветровом стекле со стороны водителя фотография розовощекой девушки с косичками.

Лейла говорит, что целый год прожила в Пакистане и теперь возвращается в Кабул, в свой родной район Дих-Мазанг.

За окном медники припаивают ручки к кувшинам, седельники раскладывают на солнце куски сыромятной кожи для просушки.

— А сам ты долго живешь в Герате, брат? — спрашивает Лейла.

— Всю свою жизнь. Я здесь родился. Все прошло у меня на глазах. Ты помнишь восстание?

Лейла хочет ответить, но таксист ее перебивает:

— Март 1979 года, за девять месяцев до советского вторжения. В Герате убили нескольких советских специалистов. В ответ последовал трехдневный обстрел. Танки и вертолеты разносили в прах дома, разрушили один минарет. Две мои сестры погибли тогда, одной было всего двадцать лет. Это она. — Таксист постучал пальцем по фото.

— Прими мои соболезнования.

«Да, у каждого афганца, кого ни возьми, жизнь полна печалей и потерь, — думает Лейла. — И все-таки люди не вешают нос. Взять меня... удивительно, как мне самой удалось выжить. А ведь как здорово, сижу вот живехонька... и даже сочувствую чужому горю».

Деревушка Гуль-Даман вся состоит из глинобитных домиков, и лишь некоторые обнесены забором. Женщины с потемневшими от солнца лицами готовят на открытом воздухе еду, из черных котлов поднимается пар. Мужчины тащат тележки, груженные камнями, останавливаются и смотрят вслед машине. За такси несутся дети. Шофер вертит руль, автомобиль огибает кладбище, посреди которого видна старая усыпальница. Оказывается, здесь похоронен местный суфий.

Вот и ветряная мельница. В тени ее неподвижных ржавых крыльев возятся трое мальчишек, лепят что-то из глины. Таксист опускает стекло и

высовывается из окна. Отвечает мальчик постарше, тычет пальцем вдоль дороги. Шофер благодарит и подъезжает к указанному месту.

Одноэтажный дом обнесен стеной, из-за забора свешиваются ветки деревьев.

— Я недолго, — говорит Лейла водителю.

Дверь ей открывает смуглый худой коротышка средних лет. Борода у него с проседью. На мужчине традиционная одежда — пирхан-тюмбан и чапан.

Они обмениваются приветствиями.

— Это дом муллы Фатхуллы? — спрашивает Лейла.

— Да. Я его сын Хамза. Чем могу быть тебе полезен, хамшира?

— Я по поводу старого друга твоего отца, Мариам.

Хамза недоуменно моргает:

— Мариам?

— Дочь Джалиль-хана.

Хамза опять хлопает ресницами, потом прижимает к щеке ладонь, и его лицо освещает улыбка.

— А-а-а-а, — тянет он. — Ну конечно! Мариам! Ты ее дочь? А она... — Хамза заглядывает Лейле за спину, — сама она тоже приехала? Ведь столько времени прошло!

— Она умерла.

Хамза больше не улыбается.

— Входи. — Он распахивает дверь. — Добро пожаловать.

Они сидят на полу в скудно обставленной комнате. На полу гератский ковер, вышитые бисером подушки, на стене картинка в рамке, изображающая Мекку. Окно открыто, все вокруг залито солнечным светом. Из соседней комнаты доносится женский шепот. Босоногий мальчик ставит перед ними поднос с зеленым чаем и фисташковой нугой. Хамза кивает:

— Мой сын.

Мальчик беззвучно исчезает.

— Рассказывай. — Голос у Хамзы усталый.

И Лейла рассказывает. Обо всем. Получается долго. И еще надо удержаться от слез. А это не так просто, ведь всего год прошел.

Хамза долго молчит, только чашку на блюде вертит. То в одну сторону повернет, то в другую.

— Мой отец — да покоится он с миром — очень любил ее, — произносит он наконец. — Ведь именно он пропел ей на ухо азан, когда она

родилась. Они виделись каждую неделю. Иногда он брал меня с собой. Он был ее учитель, но и друг тоже. Очень добрый был человек. Когда Джалиль-хан сплавил дочку подальше, отец заболел от горя.

— Прими мои соболезнования. Да простит его Господь, — говорит Лейла.

Хамза кланяется в ответ.

— Отец дожил до преклонных лет и пережил Джалиль-хана. Мы похоронили его на деревенском кладбище недалеко от могилы матери Мариам. Отец был настоящий праведник.

Лейла отставляет свою чашку.

— У меня к тебе просьба. Покажи мне, где жила Мариам.

Таксист соглашается подождать еще.

Хамза и Лейла спускаются вниз по склону и выходят на дорогу, ведущую в Герат. Минут через пятнадцать в густой траве появляется еле заметная проплешина.

— Здесь начинается тропинка, что приведет на нужное место, — говорит Хамза.

Дорожка совсем заросла, сквозь траву тут и там пробиваются цветы. Щебечут ласточки, под ногами стрекочут кузнечики. Сильный ветер клонит кусты.

Метров двести тропинка ведет в гору, потом внезапно выходит на открытое пространство. Хамза и Лейла останавливаются, тяжело дыша. Вокруг выются комары. За тополями открывается вид на далекие горы.

— Тут была речка, — говорит Хамза. — Только пересохла давно. Я подожду тебя здесь. Перейди высохшее русло и двигайся по направлению к горам.

— А я не заблужусь?

— Не беспокойся. — Хамза усаживается под тополем. — Здесь невозможно заблудиться.

Под ногами у Лейлы галька, ржавые жестянки, битые бутылки. Она прыгает с камня на камень, перед ней маячат горы. Сердце у Лейлы колотится.

Вот они, ивы, печально склонились над поляной, все как описывала Мариам. Лейла торопится. Хамза превратился в крошечную фигурку, его чапан ярким пятном выделяется на фоне деревьев.

Нога соскальзывает с камня, Лейла чуть не падает. Ничего страшного. Подвернуть шальвары — и дальше.

Над ней уже шумят ветками ивы.

Вот и хижина Мариам.

Стекол в окне нет, двери тоже. Ни загона для кур, ни выгородки для овец. Нужника и того нет.

Слышно, как жужжат мухи.

Лейла переводит дыхание, разрывает затягивающую проем паутину и входит.

Полумрак. Приходится подождать немного, чтобы привыкли глаза.

Какое все маленькое! Даже меньше, чем она себе представляла.

От пола осталась половинка гнилой половицы. Остальное, наверное, растащили на растопку. Все засыпано опавшими листьями, пахнет прелью и грибной сыростью. Густые сорняки стелются по земле, карабкаются на стены.

Пятнадцать лет, думает Лейла. Мариам прожила здесь пятнадцать лет.

Лейла садится, прислоняется к стене и слушает, как ветер шумит в ивах. На потолке паутина. На стенах намалеваны какие-то буквы — русские, догадывается Лейла. В одном углу птичье гнездо, в другом висит вниз головой летучая мышь.

Лейла закрывает глаза.

Бывало, она не могла вспомнить лицо Мариам. Казалось, будто это слово, повисшее на самом кончике языка, вот-вот оно появится из мглы... но в последнее мгновение все ускользало, расплывалось, истаявало. А сейчас милый образ явился по первому зову: блестящие глаза, длинный подбородок, тонкие губы, сдержанная улыбка. Лейле хочется положить голову Мариам на колени и сладко задремать под слова из Корана, глухо отдающиеся в их телах.

Но что это? Сорняки вдруг делаются меньше ростом, словно что-то тянет их за корни обратно под землю, извиваются, корчатся и пропадают. Паутина сама собой расплетается, птичье гнездо рассыпается на глазах, веточки, из которых оно было сложено, одна за другой вылетают за дверь. Невидимая резинка стирает со стен надписи на русском языке. Половицы возвращаются на свое законное место. Глазам Лейлы предстают два лежака, деревянный стол, два стула, чугунная печь в углу, почерневший чайник, полки с кастрюлями и глиняными горшками, чашками и ложками. Она слышит кудахтанье кур и далекое журчание горного потока.

Юная Мариам сидит за столом и при свете керосиновой лампы мастерит куклу, напевая что-то про себя. Лицо у нее чистое и гладкое, вымытые волосы зачесаны назад, и все зубы на месте.

Лейла смотрит, как Мариам приклеивает к кукольной голове нитки — волосы. Пройдет немного лет, и эта девочка превратится в женщину,

нетребовательную к жизни, которая никогда ни на кого не переложит свои тяготы, не будет ни с кем делиться своими горестями, надеждами, мечтами. Жизнь не сметет ее, а лишь придаст форму, будто бурлящий поток полновесному валуну. Уже сейчас Лейла видит в глазах девочки твердый характер, который будет не сломать ни Рашиду, ни талибам, который спасет Лейле жизнь, а Мариам приведет к гибели.

Девочка за столом поднимает голову. Откладывает куклу. Улыбается.

Лейла-джо?

Лейла вздрагивает всем телом и открывает глаза. Летучая мышь пугается ее резкого движения, машет крыльями, словно вдруг взлетевшая книга страницами, мечется из угла в угол и выпархивает в окно.

Лейла поднимается на ноги, стряхивает с одежды прилипшие листья и выходит наружу. Слегка потемнело. Во всю мочь дует ветер, пригибает траву, скрипит ветками ив.

Прежде чем уйти, Лейла в последний раз смотрит на дом, где Мариам спала, ела, мечтала, с трепетом сердца ждала Джалиля. На крышу садится ворона, цепляет что-то клювом, каркает и улетает прочь.

— Прощай, Мариам, — говорит Лейла, не замечая, как слезы льются у нее из глаз.

Хамза встречает ее у тополя.

— Нам надо вернуться в деревню, — говорит он негромко. — Я должен тебе кое-что передать.

Лейла ждет Хамзу в саду у дома. Мальчик, подававший им чай, стоит под смоковницей и бесстрастно смотрит на Лейлу. Из окна за ней украдкой наблюдают пожилая женщина и совсем юная девушка в хиджабах.

Дверь открывается. Хамза протягивает Лейле жестяную коробку.

— Джалиль-хан передал ее моему отцу примерно за месяц до смерти и просил отдать Мариам лично в руки. Отец бережно хранил ее два года и перед кончиной вручил мне с просьбой дождаться Мариам. Но... она ведь умерла. Зато приехала ты.

Лейла внимательно рассматривает коробку. Давным-давно в ней, наверное, держали шоколадки — из тех, что подороже. Форма овальная, цвет оливковый, позолота местами облезла, края тронуты ржавчиной. У жестянки откидная крышка, внутренний замочек.

Лейла пробует открыть. Не получается.

— Что там? — спрашивает она.

У Хамзы на ладони ключик.

— Отец никогда не заглядывал внутрь. Я тоже. Видно, на то Господня воля, чтобы коробку открыла ты.

Лейла возвращается в гостиницу. Тарика с детьми еще нет.

Лейла садится на кровать и ставит жестянку перед собой.

Открывать или нет? Может, пусть лучше дар Джалиля (каким бы он ни был) навсегда останется тайной?

Но любопытство побеждает. Лейла тихонько поворачивает ключ. Что-то скрипит, щелкает, и крышка откидывается.

В коробке три предмета: конверт, холщовый мешочек и видеокассета.

С кассетой в руках Лейла отправляется к портье. Все тот же пожилой служащий, который приветствовал их по прибытии, говорит, что видеомаягнитофон в гостинице только один — в люкс-апартаментах. Они как раз свободны, и видео, пожалуй, можно воспользоваться.

За стойкой появляется молодой усатый портье с сотовым телефоном. Пожилой провожает Лейлу на третий этаж в самый конец коридора, отпирает дверь номера. Лейле в глаза сразу бросается телевизор, и она уже больше ничего не видит вокруг себя.

Кассета вставлена.

Какое-то время экран остается черным.

Неужели на ленте ничего нет? Тогда какой смысл Джалилю...

Звучит музыка. На экране мелькают картинки.

Лейла смотрит пару минут. Хмурится. Перематывает ленту дальше и опять жмет на воспроизведение.

Тот же самый фильм. «Пиноккио» Уолта Диснея.

У портье озадаченный вид.

Лейла и сама ничего не понимает.

В седьмом часу появляется Тарик с детьми. Азиза мчится к матери и гордо показывает серебряные сережки с эмалевыми бабочками — Тарик купил. Залмай прижимает к груди резинового дельфина, который пищит, когда надавишь.

Тарик обнимает жену.

— Как съездила?

— Все хорошо. Потом расскажу.

Они ужинают в ближайшей кебабной. Зал небольшой, народу полно, столы покрыты липкой клеенкой, дымно и шумно. Но баранина нежная и сочная, хлеб горячий. После трапезы прогуливаются по улице, Тарик покупает детям в ларьке розовое мороженое. Они садятся на лавку, смотрят на горы на фоне пламенеющего заката. Тепло, воздух насыщен ароматом хвои.

Конверт Лейла распечатала, как только вернулась в свой номер из люкс-апартаментов. На пожелтевшей бумаге в линейку синими чернилами было написано следующее:

13 мая 1987 года.

Моя дорогая Мариам!

Молю Господа, чтобы мое письмо застало тебя в добром здравии.

Как ты знаешь, месяц назад я приезжал в Кабул, чтобы переговорить с тобой. Но ты не захотела меня видеть. Это огорчило меня, но я тебя не виню. На твоём месте я бы, наверное, поступил точно так же. Уже давно я потерял право на твоё доброе отношение, и повинен в этом я один. Но если ты читаешь сейчас это послание, значит, ты прочла письмо, которое я оставил у твоей двери, и приехала к мулле Фатхулле, как я тебя и просил. Благодарю тебя за это, Мариам-джо. Ты дала мне возможность сказать тебе эти несколько слов.

С чего начать?

С нашего последнего свидания у нас стряслось немало бед, Мариам-джо. Твоя мачеха Афсун погибла в первый же день восстания 1979 года. В тот же день шальная пуля убила твою сестру Нилуфар. Так и вижу, как она становится на голову перед гостями, только бы произвести на них впечатление. Твой брат Фархад в 1980 году встал под знамена джихада и через два года погиб в Гильменде^[63]. Я даже тела его не видел. Не знаю, есть ли у тебя дети, Мариам-джо, но если есть, да смилостивится над ними Господь и да минует тебя горе, подобное тому, что постигло меня. Мне до сих пор снятся мои дети. Те, которые умерли.

Ты мне тоже снишься, Мариам-джо. Я скучаю по тебе, по твоему голосу, по твоему смеху. Мне очень хочется почитать тебе, отправиться с тобой на рыбалку. Помнишь, как мы ловили рыбу? Ты была хорошая дочь, Мариам-джо, и стоит мне о тебе подумать, как меня охватывает стыд и раскаяние. Как меня мучает совесть! Как я только посмел не выйти к тебе, когда ты добралась тогда до Герата, не пригласить тебя в дом, оставить на улице! Как только у меня рука поднялась держать тебя изгоем все эти годы, не принять в семью! И ради чего? Ради

глупых предрассудков, именуемых приличиями? Они ничто перед тем, что стряслось со мной, что я повидал на этой треклятой войне. Но теперь уже слишком поздно. Вот оно, наказание за мое бессердечие, ибо возмездие неотвратимо. Повторю только: ты была хорошая дочь, я не заслужил тебя. Прости меня за все, Мариам-джо. Прости. Прости. Прости.

Я уже больше не богач, каким был когда-то. Коммунисты конфисковали большую часть моих земель и все магазины. Но жаловаться грех — Господь в неизреченной милости своей опять наградил меня не по заслугам. Когда я вернулся из Кабула, мне посчастливилось продать те участки земли, которые еще оставались за мной. Свою часть наследства ты найдешь в этой коробке. Немного, конечно, не баснословное богатство, но все-таки кое-что. (Деньги я позволил себе обменять на доллары. Так оно надежнее. Одному Аллаху ведомо, что приключится с нашей денежной системой.)

Надеюсь, ты далека от мысли, что я хочу купить твое прощение. Надеюсь, я не так низко пал в твоих глазах. Твое прощение не купишь. Я просто передаю тебе то, что по праву принадлежит тебе. Я был не самый заботливый отец при жизни, надеюсь исправиться после смерти.

Смерть. Излишние подробности тут ни к чему, скажу только, что я у ее порога. Слабое сердце, говорят доктора. По-моему, подходящая смерть для слабого человека.

Мариам-джо!

Льщу себя надеждой, что, прочитав все это, ты отнесешься ко мне более благосклонно, чем в свое время я к тебе. Может быть, в твоем сердце достанет любви, чтобы приехать и повидаться с отцом. Только постучи в мою дверь — на этот раз я тебе открою, и обниму, и прижму к сердцу. К слабому сердцу. Такому же слабому, как эта надежда.

Но я все равно жду.

Да дарует тебе Господь долгую и благополучную жизнь, дочь моя. Да благословит тебя Господь здоровыми и красивыми детьми. Да обретешь ты счастье, мир и любовь, которых я не смог тебе дать. Да будет милосердный Аллах тебе в помощь.

Твой недостойный отец

Джалиль.

Они возвращаются в гостиницу. Дети засыпают. Лейла рассказывает Тарику про письмо, показывает деньги в полотняном мешочке.

Когда она раздражается рыданиями, Тарик берет ее на руки и укачивает, как маленькую.

Конец засухе. Снегу зимой навалило по колено, а сейчас льет как из ведра, и уже который день. Река Кабул вернулась в свое русло. Весеннее наводнение смыло град Титаник, и следа не осталось.

Под ногами хлюпает грязь. Машины буксуют. Копыта осликов, запряженных в груженные яблоками тележки, скользят. Но никто не жалуется, не оплакивает исчезнувшую толкучку. Ведь Кабул опять зазеленел.

Теплый ливень в радость детям, Азиза и Залмай так и носятся по лужам. Лейла наблюдает за ними из окна кухни. В Дих-Мазанге они сняли небольшой дом с двумя спальнями. Во дворе среди шиповника растет гранатовое дерево. Тарик залатал забор, поставил детям горку, качели, сделал выгородку для Залмаевой козы. Капли дождя скатываются по голому черепу мальчика — голова у него теперь бритая, как у Тарика. И молитву против Бабалу они теперь произносят вместе.

А у Азизы волосы мокрые, хоть выжимай. Тряхнет головой — и капли летят Залмаю в лицо.

Залмаю скоро исполнится шесть. Азизе уже десять, на прошлой неделе отмечали ее день рождения, ходили в кино «Парк», где теперь любой, кто захочет, может посмотреть «Титаник».

— Поторопитесь, дети, опоздаем. — Лейла укладывает в пакет обед для Азизы и Залмая.

Восемь часов утра. Азиза подняла мать в пять, чтобы та совершила утренний намаз. Это у нее вроде дани памяти Мариам. Пока соблюдается строго.

Помолившись, Лейла вернулась в теплую постель и сладко заснула, даже почти не почувствовала, как Тарик поцеловал ее в щеку, когда уходил. Тарик теперь работает во французской благотворительной организации, предоставляющей протезы инвалидам войны и подорвавшимся на минах.

В кухню вслед за Азизой врывается Залмай.

— Тетрадки взяли? Карандаши? Учебники?

— Все тут. — Азиза потрясает в воздухе рюкзачком. Она уже почти не

заикается.

— Тогда в путь.

Лейла пропускает детей вперед, закрывает дверь. На дворе прохладно, но дождя нет. Синее небо, на горизонте клубятся белые облака. Держа детей за руки, Лейла идет к автобусной остановке. Движение на улицах оживленное: рикши, такси, автобусы, ооновские грузовики, военные джипы. Сонные торговцы поднимают жалюзи, открывают лавки. На лотках уже разложены упаковки жевательной резинки и пачки сигарет. Вдовы, выпрашивающие подаяние, заняли свои места на перекрестках улиц.

Лейла никак не привыкнет к Кабулу. Город очень изменился. Люди трудятся не покладая рук: сажают молодые деревца, красят дома, копают канавы и колодцы, восстанавливают разрушенное. Оказалось, из корпусов от ракет получаются отличные цветочные горшки. Недавно Тарик и Лейла водили детей в сады Бабура — там идут большие восстановительные работы. Теперь на каждом углу слышна музыка: *рубаб* и *табла*, *дутар*^[64] и гармоника, звучат старые песни Ахмада Захира.

Как жалко, что Баби и маме не довелось увидеть всего этого!

Лейла и дети собираются перейти улицу, как вдруг, чудом не сбив их, мимо проносится «тойота» с тонированными стеклами. Грязная вода из-под колес окатывает водопадом.

У Лейлы душа уходит в пятки.

«Тойота» как ни в чем не бывало катится дальше, дважды громко трубит и исчезает за углом.

Лейла сжимает руки детей. Ей никак не отдышаться. Наглость и хамство бесят ее. Полевые командиры опять в Кабуле — это тоже ее бесит. Как же так — убийцы ее родителей живут в роскошных особняках, занимают высокие посты, кто министр, а кто заместитель, носятся на своих бронированных джипах по ими же разрушенным кварталам?

Но Лейла старается не принимать это близко к сердцу. Так поступила бы Мариам. «Что толку зря расстраиваться, Лейла-джо?» — сказала бы она со своей наивной и мудрой улыбкой. И наверное, была бы права.

Мариам часто навещает Лейлу во сне, садится рядом (протяни руку — и вот она), учит терпению и надежде.

Заман стоит перед баскетбольной корзиной на линии трехочковых бросков, жестикулирует, мяч зажат между коленками. Целая толпа мальчиков в спортивных костюмах внимательно слушает его. Завидев Лейлу, Заман машет рукой.

— Салам, моалим-сагиб, — вежливо приветствуют ее мальчики.

Вдоль восточной стены спортивной площадки высажены яблони. Лейла хочет посадить деревья и вдоль южной стены — только сначала ее надо восстановить. Для самых маленьких установлены новые качели и гимнастические перекладины.

Лейла входит в здание, сверкающее снаружи и изнутри свежей краской. Тарик и Заман залатали крышу, оштукатурили стены, постелили ковры в спальнях и помещениях для игры. Прошедшей зимой Лейла купила новые кровати, подушки, одеяла, поставила чугунные печки.

С месяц назад в кабульской газете «Анис» появился репортаж о восстановлении приюта. Материал был снабжен фотографией — Лейла, Заман, Тарик и еще один воспитатель в окружении детей. Лейле сразу вспомнились школьные подружки Джити и Хасина. *К двадцати годам мы с Джити родим штук по пять детей каждая. Но ты, Лейла... Мы, дуры, будем тобой гордиться. Из тебя-то уж точно выйдет знаменитость. Возьмем однажды газету — а на первой полосе твое фото.*

Снимок, правда, был не на первой полосе, но отчасти слова Хасины сбылись.

Лейла шагает по тому самому коридорчику, в котором два года назад передавала Азизу с рук на руки Заману. Лейле никогда не забыть, с каким отчаянием дочка цеплялась тогда за нее. Стены коридорчика густо залеплены плакатами — динозавры, персонажи мультиков, Будды из Бамиана — и работами самих детей. На рисунках черные палатки, танки, люди с автоматами, сцены боев.

Лейла сворачивает за угол. Ее ученики ждут ее у дверей класса. Лейла с радостью смотрит на платки, на бритые головы, прикрытые тюбетейками, на милые мордашки (некоторые такие чумазые... ну да ничего). Завидев учительницу, дети кидаются ей навстречу, толпой окружают ее, визжат, радостно улыбаются, пихаются, самые маленькие норовят забраться к ней на руки, называют мамой. Лейла не поправляет их.

Не сразу Лейле удастся утихомирить детишек, построить в ряд и рассадить по местам.

Тарик и Заман сломали перегородку между двумя комнатами — получился класс. Пол — весь в трещинах и выбоинах — пока прикрыт брезентом. Тарик обещал сделать стяжку и постелить ковер.

К стене прибита классная доска — Заман лично ее отскреб и выкрасил в белый цвет. Над доской стихотворные строчки — своеобразный ответ скептикам, кто жалуется на вечную нехватку средств, на пробуксовку реформ, боится скорого возвращения талибов, пророчит неудачи во всех начинаниях. Это газель Хафиза — любимые стихи Замана.

Ступит вновь Юсуф на землю Ханаана, —
не тужи!
Сень печали сменят розы, тень платана, —
не тужи!

Было плохо, станет лучше, — к миру злобы
не питай,
Был низвергнут, но дождешься снова сана, —
не тужи!

На престол холма восходит с опахалом
роз весна, —
Что ж твоя, о птишка ночи, ноет рана?
Не тужи!

Друг! Не чудо ли таится за завесой, —
каждый миг
Могут радости нахлынуть из тумана, —
не тужи!

День иль два путем неожиданным шел времен
круговорот.
Все не вечно, все добыча урагана, —
не тужи!

Коль стопы свои направишь ты к Каабе
по пескам
И тебя шипы изранят мугиляна, —
не тужи!

Если твой судостроитель — мудрый Ной,
не бойся бури.
Хоть струя ветров загробных злобно рьяна, —
не тужи!

Если путь опасный долог, будто нет ему
конца,
Все ж он кончится на радость каравана, —
не тужи!

*Все нам свыше назначает снисходительный
Господь:
Час разлуки, ночь лобзаний, день обмана, —
не тужи!*

*Коль, Хафиз, проводишь время в доме бедном,
в тишине,
Постигая всю премудрость Аль-Корана, —
не тужи!*^[65]

Пора начинать занятие. Дети достают тетрадки, переговариваются. Бумажный самолетик закладывает вираж над партами. Чья-то рука ловит его.

— Откройте учебники по фарси, дети, — просит Лейла и под шелест страниц подходит к окну.

Мальчики, выстроившись у трехочковой линии, отрабатывают свободные броски. Из-за гор встает солнце, обод баскетбольной корзины, цепи, на которых подвешены качели, свисток на груди Замана, его новые очки сверкают в его лучах. Лейла кладет ладони на теплые деревяшки оконной рамы и закрывает глаза, подставляя лицо блаженному теплу.

Когда они только прибыли в Кабул из Пакистана, Лейлу ждало огорчение. Где талибы погребли тело Мариам, никто не знал. А Лейле так хотелось посидеть на ее могилке, побыть с ней, принести цветы. Но теперь Лейла понимает: все это неважно. Мариам всегда будет рядом. Она в свежевыкрашенных стенах, в высаженных деревьях, в одеялах, под которыми детям тепло, в книжках и карандашах. Она в детском смехе. Она в стихах, которые Азиза заучивает наизусть, и в давно уже зазубренных ею молитвах. Она в сердце у Лейлы, и душа ее сияет тысячью солнц.

Кто-то окликает Лейлу. Голос далекий. Лейла невольно поворачивается тем ухом, которое слышит.

Это Азиза.

— Мама? Тебе нехорошо?

В классе тишина. Все глаза устремлены на учительницу.

Лейла хочет ответить, но что-то перехватывает ей горло. По телу пробегает теплая волна. Руки сами собой хватаются за низ живота. Лейла ждет.

Нет, все спокойно. Брыкнул ножкой — и будет.

— Мама?

— Не волнуйся, моя милая, — улыбается Лейла. — Мне хорошо. Даже очень.

Она идет к своему столу, в голове мельтешат имена. Вчера вечером они всей семьей опять придумывали имя для мальчика. С тех пор как Лейла объявила, что ждет ребенка, это стало своеобразным ритуалом. Причем каждый стоит на своем. Тарику нравится Мохаммад. Залмай, посмотревший недавно «Супермена», не понимает, почему мальчика-афганца нельзя назвать Кларком. Азиза бьется за Амана. Лейла предпочитает Омара.

Но обсуждаются исключительно мужские имена.

Потому что если будет девочка, Лейла знает, как ее назовет.

Послесловие

На протяжении вот уже почти тридцати лет положение с беженцами из Афганистана остается одним из самых напряженных на земном шаре. Война, голод, анархия, притеснения вынудили миллионы людей — подобно Тарику и его родителям в моей книге — покинуть свои дома и бежать из Афганистана в соседние Пакистан и Иран. В самый разгар исхода восемь миллионов афганцев оказались за границей. Сейчас более двух миллионов афганских беженцев проживает в Пакистане.

В течение всего прошлого года я имел честь представлять США в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, одном из крупнейших гуманитарных агентств в мире. Его мандат включает в себя защиту основных прав человека в отношении беженцев, помощь в чрезвычайных обстоятельствах, поддержку беженцам в новых, безопасных условиях жизни. Управление оказывает содействие более чем двадцати миллионам человек, проживающим на чужбине не только в связи с событиями в Афганистане, но и в Колумбии, Бурунди, Конго, Чаде, регионе Дарфур на западе Судана. Работа в Управлении, помощь беженцам были для меня почетной задачей, значение которой очень велико.

Если желаете узнать побольше об Управлении, о результатах его деятельности, о положении беженцев, посетите сайт: www.UNrefugees.org.

Благодарю.

Халед Хоссейни,

31 января 2007 года.

Слова признательности

Только сперва разрешите мне кое-что уточнить. Деревушка Гуль-Даман, насколько мне известно, — плод моей фантазии. Те, кто хорошо знает Герат, отметят некоторые вольности, которые я себе позволил в описании окрестностей этого города. И наконец, о названии моего романа. Это — цитата из поэмы Саиба Табризи, персидского поэта семнадцатого века, в английском переводе, выполненном д-ром Джозефиной Дэвис. Перевод не стремится к буквальной точности, зато прекрасно передает дух поэзии Табризи.

Выражаю свою благодарность Каюму Сарвару, Хекмату Садату, Элизе Хетевей, Розмэри Стейсек, Лоуренсу Квиллу и Халиме Язмин Квилл за помощь и поддержку.

Особую признательность выражаю моему отцу, Бабе, за то, что читал рукопись, помогал ценными советами, за всю его любовь и помощь; моей матушке — за самоотверженность и благородство; моим свойственникам — за щедрость и любезность и всем прочим членам моей замечательной семьи, которым я стольким обязан.

Хочу поблагодарить моего агента Элен Костер за бесстрашие и оптимизм. Джоди Хочкисс (также за все, что еще последует!), Дэвида Гроссмана, Хелен Хеллер и неутомимую Чандлер Кроуфорд. Благодарю каждого сотрудника издательства «Риверхед Букс», Сюзан Петерсен Кеннеди и Джеффри Клоске, Кэтрин Линч, Крэга Д. Бурке, Лесли Шварца, Хони Вернер и особенно моего литературного редактора Тони Дэвиса, от зорких глаз которого не ускользнет ничего. Приношу свою признательность и главному редактору Саре Макграт за терпение, прозорливость и мудрые указания.

И наконец, спасибо тебе, Роя, — столько раз ты читала и перечитывала эту книгу! — за ободряющие слова, за веру в меня. Без тебя эта книга никогда не появилась бы на свет. Люблю тебя.

Примечания

Суфизм — мистическое течение в исламе о познании Бога через мистическую любовь; для суфиев характерны озарения, экстаз, достигаемый путем танцев или бесконечного повторения молитвенных формул, умерщвления плоти.

Абдурахман Нуриддин ибн Ахмад, прозванный Джамии (1414–1492), — персидский и таджикский поэт и философ-суфий. Его стихи — о достоинстве человека, об идеалах добра, справедливости и любви как движущей силе Вселенной.

Герат лежит в отрогах хребтов Сиахкох и Сафедкох.

4

Древний парк неподалеку от Герата.

Слава Богу (*арабск.*).

Коран, сура 67, аяты 1 и 2. Перевод акад. И. Ю. Крачковского.

Лапша с бобами, мясом и простоквашей.

Коран, священная книга мусульман, заключающая в себе откровения, ниспосланные Мухаммаду (Магомету), делится на 114 глав — «сур» (собственно «рядов» — камней в стене); каждая сура состоит из нескольких (от 3 до 286) стихов — «аятов» («чудо», «чудесное свидетельство»).

Обряд принесения клятвы вступающими в брак.

Призыв к правоверным преклонить колени и вознести молитву.

Она же паранджа или чадра — самый радикальный способ сокрытия женской красоты. Экзотическое одеяние свободного покроя и яркой расцветки, укутывает женщину с головы до пят. В области глаз находится «смотровое окошко», забранное матерчатой сеточкой.

Обращение, соответствующее русскому «тетя».

Чечевица с овощами и пряностями.

Торжественная трапеза — разговение после дневного поста.

Счастливого Эида!

Одно из самых известных афганских блюд: клецки, фаршированные луком-пореем, подаются под соусом из йогурта и мяса, посыпаются мятой.

Коран, сура 2, аят 109.

Бог даст (*арабск.*).

Коран, сура 67, аяты 1–2.

Коран, сура 3, аят 27.

Нур Мохаммад Тараки (1917–1979) — афганский политический деятель. В 1965 г. организовал просоветскую Народно-демократическую партию Афганистана (НДПА). Лидер Апрельской революции 1978 г., в результате которой стал президентом Революционного совета. Смещен своим заместителем и тайно задушен.

Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) — просоветская партия марксистского толка, существовавшая в 1965–1992 гг. В 1978 г. офицеры — члены НДПА совершили Апрельскую революцию и привели партию к власти. Для того чтобы удержаться у власти. НДПА призвали советские войска (1979–1989). Под влиянием перестройки в СССР партия отказалась от ряда базовых идей и пошла на компромисс с вооруженной оппозицией. Со временем, лишившись поддержки исчезнувшего СССР, она потеряла власть и самораспустилась.

В 1973 г. один из руководителей государственного переворота, в результате которого была свергнута монархия. В апреле 1978 г. стал одним из лидеров нового переворота (позднее названного Апрельской революцией). 27 апреля 1978 г. лично привлек на свою сторону военных летчиков авиабазы Баграм и, по некоторым данным, сам пилотировал самолет, который нанес решающий ракетно-бомбовый удар по резиденции Дауда. Передал власть в руки Революционного совета Афганистана, контролировавшегося НДПА. В народном правительстве в 1982–1984 гг. министр обороны. В настоящее время живет в России.

Джалаледдин Руми (1207–1273) — персоязычный поэт-суфий. Наибольшую славу принесла Руми созданная в последние годы жизни поэма «Месневи и манави». Шемс-Эддин-Мохаммед Хафиз — знаменитый персидский поэт, умер в 1389 г.; гробница его — место богомолья. Величайший лирик Востока. На русском языке известен в переводах Фета.

Мухаммед Наджибулла (1947–1996) — политический деятель Афганистана. В 1965 г. вступил в Народно-демократическую партию Афганистана (НДПА), в апреле 1978 г. вошел в состав Революционного совета. В сентябре 1987 г. Наджибулла официально занял пост главы государства — председателя Революционного совета, а 30 ноября того же года избран президентом Республики Афганистан. Вывод советских войск из Афганистана и распад СССР привели правительство Наджибуллы к краху. 16 апреля 1992 г. Наджибулла был свергнут. После захвата Кабула 26 сентября 1996 г. силами исламского ополчения «Талибан» Наджибулла был подвергнут пыткам и казнен.

Джихад — понятие в исламе, означающее священную войну против куфра (широко понятого неверия), отдачу всех сил ради распространения и торжества ислама. К сожалению, понятие военного джихада стало основным значением для немусульман. Участник джихада называется муджахидом (моджахедом). Моджахед — это не только воин, но также учитель, и священник, и мать, воспитывающая своего ребенка. Погибший моджахед считается шахидом, то есть засвидетельствовавшим свою веру перед Аллахом.

Детская настольная игра, игроки передвигают фишки на доске по броску игрального кубика; название связано с рисунками на игровой доске.

Ахмад Шах-Масуд (1953–2001) — выдающийся политический и военный деятель Афганистана, исламист. Вел эффективную партизанскую войну против коммунистического правительства и советских войск. 9 сентября 2001 г. был тяжело ранен в результате взрыва бомбы, организованного двумя смертниками, выдававшими себя за саудовских журналистов. Умер 15 сентября 2001 г., похоронен в Панджшере. Переходное правительство Афганистана, пришедшее к власти в Кабуле после разгрома «Талибана» в конце 2001 г., посмертно присвоило ему титул «героя афганской нации».

Традиционный афганский головной убор в виде коричневого шерстяного берета «две лепешки» — в годы советско-афганской войны один из атрибутов душмана.

Обращение, соответствующее русскому «дядя».

В настоящее время — резиденция парламента Афганистана.

Генерал Абдул Рашид Достум (Дустум) — один из главных участников исторических переворотов и мятежей последнего десятилетия в Афганистане. Бывший коммунист, предавший Наджибуллу, впоследствии активный участник антиталибовской коалиции. Гульбеддин Хекматъяр — полевой командир и политик, активно поддерживал экстремистские группировки в Таджикистане, Чечне и Кашмире. Друг-приятель Бен Ладена. Наркобарон. Один из самых разыскиваемых террористов в мире. Бурхануддин Раббани — государственный деятель Афганистана, президент страны в 1993–1996 гг. (формально до 2001 г.). Сайаф Абдул Расул в 1969 г. совместно с Б. Раббани и Г. Хекматъяром основал афганское отделение Движения братьев-мусульман. В 80-х гг. являлся одним из военно-политических лидеров «Пешаварского альянса семи», руководил боевыми действиями против советских войск. В 90-х гг. состоял в руководстве Объединенного исламского фронта спасения Афганистана (UFISA), выступил против движения «Талибан».

Абдул Али Мазари — лидер душманов-хазарейцев. Убит талибами.

Фрикадельки из пряного мяса и риса.

Традиционное мясное блюдо народов Центральной Азии, известное под другими названиями также в Китае и Пакистане. Состоит из мясного фарша в тонко раскатанном тесте, готовится на пару.

Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф Низами (около 1141 — около 1209) — классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока. Его наследие одинаково широко ценится как национальное в Иране, Азербайджане, Таджикистане и Афганистане. Третья поэма Низами «Лейли и Меджнун» (1188) разрабатывает сюжет старинной арабской легенды о несчастной любви юноши Кейса, прозванного «Меджнун» («Безумец»), к красавице Лейли. Поэт Кейс влюбился в свою двоюродную сестру и сошел с ума от любви. Лейли, насильно выданная замуж, умирает от любви к Кейсу; узнав об этом, Кейс приходит на ее могилу и умирает там. Автор задается вопросом: что получили влюбленные за свои земные страдания, где их место в загробном мире? И он видит сон: в раю стоит трон, на этом троне живут два ангела, счастливо лаская друг друга...

Сибгатулла Моджадиди — пуштунский духовный лидер, глава душманов в 1989–1992 гг., президент Афганистана в 1992 г. В настоящее время — глава верхней палаты Национального собрания.

Устад Мохаммед Хусейн Сараханг (1924–1983) — знаменитый музыкант, один из крупнейших мастеров классической восточной музыки.

Суп из баранины и риса.

Халиль Джебран (1883–1931) — ливано-американский философский эссеист, романист, мистический поэт и художник, чуть ли не самый читаемый в мире арабский писатель.

Устад Халилулла Халили (1908–1987) — известнейший афганский поэт и историк, одно время министр культуры, после ввода советских войск покинул страну, жил в Европе и Америке.

Город на севере Ирана, священный для шиитов.

Саиб Табризи (1601–1677) — персидский и азербайджанский поэт. Оставил семь «диванов», один из них включает стихи на азербайджанском языке. Много путешествовал по арабским странам и Малой Азии, шесть лет прожил в Индии. По приглашению шаха Аббаса II вошел в его литературное окружение и вскоре удостоился звания «царя поэтов».

Состязание по *бузкаши* (козлодранию) всегда проходит в первый день весны, первый день нового года. Бузкаши — национальная страсть афганцев. *Чапандаз* — мастер-наездник — выхватывает из гущи схватки тушу козла и пускается вскачь вокруг стадиона, чтобы вбросить козла в специальный круг, а все прочие участники всячески стараются ему помешать — толкают, цепляются за тушу, хлещут всадника кнутом, бьют кулаками, — пытаясь добиться, чтобы он выронил козла (*Х. Хоссейни. «Бегущий за ветром»*).

Долина к западу от столицы, где среди садов и гор расположены богатые виллы старой афганской знати; излюбленное место отдыха кабульцев.

«Талибан» — исламистское движение, правившее Афганистаном в 1996–2001 гг., зародилось в городе Кандагаре в первой половине 1990-х гг. По официальной версии, мулла Мохаммад Омар (бывший моджахед) собрал небольшую группу радикально настроенных исламских студентов — «учеников Аллаха» — и повел их в бой за очищение ислама и установление богоугодной власти на территории страны. Слово «талиб» как раз и означает «ученик».

Абдуррахман Пажвак (1919–1996) — известный поэт и прозаик. Абдаллах Ансари (1006–1088) — персидский поэт, суфий. Автор «Мунаджат» — поэтических молитв в форме ритмизованной прозы, перемежающейся стихами.

Омар Хайям (около 1048–1122) — великий персидский и таджикский поэт, математик и философ. Всемирную известность принес Омару Хайяму цикл четверостиший («Рубайат»). Мирза Абдулкадир Бедиль (1644–1720 или 1721) — персоязычный поэт Индии, суфий. Создатель усложненного, так называемого «индийского стиля».

Ахмад Захир (1946–1977) — культовая фигура для афганцев, и не только в музыке; погиб в автомобильной аварии при загадочных обстоятельствах.

Аль-Ихлас, «Очищение», 112-я сура Корана, состоит из 4 аятов.

Аль-Фатиха, «Открывающая Книгу», первая сура Корана, состоит из 7 аятов.

Южные провинции Афганистана.

Овощи, жаренные во фритюре.

Насвар — жевательный табак, с примесью гашеной извести.

Один из гималайских хребтов.

Город на востоке Афганистана, к югу от Кабула, столица провинции Пактия. В 1980–1987 гг. использовался как операционная база советских войск в Афганистане (40-й армии).

Коран, сура 39, аят 7 (5).

Кашмир-Пойнт, Натиагали — горные курортные городки недалеко от Исламабада, основанные еще английскими колонизаторами.

Пакистанский город-миллионник на реке Лех. Пока строился Исламабад, был столицей Пакистана.

Одна из самых известных достопримечательностей Кабула (XVII в.), сады Бабура расположены в южной части города, на территории находится мечеть (1640 г.), летний павильон эмира Абдуррахмана и могилы самого эмира, его жены, дочери и императора Джахангира.

Имам Реза, полное имя Али ибн-Муса ар-Рида (765–818), — восьмой шиитский имам, потомок в седьмом поколении пророка Мухаммеда. Прославился своим благочестием, мудростью и открытостью сердца. Очень почитается в Иране, наиболее известен по персидскому имени «имам Реза». Его мавзолей в Мешхеде является местом массового паломничества.

Исмаил-хан — афганский полевой командир. Ветеран афганской войны 1979–1989 гг. Воевал против Советской армии и режима Наджибуллы. После прихода талибов эмигрировал в Иран, затем вернулся, после освобождения Герата в 2001 г. был назначен губернатором провинции Герат, одновременно командующим 4-м армейским корпусом и председателем Юго-Западной зоны. В конце 2004 г. был назначен министром водного хозяйства и энергетики Исламской Республики Афганистан.

Гильменд — провинция на юге Афганистана у пакистанской границы. Основное население — пуштуны.

Рубаб — струнный инструмент вроде лютни; табла (арабск. «барабан») — индийский классический ударный инструмент, состоит из двух барабанов, маленького деревянного и большого металлического; дутар — среднеазиатский двуструнный музыкальный инструмент с грифом.

Перевод К. Липскерова.

Имам Реза, полное имя Али ибн-Муса ар-Рида (765–818), — восьмой шиитский имам, потомок в седьмом поколении пророка Мухаммеда. Прославился своим благочестием, мудростью и открытостью сердца. Очень почитается в Иране, наиболее известен по персидскому имени «имам Реза». Его мавзолей в Мешхеде является местом массового паломничества.